



ЛИТЕРАТУРНЫЙ ЖУРНАЛ

Издается с января 1966 года
САРАТОВ

9-10 (458)

2015

ПОЭЗИЯ И ПРОЗА

Юрий Гудумак. Камчатская геральдика. Стихи.....	3
Герман Бер. Сулико. Повесть.....	8
Елена Генерозова. «Приведет на ночлег...» и др. стихи.....	36
Рафаэль Мовсесян. Оттуда и туда. Рассказ.....	41
Мария Галина. «Он гуляет по берегу там на песке валяются вроде...» и др. стихи.....	47
Андрей Ладога. Иосиф Бродский от фотографии. Рассказ.....	50
Евгения Мищерская. Тревога. Рассказ.....	53
Татьяна Нешумова. «Летающий по небу остаток...» и др. стихи.....	68
Сергей Кубрин. Розовый танк. Рассказ.....	70
Наталья Полякова. «Говорят за глаза и вешают за глаза...» и др. стихи.....	79
Сергей Слепухин. «Есть странный свет, неяркий и неподвижный...» и др. стихи.....	81
Алексей А. Шепелёв. Дедушка Dead и абрауты. Рассказ.....	85

В СВОЕМ ФОРМАТЕ

Сергей Боровиков. Небунин, или Россия, которую мы не потеряли.....	93
---	----

МЕДЛЕННОЕ ЧТЕНИЕ

Алсу Акмальдинова, Олег Лекманов, Михаил Свердлов. «Эй, вратарь, готовься к бою...»: Футбол в советской поэзии 1930-х годов.....	102
---	-----

ТРИ СТИХОТВОРЕНИЯ

Инна Домрачева. «Это даже не то что печаль светла...» и др.....	132
Иван Волосюк. «Снег сам собой не образует мифа...» и др.....	133
София Амирова. «Дальний предел зажигал кофейный зрачок...» и др.....	135
Илья Семененко-Басин. «интуитивно постигаемая реальность» и др.....	136
Андрей Фамицкий. «муравьиную дорожку...» и др.....	137
Михаил Окунь. «Граффити» и др.....	138

ПЕРЕВОД

Амир Непараест. Русская святая в Тегеране. Рассказ Перевод с английского Ольги Новиковой.....	140
---	-----

ЖИЗНЬ ХУДОЖНИКОВ

Вячеслав Лопатин. Две выставки (Ю. Лаврентьев, Н. М. Гуцин).....	162
---	-----

КОНТУРНАЯ КАРТА

Игорь Дремов. Две разгадки Саратова.....	170
---	-----

ЛИТЕРАТУРНАЯ КРИТИКА

Сергей Трунев. Конформизм и нонселекция Нижний Новгород: литературно-художественный журнал. 2014. № 1, 2, 3.....	185
Борис Кутенков. «Вынимать из души печаль...» Алексей Кубрик. Внимательный лес.....	190
Андрей Пермяков. Марафон начинается после тридцатого километра Тариэл Цхварадзе. «Когда молчать нельзя уже»; Александр Самарцев. «Конца и края».....	193
Андрей Фамицкий. И ужасное будет прекрасно Феликс Чечик. ПМЖ.....	198
Станислав Секретов. «Мы в город изумрудный идем дорогой трудной...» Антон Ерхов. Горизонт // «©оюз Писателей». 2015. № 16.....	202

КИНООБОЗРЕНИЕ

Иван Козлов. Секс, смерть и политика «Пазолини» (реж. Абель Феррара), «Добро пожаловать в Нью-Йорк» (реж. Абель Феррара), «Медленный Запад» (реж. Джон Маклин).....	206
--	-----

Юрий ГУДУМАК

КАМЧАТСКАЯ ГЕРАЛЬДИКА

Квасцы, рыбий жир, вареная шикша

Навидавшийся на Камчатке всякого,
 столько-то переживший,
 Крашенинников не видел разве только закатов,
 крашенных, что ли, вареной шикшей.
 С квасцами и рыбьим жиром вареной шикшей
 подкрашивают морских бобров и плохих соболей –
 загладевши, легко потерпеть убыток
 в одну и больше лисиц-рублей.

Соблазн подделать такие деньги –
как пришить к туруханскому зайцу песцовый хвост –
велик. Ибо вместо верст,
испокон веков и покуда срок не истек, ни вытек,
громадность пространства, зовущегося Сибирью,
меряют тут зимовьями: в три индигирских
зимовья, алазейское, три колымских...,
защищаясь, как крепостью, дальностью расстояния
от казни и наказания,
ровно ты казнен политической смертью.

Перевернутый конус

Повсеместно
на Камчатке в указанных острожках верстового реестра
употребляют вино из сладкой травы –
разновидности зонтичного борщевика.
Свойства сего травяного вина,
здоровью вредящие, не забыты
для ученого света стараниями
составляющего лицо академической свиты
адъюнкта

Юрий Гудумак родился в 1964-году в селе Яблona Глодянского района Молдавии. Окончил геолого-географический факультет Одесского университета, работал в Институте экологии и географии Академии наук Молдавии. Автор поэтических книг «Метафизические гимны» (1995), «Принцип пейзажа. Прологомены» (1997), «Почтамтская кругосветка вспугнутой бабочки» (1999), «Дельфиниумы, анемоны и т. д.» (2004), «Песнь чибиса» (2008), «Разновидность солнца» (2012). Лауреат премии Союза писателей Молдовы (2012). Стихи переводились на английский и румынский языки. Публикации в журналах «TextOnly», «Literrarypa», «Новая реальность», «Воздух», «Зинзивер», «Дети Ра», «Поэтоград» и др.

Камчатская ординарная зимняя почта

4

Добель, Киттлиц, Эрман и вспоминающий Дитмар

Всех путешествовавших по Камчатке можно причислить также и к контингенту странствующих (лососевых) рыб. И хотя бы по той лишь причине, что, раз открыв для себя Камчатку, тянет туда вернуться.

Будто, и в самом деле, каждый из них взлелеян ее природой. Добель, Киттлиц, но больше – Эрман.

Не говоря уже
о происходящей с ними впоследствии перемене.

Ибо, если не знать о ней, никто, похоже,
не примет их за один и тот же
вид: в конце своей жизни они хиреют,
кожа мшится коростой, носы у них, как у кижуча и чавычи,
скукоживаются крючком, зубы,
если вообще остаются,
вырастают большие, по-осеннему изменившийся цвет –
еще одна переменная анатомической суммы.

Словом, они становятся безобразными, как старик.
Как лет тридцать спустя в Лифляндии, в краю голубей и риг,
вспоминающий Дитмар. Наподобье горбуши,
он старается вывести неуклюже
пером... опадающие кавычки.

Иные из странностей *Путешествия по северным берегам Сибири и по Ледовитому морю*

Человек-секстан

Зимою Ледовитое море не то что похоже –
представляет вид северных берегов Сибири.
Путешествие по которым, оно же –
по Ледовитому морю.

Сверх того – под начальством флота лейтенанта
Врангеля. Вместо шлюпа – собачья нарта.
Сегодняшний путь подобен вчерашнему,
движенье – скитанью.

Сковывающий все кругом ледяной покров.
И холод.
И он есть возможность заняться приведением берегов
в точнейшие их пределы, примерзнув навек к секстану.

Человек-секстан замечает, уткнувшись взором
куда-то кверху, как зимний ворон,

точнее – он ощущает, как позолота
кристаллов ломает поверхность
искусственного ртутного горизонта.
Стекла и зеркала
мгновенно –
что сказал бы по этому поводу доктор Кибер? –
покрываются слоем инея: значит, тело еще дает
испарину. Зрение, однако, наоборот,
предвещает уже нечто нечеловеческое.
И становится острым, как глаз якута.
Рассказывают, что ему случается видеть,
как одна большая звезда (Юпитер)
глотает другие меньшие звезды и их выплевывает.
Но потом опять – сгущенная стужей мгла.
И свойства моря переменяются,
как необозримая голая тундра.

Штурман Козьмин

Дойдя до края материка,
осмотри так далеко, как позволят обстоятельства, берега,
на восток лежащие. Сие означает лежащие мертвой грудой.
Помни названия пройденных летом рек:
Убиенной, Пропавшей, Блудной...
Равно – о глазах. От яркого света и сильной рефракции
их занавешивай черным флером.
Соблюдай как траур. Ты ведь не зимний ворон.
Главное, что тебе в обязанность достается, –
счисление. Хоть вставляй в очки вместо стекол льдины,
рыбы вклеивай пузыри (преимущественно – из налима),
под семьюдесятью градусами широты долгота счислима
десятью расстояниями луны от солнца.
Указателями там найдешь понятные всем кресты.*

*Сие
есть задание штурману Козьмину от Врангеля,
и штурмана – самому себе,
по которому он, достигнув пределов живого творения,
обнаружил то, что могло еще там расти.

Юкагирский предел лесов

Иную
из странностей представляет осеннее время года.
Мичман Матюшкин наблюдал, что оно простирается, не суля
особенных перемен и тогда,
когда вместо крика «Земля, земля!»

со всех сторон раздается: «Лес!»
И граница леса, как ветвистое стадо оленей,
отступает дальше на юг, к Анюю.
Там, по слухам, живет на правах хозяина, куролеса,
юкагирский князек-промышленник.
На тычинах и вправду жухлого редколесья
краснеют лисицы. От огненно-рыжих до черно-бурых,
сии представляют осень во всех купюрах.

В таком у князька пересчете,
равняясь в действительности четырем
последующим, осеннее время года, как есть,
кончается сентябрем.

В отдаленнейшем этом крае оно не лучше, но и не хуже,
вообще одиночества, норовящего обезлюдить
самое себя. Хоть возьми
да развесь на сучьях дерев посреди зимы
драгоценную рухлядь.

Из писем Матюшкина к Энгельгардту

Из всего можно составить карту,
свое особое путешествие.
Как из писем Матюшкина к Энгельгардту.
Благо, что письма всегда дополняет еще *Appendix*:
с видом Иркутска, потом – Якутска,
хронологически соответствующими
и все менее похожими на искусство
зарисовкою Зашиверска, изображением Индигирки,
просто страницей с какой-то мазней
(вероятно, северное сияние)...
Словом, чем дальше на север,
тем больше кажется, что ты бредишь.
И ломаная кривая линия, каковую можно вывести
лишь вконец озябшей рукой, представляет в итоге схему
северных берегов Сибири, нечто обратное средиземью.

Не то чтобы нечем было оттаять краски,
но на третий год *Appendix*'ы к письмам
чуть ли не заменяют письма. Как ни читай –
начинают преобладать вообще над слогом:
как белка с лисицею, горностаем
(Энгельгардт опускает им край фуражки),
как олени, не просоленные, однако, как следует,
по-людски,
языки.

Герман БЕР

СУЛИКО

повесть

love is a burning thing...
johnny cash

1. утренник

музыка мурадели, слова соболева. пыль левитирует над актовым залом, живет и дышит, сочась в жирном электрическом свете. впереди сидят учителя, завучи, директриса, пунцоволицый представитель шефов (он уже сказал свое слово, пожелал успехов). по левую руку от него – чилийские коммунисты, жертвы режима. чилийцы смуглы и улыбчивы. одеты они одинаково (джинсы, рубашка навывпуск). низкая сцена с большим гипсовым бюстом. на вид он тяжелый, на самом деле – пуст внутри. раз в неделю устраивают влажную уборку: дежурные дряют сцену и вытирают пыль с пустопорожней лысины. на затылке гипсовой головы корявая надпись химическим карандашом *веник, в жопе ва-реник*. не потому, что веру николаевну не любят, а потому, что в рифму думается легко. долго искали автора, но не смогли найти. директор школы вера николаевна – женщина многоумная и несгибаемая, как чугунная ограда. вся школа – от уборщицы в замызганном синем халатике до завуча по русскому языку – уважает веру николаевну. надпись нельзя оттереть влажной тряпкой. скоро ее замажут белой краской, и тогда она сольется с бюстом. гипсовый бюст – надежная защита от любопытных глаз. он заслоняет колеблемые, прилипшие друг к другу тела старшеклассников. они целуются по-разному, иногда краешками губ, бывает, что взасос, цепляясь языками. кавалеры, серьезные и сосредоточены, поглаживают грудь и живот млеющих дульциней.

сегодня – утренник. на сцене шеренга мальчиков и девочек в красных галстучках. они смотрят поверх скучающей публики (соловейчиков поучает на репетициях: *вбейте себе в голову – смотреть на макушки, в глаза не смотреть, иначе собьетесь*). начинается исполнение песни. соловейчиков, руководитель школьного театра, стоит перед сценой. поднимает руки, растопыривает пальцы, притоптывает ножкой. он служит в нии экономики севера, подрабатывает в школе, ставит спектакли к праздникам, организует утренники. говорит, что любит детей. за высоким окном, прикрытым грязно-зеленой шторой, снежит. деревья стоят, как обворованные. учительница музыки разболелась. соловейчиков временно отвечает за музыку. руководитель театра пританцовывает; он похож на индийского пляшущего бога. фамилия у него смешная, звонкая, как пионерская речевка. дети затягивают песню: *люди мира, на минуту встаньте*. в глубине сцены сидят мальчики в белых рубашках и девочки в белых фартуках. они встают, в руках у девочек гвоздики, мальчики держат плакат «нет войне». нарисована и перечеркнута

Герман Бер – писатель, переводчик. Родился в Москве в 1970 году. Эмигрировал в США в 1991 году. Живет в Мэдисоне, штат Висконсин. Работает программистом.

бомба «*made in...*» дальше неразборчиво; над бомбой летит белая птица с веточкой в длинном клюве. песня продолжается: *слушайте* (повторяется два раза), *гудит со всех сторон* (поющие на мгновение замирают, а те, которые стояли с гвоздиками и плакатом, садятся. колокола заливаются на магнитофонных бобинах), *это раздаётся в бухенвальде колокольный звон* («колокольный звон» повторяется два раза). слова отскакивают от раскупоренных ртов, прыгают по сцене, чужие и склизкие, как лупоглазые жабы. никто не слушает песню, которую и так все знают. задние ряды перешептываются. «заживо сожженных» репетировали долго. соловейчиков настаивал *повторите пять раз подряд, быстро-быстро*. они повторяли слова соболева. соболев – серебристый зверек, северный. за окном мелко и суетливо сыпет снег. люди, которые идут по улице, дышат натужно, как будто они долго бежали. утренник длинный. отменили уроки. физики не будет и литературы тоже не будет. потом – по расписанию – английский: гертруда георгиевна раскрывает журнал, и начнется *избиение младенцев*. она всегда так говорит, когда собирается опросить учеников английской группы. гертруда ставит отметку в дневнике, как будто дает автограф. схватил тройку или двойку – увернись вовремя: гертруда швыряет дневник в лицо лодырям и тупицам. *силь ву плз*, говорит она по-французски вслед летящему дневнику. утренник затягивается. длись, не кончайся, скучная песня. английского тоже не будет.

садятся те, которые пели. на сцене появляются другие. соловейчиков смотрит, чтобы каждый встал на свое место. он все продумал: мальчики с девочками, уроды с красавицами, красавцы с дурнушками. первой становится необыкновенно красивая девочка. ее зовут леночка. фамилия у нее, как у известного маршала. рядом с леночкой – щуплый мальчик с крючковатым носом. на репетициях соловейчиков никак не мог вспомнить его имени, помнил только, что все, даже некоторые учителя, называют его «сулико». *странно*, думает соловейчиков, *сулико – ведь это женское имя*. рядом с сулико – золотушная в очках, валерия, с овечьей покорностью во влажных глазах, потом – вихрастый парень, казачьих кровей. его зовут арсений. перед чтением антифашистских стихов оглашают приветствие чилийским коммунистам. читают на испанском. переводили на храпом, по словарю. из всего послания чилийцы понимают только два слова: «мужество» и «геморрой». борцы с кровавым режимом улыбаются и рукоплещут.

вера николаевна советовала соловейчикову: *поищите что-нибудь антивоенное, антифашистское*. подходящее стихотворение нашлось в сборнике известного поэта. сборник называется «интимная лирика». соловейчиков нервничает, обильно потеет. он еще раз осматривает выступающих. леночка тешит его сердце, сладко смотреть на прекрасную леночку. руководитель театра переводит взгляд на сулико и всплескивает руками: *все-таки чудело этот сулико*. нижняя губа оттопырена, как будто он сейчас заплачет, темные туфли нечищены, в грязно-белых потеках; край неглаженной праздничной рубашки лезет в брючный карман, на правом пиджачном рукаве мерцает масляное пятно.

девочка с фамилией известного маршала декламирует с выражением, как будто читает «парус» лермонтова: *финляндия – страна утесов, чаек, туманов, лесорубов, рыбаков*. она читает стихи, словно летит под гору на лыжах, согнув ноги в коленях, а руки – в локтях: *забуду ли, как, наш корабль встречая, искрилась пристань всплесками платков*. публика – ученики, гертруда георгиевна, вера николаевна, чилийские коммунисты, даже представитель шефов – впииваются глазами в леночку. потом читает сулико. сбивчиво произносит слова, нервно тербит пиджачную пуговицу. в строчке *фашизм жевал с прищелком чуингам* перевирает ударения в соседних словах, проговаривает пафосно: *с прищелком чуингам*. потом вдруг замолкает, забыв продолжение. тянется неловкая пауза. ну и урод,

проносится в голове соловейчикова. пунцоволикий представитель шефов склоняется к вере николаевне и шепчет на ухо: *верочка, что это такое, чуйнгам?*

2. взятие снежной крепости

стихотворение начинается с леночки и заканчивается леночкиным пронзительным голосом: *но – фестиваль, взвивался вой шпанья*. красивое, испанское слово «шпанья». сулико не понимает, почему это стихотворение – антифашистское: *там ведь крови не льется. одни кричат, а другие молчат. фашисты*, думает сулико, *это когда танки ползут по земле*. сулико влюблен в леночку. каждый, носящий брюки и синий школьный пиджачок, каждый, повязывающий красный галстук, пылает страстью к этой девочке. сулико стоит слева от леночки. его рука касается ее руки, но леночке все равно, она не замечает скользящих прикосновений. леночкин торжественный фартук – белый, как кроличье ухо. леночка смотрит в зал поверх голов. она проговаривает последние строчки стихотворения. соловейчиков оборачивается, проверяет, довольны ли вера николаевна и представитель шефов. пунцоволикий аплодирует искренне. утренняя удался. сулико видит, как соловейчиков подмигивает леночке и легонько ударяет себя ладонью по животу. леночка смотрит в другую сторону. дети стоят на сцене, как зазубрины на линейке – одна за другой, за другой – третья. после зычных слов ведущего они вскидывают согнутые руки и в едином порыве возглашают *всегда готовы*. сулико снова касается леночки. его лихорадит от любви.

снег идет за высоким окном актового зала, народным танцем оттаптывает тротуары. сегодня выпадет много снега. возле дома, где весной цветут кусты сирени, мальчишки скатают снежные шары. начнут с липкого яйцевидного ядрышка, свежего катыша. будь он теплым, из него заструилась бы жизнь, но это – морозная, скудная сердцевина. ком наливается мякотью, разрастается и твердеет. мальчишки прибивают снежную мякоть ладонями, как мужик из фильма, хлопающий бабу по ягодицам. скатанные ядра достигают огромных размеров. это – основа, нижний ярус крепостной стены. наверх нахлобучивают ядра поменьше, прокладывают в зазорах липкими снежными оладьями, проделявают бойницы, роют блиндажик в сугробе, назначают смотрящего, который видит в бойничном проеме бегущие фигурки врагов. остальные впрок заготавливают снежки; возле каждого бойца вырастает горка снарядов. если смотреть со стороны врага, крепость – сомкнутый ряд снежных баб. игра называется «брестская крепость». одни штурмуют, другие защищаются. немцы и русские. всё просто: защитники отбивают атаки, обновляют запасы снежков. в крепости сидят дети постарше, у них бросок цепкий, да и время есть, чтобы прицелиться. в атаку ходят мелюзга и рахиты. штурм ведет андюша поляков в новенькой ушанке, сползшей на затылок. морозный утренний свет золотит андюшино темя. он летает бабочкой над белой, целинной скатертью, закидывает крепость снежными гроздьями. остальные – мелюзга и рахиты – бросят два-три снежка и отбегают, трусливые.

пространство перед крепостью простреливается во все стороны. не окопаясь, даже если захочешь. дело не в мужестве – саданут в физиономию, глотай тогда снежную крошку вперемишку с соплями. крепость непробиваема: снежные бабы сомкнули ряды. это матери наши, торговки с кунцевского рынка, медсестры, швеи и доярки с большими, чашеобразными животами, могучей грудью. волны нападающих подкатывают и отступают, один андюша неутомим. он – ангел, он парит над сугробами; он – лермонтов, идущий на штурм. что возьмешь с мелюзги и рахитов, кроме скорбных движе-

ний? снежки атакующих раскалываются о крепостную стену. снежные бабы принимают огонь на себя. становятся крепче, грудастей. мелюзга отступает, увязает в сугробах. один андюша кружит, петляет: повадка у него лисья. юркий андюша, в полушубке с барашковым подбоем. посверкивают стальные дужки очков. он оборачивается, мелюзга рассыпалась, отступила, укрылась за черно-белыми деревьями. из крепости кричат *сдрейфили, фрицы!* андюша остался один – против снежных, грудастых доярок. он тоже любит леночку, провожает ее от метро до самого дома, до подъезда доносит кожаный леночкин портфельчик. пусть она оторвется от книги, посмотрит с пятого этажа. леночка, это он для тебя выплясывает перед крепостью, неуязвимый для снарядов, пролетающих мимо. посмотри, прекрасная, как легко он перебросил снежок через крепостную стену и сбил ушанку с чьей-то неосторожно поднятой головы. андюша носится над белым, рыхлым покрывалом. он один против всей крепости, против старших мальчиков, и надо бы отбежать, налепить снежков. нет, он не подставит спину, не станет сладкой мишенью. когда отступает мелюзга, защитники крепости метят в затылок. крепкий удар оглушает. снег, чуткий к теплу, подтаивает. струйка стекает за воротник, жертва ежится, развивая трусливое бегство. андюша не таков, он не повернется к ним спиной. он зачерпывает из сугроба, на ходу лепит снежок, на бегу кидает. снова перелетает снежок через стену, снова сбивает неосторожную шапку. но нельзя до бесконечности парить над снежным, пушистым покровом. головы вырастают из-за стен, появляются плечи, торс – кентавры, наполовину – мальчики, наполовину – снежные бабы. защитники крепости метают снежки (отлежались снежки, обросли льдистой корочкой). один такой, налившийся тяжестью, попадает андюше в лицо – то ли в переносицу, то ли в губу. андюша на миг замирает, потом аккуратно, как будто брюки укладывают в чемодан перед длинной поездкой, сползает в сугроб, сворачивается, закрывает лицо перчатками (у одного андюши – перчатки трикотажные, у рахитов и мелюзги – варежки), защищается от шквального огня. изголовье снежного ложа заалело: кровь расплывается жирными потеками. он отползает в сторону своих. мелюзга и рахиты прячутся за черно-белыми деревьями, грустные и растерянные. никто не поможет андюше. он плачет от липкого стыда и беспомощной злости. *убит, убит*, кричат в крепости. хорошо им в крепости, защищенным стылым теплом снежных матерей. леночка тоже будет такой, снежною бабой, малиногубая девочка с маршальской фамилией. зубки у нее белые, как барашек на известной картине.

3. пустыня

центр города выметен, вспрыснут водой из поливальных машин. весенний утренний воздух шелковист, приятен на ощупь. троллейбусы холеные, как огурцы на рыночном лотке. сегодня – большой и светлый праздник. будет салат оливье, соус сациви, узбекский плов. вечером все выйдут на балкон смотреть салют. салютная артиллерия расположилась на речном берегу. длится майское утро, умывается багряным шелком. парад и демонстрация закончились. опустела главная площадь страны. мужчины на вид глупее женщин: мужчины слоняются по квартирам и размышляют судорожно, не пора ли водворить поллитровку в зернистое нутро морозилки. женщины заняты готовкой, моют полы или бегают по магазинам. в женщинах есть тайна, с мужчинами и так все понятно.

финальный марш-бросок за покупками. мать называет их «крайними». крайние покупки. она спешит, в одной руке – кошелка, в другой – мальчик-второклассник. мальчик упирается, он не хочет таскаться по магазинам, хочет сидеть на диване и смотреть телевизор. мать хмурится, тащит его за собой. на фронте ближайшего дома вывешен

праздничный плакат. три физиономии, повернутые в левую сторону. первая – скуластая, с мелкой бородкой. темя у скуластого гладкое, как пустая тарелка. он смотрит уверенно и надменно. мальчику нравится старикан, который посередине, – окладистая бутафорская борода, румяные щеки (точь-в-точь дед мороз) и чистая, почти прозрачная кожа на лбу. мать мчит в сторону булочной, покачиваясь на высоких каблуках. мальчик вдруг останавливается и спрашивает: *кто мы такие?* мать переводит дыхание, показывает на третью, еще не изученную голову. *мы – такие, как этот.* мальчик не хочет быть, как этот. хочет быть, как другой, который в центре. мальчик рассматривает третью голову: лицо от лба до бороды – стремительный, отвесный спуск.

второклассник, конечно, знает лица, изображенные на плакате. но сейчас бородатая физиономия слева похожа на греческого бога посеидона, *от которого,* говорит учительница начальных классов зоя владиславовна, *не знаешь, чего ожидать, утопит он тебя или позволит причалить к берегу.* штормящие, всклокоченные патлы. нас немного, объясняет мать, *но мы неординарные.* так и сказала – «неординарные». мальчик канючит – *я хочу быть как тот, который похож на зевса. – что ты мелешь?* сердится она. – *на того, который в центре,* уточняет мальчик. – *если этот – посеидон, то кто тогда крайний?* спрашивает она, указывая на плешивого. – *знаю, знаю, он – бог заробного царства.* мать озирается: *замолчи, дурак.* потом она рассказывает ему о шатрах в пустыне, о безвкусном хлебе, о пастухах и фараоне. имена пастухов не ложатся на слух, звучат дико, как будто какой-то дальний, нелюбимый родственник решил без спроса поселиться в их квартире. *мы скитались по пустыне, ели пресный хлеб, и ничего с нами не сделалась. – ты тоже скиталась в пустыне?* спрашивает мальчик. *замолчи,* рычит на него мать. завтра он вернется в школу и расскажет о верблюдах и шатрах, о бородатой голове посеидона.

после занятий играли в мяч. он сказал, что готов открыть тайну. они закричали: *давай, выкладывай свою тайну.* они сперва ничего не поняли. потом вдруг поняли. их глаза потускнели, как мертвый вольфрам в перегоревшей лампочке. он все рассказал: он – одной крови с известным стариком, изображенным на плакате. зазубоскалила группа продленного дня. дети начали что-то выкрикивать, обидное что-то. он испугался, ему захотелось сбежать от этих искривленных, дымящихся ртов. перед школой цвели каштаны. в москве так мало каштанов. весна вылизывала губы и щеки. по ночам он кашлял. сестра не могла заснуть, прятала голову под подушку, чтобы не слышать его задыханий. родители ворочались. приходил отец с чашкой чая. он отпивал медленными глотками, отворачивался к стене. кашель набухал во рту, как цветок. он кашлял так, как выколачивают настенный ковер на балконе: ритмичные удары узорчатой выбивалкой по персидской шерстяной вязи.

группа продленного дня не унималась. фокус-покус. им известно все, что он узнал лишь вчера. они, кажется, знают еще больше. это – проволока, лезвие ножа, палисадник дыма, внезапно выросший между ними. теперь они ощерились, злые волчата. вчера он не верил в шатры и верблюдов, и в пресный хлеб тоже не верил. вчера ему казалось, что мать все выдумала или приукрасила. мать у него – нервная, работает ночами, больные – через одного – алкаши. грязь, ругань, блевотина. один раз, рассказывала мать, привезли рину зеленую, известную артистку. рина зеленая не хотела ложиться в общую палату. *дайте мне, говорит, отдельную.* мать объяснила, что нет у них отдельных в приемном. *в нашей стране все равны, лежите со всеми вместе.* рину зеленую распирало от злости: *не хочу с пьянью, хочу в человеческих условиях.* мать, она нервная, повысила голос: *идите вы в болото, рина зеленая.* известная артистка обиделась, но все-таки добилась своего: ее перенесли в ординаторскую, поменяли врача. мать всегда преувеличивает. может быть,

не было никакой рины зеленой, или была, но в другом отделении, или мать не посылала ее куда подальше, а проглотила обиду и потом, на перерыве, выкурила пачку «примы» от захлестнувшей злости. быть может, пастухов с верблюдами тоже не было. но вот, оказывается, дети из группы продленного дня знают про пастухов не меньше матери: один мальчик, на год старше, подбежал к нему – весь такой беленький, лоснящийся, как блин, обмазанный маслом, и пропел песенку на мотив «бьется в тесной печурке». вместо дров в печке сгорали имена пастухов, горели овцы и верблюды. пустыню свеживал огонь. чадила веселая песенка и картавила обезьяньим усилием певца. все смеялись. он тоже улыбнулся со всеми вместе. действительно, весело: какой вместительной должна быть печь, чтобы там хватило места пастухам, их женам, сыновьям и дочерям, старым родителям, бараньим гуртам и верблюдам... ненасытна радость легкой и верной добычи. их голоса – кисло-сладкий дым заводских труб, шевелящиеся виноградины копоты. потом они, ухмыляясь, повторили эту песню стройным хором. он огрызнулся, говорил глупости: *наш бог – посейдон, он вас всех утопит, а ваши – плешивый*. тогда тот, который первый исполнил песенку, ударил его ногой в живот. мальчик упал на землю, захлебнулся, улавливая воздух пустым ртом, как будто разучился дышать, но зачем ему воздух, если есть пустыня, в которой стоят лоскутные шатры и плывут по барханам верблюды в сторону египта.

4. щит

всем торсом склоняется, вышептывает гертруда георгиевна, а она, красotka, на все готова. так говорит гертруда, когда соловейчиков забегает на минутку в кабинет рисования и – при открытых дверях – шаркает ножкой, становится в жантильную позу *я-обожая-вас* перед новенькой учительницей. глазки у него бегают, как подвальные мыши. он действительно стоит изогнувшись. руководитель школьного театра вздыхает томно и глубоко.

новенькая показывает слайды: всадник сидит на коне; конский круп – плоский, как столешница; вот человек, он управляет колесницей, натягивает вожжи, лицо возницы – жирная окружность, в центре – капелька глаза, запятая носа – птичий клювик прилип к обводной линии лица. другой человек лежит, длинноволосый; внизу, под его ложем – несколько женских фигурок. непонятно, плачут они или танцуют. *здесь*, говорит не-обстрелянная училка, *художник оживляет геометрические фигуры*, но мальчики ее не слушают; им все равно, *что* там на самом деле оживляет художник. они глядят, не отрываясь, на ее высокую грудь, обтянутую синей водолазкой. продолжается показ слайдов: *черные фигуры – это мужчины*, говорит она, а *белый пигмент – женское тело*. в конце урока задает работу на дом: *возьмите ватманский лист, начертите круг, представьте, что это – поверхность щита. изобразите на щите улицу, на которой вы живете, дом, квартиру, наклейте фотографию родителей, братьев-сестер*.

сулико пришел домой, на ватманском листе провел две окружности, одну внутри другой. получилось подобие щита с тонким ободом, который он тут же заштриховал. в центре он изобразил небольшую улицу: слева она упирается в железнодорожную насыпь, а справа пересекается с большой улицей. в точке пересечения находится автобусная остановка, а рядом, как испуганные овцы, жмутся друг к другу серые пятиэтажки. перед каждым подъездом – лавочка и дощатый стол. за столами собираются старухи, играют в дурачка на картошку. выигравшая получает сразу пять-шесть клубней, в зависимости от числа старух. сулико нарисовал грязные клубни. большая улица берет начало от стан-

ции метро «кунцевская», заканчивается возле «филевского парка». сулико изобразил приплюснутый магазин «турист» (бадминтонные ракетки, воланы, лыжи, китайские кеды), а чуть дальше – на этой же стороне улицы – гастроном «стекляшка», в котором его бабка сдает бутылки из-под кефира и на вырученное серебро покупает свежую выпечку. от «стекляшки» до булочной три минуты небыстрой ходьбы. бабка навещает в булочную несколько раз в неделю. если дорогу перебегают кот, не черный, какой угодно, поход в магазин затягивается. бабка боится всего на свете, но особенно – пустого мусорного ведра, сглаза и всевозможных котов. коты и кошки так и норовят прошмыгнуть перед бабкиным носом. при встрече с мерзким животным бабка, такая невозмутимая, вздрагивает, оглядывается, как будто кто-то стоит у нее за спиной. она ищет спасения в бегстве, пробирается к «стекляшке» дворами, в кошелке позвякивает кефирное стекло. однажды сулико с бабкой долго шли к булочной, потому что коты вконец обнаглели, даже с деревьев прыгивали бабке под ноги. в булочную она явилась уставшая, проделав немалый путь. когда бабка уже собиралась пробить чек за батон своего любимого рижского хлеба, она увидела чумающую девчонку, изможденную мордочку лисьей. чумазая схватила буханку орловского и побежала к выходу. кассирша упорно глядела в другую сторону, мол, ничего не вижу, ничего не слышу. бабка у сулико любит порядок во всем. в несколько прыжков она оказалась возле девчонки, поймала воровку и потянула к кассирше: *вот, изловила с поличным, зовите милицию*. кассирша тускло взглянула на бабку: *зачем вы так?* бабка не унималась: *смотрите, граждане*, обратилась она к окружающим, *она у народа ворует, у нас ворует*. покупатели глядели на девчонку с безразличием или с жалостью. многие отворачивались, торопились покинуть булочную. бабка, чумазая девчонка и сулико остались ждать милицейский наряд.

сулико нарисовал улицу, на которой он жил. вот двухэтажный мебельный магазин возле железной дороги. по будням по тротуару перед витринами снуют расторопные люди. проскальзывают внутрь через служебный вход, выбегают довольные, потирают ладони, как будто им повезло в жизни. потом подгоняют фуры, покрикивают на грузчиков *ласковой, мужики, ласковой...* на другой стороне улицы сулико нарисовал туберкулезный диспансер, стоящий в глубине сада. больничный сад зарос сорняком и случайными деревьями. сулико нарисовал бетонный забор вокруг территории тубдиспансера и вспомнил школьную шуточку: *хор мальчиков-туберкулезников исполнит песню «лучше нету того света», солист – василий безнадежный*. с другой стороны диспансерской ограды стоит их дом, под номером четыре. бабка запрещает ему и его сестре подходить близко к ограде, говорит, что медсестры специально отравляют воздух, сжигая обрывки ваты с кровяными выделениями пациентов. легче всего сделать набросок двора: асфальтовая дорога перед домом, вдоль которой высажены березы. весной мальчишки кромсают черно-белые стволы перочинными ножами, но стволы не источают сока. на земле, свободной от деревьев, играют в ножички. за березками ржавеет ограда детского сада. по утрам малышня вопит в песочницах, мешает матери отсыпаться после ночных дежурств.

он нарисовал дом – хрущевку в четыре подъезда – и свою квартиру: кухня (вытертый линолеум над отсыревшим деревянным полом), отдельный санузел. две комнаты – одна большая, другая маленькая, в большой спят родители, в маленькой – он с младшей сестрой. к детской примыкает кладовка – темная комната. там висит отцовская форма. звездочки на погонах: сперва их было четыре, потом одна, большая. в темной комнате хранится старый офицерский планшет – все, что осталось от деда после третьего инфаркта. еще осталось имя, которое носит он, сулико. его настоящее имя. в дальнем углу – свадебное платье матери, завешанное демисезонным женским пальто и отцовским кителем. он вывел темную комнату черной густой загогулиной. однажды он там отси-

живался, пока родители ругались и били посуду. безумное желание вдруг захлестнуло его – он захотел жить вечно, не умирать никогда, остаться хоть чем-нибудь, остаться впрок, хотя бы вот этим планшетом. в темной комнате пахло отцом, сильным запахом мужского одеколona, которые употребляют офицеры без различия родов войск, от старлеев до подполковников. сперва он нарисовал отца в парадной форме, потом изобразил мать в медицинском халате. она приходит с ночного дежурства и, не переодеваясь, валится на диван. ворочается, засыпает. ей снятся пьяницы, замерзающие насмерть в парке имени горького, и неудачливые самоубийцы, которые прыгают с нижних этажей и остаются живы, отделавшись от смерти несколькими переломами. отец все время исчезает куда-то, уезжает в командировки – ереван, ташкент, мары. рисуя фигуру отца, сулико вспомнил туркменские фотографии: пьяный отец обнимается с верблюдом, верблюд положил морду на его плечо, фуражка съехала на затылок, еще немного и скатится с головы, упадет на песок. отец блаженно улыбается. на другой фотографии он держит дыню в высоко поднятых руках. ноги расставлены широко, как будто отцу тяжело держать эту дыню. дыня похожа на маленькое солнце. на горизонте снимка верблюды плывут над бесшумным плеском песчаного моря.

5. стадион

он отыскал свадебную фотографию родителей и наклеил ее на ватман. жених подтянут, пружинисто вышагивает по ковровой дорожке загса. выправка офицерская. такая бывает у летяг и старлеев. капитаны и майоры обрастают плотью, наливаются сытой жизнью. на фотографии отец как раз старший лейтенант. *они – хорошая пара*, говорит будущая теща. *прекрасная*, соглашается будущая свекровь. *он – вылитый лермонтов*, восклицает она. нет, не лермонтов, поправляет ее сулико через шестнадцать лет после свадьбы: он – германн, военный инженер, хотя на германна совсем не похож. свадебные снимки – черно-белые лоскутья ношеной судьбы. мать двадцатидвухлетняя – подарок, завернутый в кисею. белый цвет оглушает мать, скрадывает смуглость лица и воронью черноту волос. красное, да, было бы в самый раз, красное платье или платье зеброй, как на stefании сандрелли в одном фильме, который мать видела перед свадьбой, но теперь не помнит, о чем этот фильм. только несколько кадров остались в памяти: легкие капли крови на снегу, сосновый лес и кружение леса в камере, а еще черно-белое, полосатое платье stefании, когда избалованной кошечкой она танцует перед трентиньяном. в институте мать была немного похожа на сандрелли – тугая плоть, пушок над верхней губой. молодая мать – близорукая итальянка, только волосы у stefании чуть светлее и ростом stefания повыше. в конце фильма присмирившая stefания подходит к главному герою и говорит о своей верности, а он обрывает ее, *хватит молоть чепуху, я всего лишь выполняю приказ*. мать любит поговорить о долге и верности. это – ее конек.

после работы отец водил ее на стадион. он объяснял ей правила. расторопные игроки отбирали друг у друга мяч, чтобы пнуть его в сторону чужих ворот. она приходила на свидания без очков и не могла отличить одну фигуру от другой. подслеповатой матери казалось, что присутствие мяча лишь подразумевается, а на самом деле мяч – невидимый, сферический сгусток воздуха. *очки портят внешность*, думала мать, *превращают женщину в сову*. прежний ухажер приглашал ее на спектакли, концерты, читал ей стихи. прежний – мякотелый, остроносый юноша, дальний родственник бабкиной подруги. сулико вспомнил, как несколько лет назад бывший воздыхатель пришел в гости к бабке с дедом. мать тоже пришла. привела с собой сулико. ухажер оказался человеком вполне положительным: голова с пролысиной, в бессловесном улыбчивом рту посверкивали

золотые коронки. на отца он не был похож. пока мать бегала по театрам и домам культуры, пока целовалась в подворотнях, отец проводил все свободное время в спортзале. поздно вечером приходил в родительскую коммуналку, голодный, взмыленный, разрезал батон белого. половину намазывал плотным слоем крестьянского масла, другую посыпал искромсанной колбасой, горками и поврозь. съедал сначала намавленную половину, потом колбасную. запивал сладким чаем. поужинав, кидал мокрую майку в грязное белье, становился под душ.

отец угощал ее жигулевским пивом. он собирал этикетки с пивных бутылок. вынимал из кармана замшевый бумажник, выуживал разноцветные этикетки. без очков она не могла отличить одну наклейку от другой. он объяснял ей: эта бумажечка – из тольятти, эта – из ленинграда, а эта – из уфы. «уфа» густым вытьем повторяли трибуны: забивали гол, игроки одной команды обнимались. вратарь противника растерянно озирался, как приговоренный к публичной порке. болельщики вопили, воронка стадиона разрасталась ликующим воплем: *уфа, уфа, уфа*. она смотрела на кричащих людей, вспоминала ночное дежурство, своего пациента, которому медсестра подвязала бирочку на большом пальце ноги, натянула больничную простыню на лицо, прикрыла разинутый рот и остекленевшие глаза. позвала санитаров, и те отвезли холодное тело в подвал... болельщики обнимались и вопили как резаные. куски человеческого мяса и груды костей издавали победный вопль в воронке стадиона – так казалось юной матери. мясо, взятое на анализ, кости, просвеченные рентгеновским лучом.

он не дарил ей цветов. вместо цветов приносил жигулевское пиво и кулек вареных креветок. он учил ее, как правильно отрывать креветочью голову и хвостик. каждый хвостик он осматривал на свет, не осталось ли там немного белого мяса, и если оставалось, высасывал остатки. она внимательно слушала, старалась повторить его жесты. она тоже осматривала хвостики, сощулив подслеповатые глаза. выедала белое мясо или делала вид, что выедает. от пива она хмелела и больше не думала о других людях. успокаивалась, прижималась к нему. именно при таких обстоятельствах, под иступленный вопль стадиона, он сделал ей предложение. любая другая согласилась бы тоже: он был красив, как юноша с комсомольского транспаранта: такие всегда смотрят вдаль, как будто зовут туда, куда смотрят, хотя, наверное, сами не знают направление собственного взгляда. спокойствие этого молодого человека подкупало ее. скорее всего, он бы не сильно огорчился, если бы на месте молоденькой докторши в белом халатике, вылезающем из под полы демисезонного пальто с ондатровым воротничком, сидела другая какая-нибудь (в джинсовом, например, комбинезоне под модным балоньевым плащиком небесной расцветки) и прижималась к нему. *какой же он спокойный*, думала юная мать, разнежившись от нескольких глотков пива. она забывала о своем дежурстве, о бирочке, привязанной к большому обмозоленному пальцу застывшей ноги, о больничной простыне, натянутой на стылое темя. отец приобнимал ее.

подступы к женитьбе похожи на стрельбу в тире: можно сразу завалить ползущую справа налево мишень кабана или утки; можно, конечно, промазать, как на военных сборах, когда метишь в десятку, а бьешь в молоко; можно зацепить дробиной – тогда фигурка сперва покачнется, потом подломится. отец любит мясо убитых зверей. когда его посылают в командировки под тюмень – обкатывать армейские зилы, – он охотится на оленей. *наведешь луч прожектора*, рассказывает отец, *а глаза у него – зеленые-зеленые. прицелишься в лоб, чтобы не мучился. медленно спустишь курок*. она, конечно же, согласилась стать его женой, но сулико не может домыслить, как именно она ответила ему тогда, на стадионе: *я согласна, или я буду твоей женой, или что-то еще сказала. что*

с ней случилось, с матерью, с тех пор, когда она стояла под руку с женихом во дворце бракосочетания? мать, наряженная в белое платье, которое смотрится дареным или взятым напрокат. теперь она совсем другая; работает через сутки, приходит с дежурства под утро, снопом валится на диван, даже не снимает белый халатик, похожая на ворону, обсыпанную сахарной пудрой. накрывается пледом, своим любимым верблюжьим пледом. раздвижной диван в большой проходной комнате. оранжевый плед. *оранжевый верблюд*, поется в одной идиотской песенке. как он изобразит мать? сверху слой оранжевой краски, под оранжевым – белый халат, нестиранный; волосы – черная смоль. она засыпает как рыба с полуоткрытым ртом. когда мать плачет, тушь расплывается по щекам. лицо глупеет и раздувается, как после осинового укуса. она всегда готова заплакать, показать детям, как трудно она живет, как выматывают ее ночные дежурства и вся эта сыростная, бестолковая жизнь.

6. возвращение

она готовит ужин на четверых. макароны с маслом или сырники. сырники хорошо получаются. ее медленные жесты висят в воздухе. она перебивает тарелки, сначала ополаскивает, потом трет желтоватой губкой. обтирает насухо полотенцем с черными глазками дырок, проеденными случайным всплеском огня. убирает тарелки в буфет. прислушивается к посторонним шагам в подъезде. это не его шаги, у него поступь легкая, его ноги почти не касаются лестничных ступенек. она смотрит в окно, там – сумерки, лежалый снег, ряд деревьев с обвислыми ветками и черно-белой истрепанной корой. она возвращается к раковине, перебивает кастрюли и сковородку, трет их тщательней, чем тарелки. смотрит в окно: по улице ходят люди, но они по-другому ходят; у него поступь воздушней, когда он взбегает на второй этаж часов в пять или шесть. она снимает трубку, звонит на завод. телефон молчит, гудки длинные. она пылесосит на кухне – пузырчатый, вытертый линолеум, потом – в коридорчике вдоль ванной и туалета, потом – большую комнату, где стоит телевизор перед раскладным диваном. она пылесосит диван и диванные подушечки. останавливается. раскладывает диван. теперь он раскрыт, как книга. выключает пылесос, выдергивает шнур из розетки, смотрит в окно. за окном ничего не видно, иногда проезжает машина, обдает ближним светом черные белые деревья. это не его машина. на работу он поехал на метро.

балкон завален запчастями. коленные валы по двое лежат в обнимку, шестерни щерятся, карбюраторы, как мышинные норы. он объяснял ей: если в машине выйдет из строя карбюратор, он возьмет один из этих, лежащих на балконе, и легко заменит, и маховик заменит, и резину тоже (*смотри какие*, показывает он на новенькие шины). он работает с военными автомобилями. коллекционирует запчасти, как другие собирают марки или монеты. она называет запчасти рухлядью.

она накидывает на плечи пальто, светло-коричневое с ондатровым воротником, берет мусорное ведро, спускается по лестнице на первый этаж. прислушивается. тускло горящие лампочки не светят, а скрадывают освещение. она проходит мимо шеренги деревьев до торца дома, высыпает мусор в проржавелый контейнер. мусор – куриные косточки, лейкопластырь, ненужное тряпье, старые газеты – издает скорбящий звук, исчезая в контейнере. она возвращается, смотрит на электрический свет в чужих окнах. *у людей все как у людей*, думает она. в квартире, где они живут, тоже светло. дети включили телевизор. смотрят на экран или делают вид, что смотрят. она садится на диван и начинает плакать. дети видят, что она плачет, но отворачиваются, притворяются,

что не замечают ее. она уходит на кухню. возвращается в ярости, подбегает к сыну: *не могу тебя видеть. ты похож на него, отродье, сволочь.* руки у нее пухлые, недлинные. она тянется, чтобы схватить сына за волосы. он уворачивается, забегает за стол, большой праздничный стол. бегаёт вокруг стола. она не может его догнать, не хватает дыхания. ее слезы не высохли, но теперь это слезы гнева. она загоняет его в угол. он, тщедушный, отбивается, закрывает лицо. главное – закрыть лицо. она почти что падает на него, впиваясь ногтями в запястье. он кричит, зовет на помощь. она безмолвно упивается собственной яростью. потом уходит в ванную, оставив кровавый зигзаг на его руке. в ванной висит аптечка. там же стоят коробочки с таблетками. она чувствует, что сходит с ума. принимает успокоительное. сын забился в угол, вытирает сопли, слезы. дочь смотрит телевизор. сын подсаживается к сестре и тоже начинает следить за действием фильма: цыган возвращается на родину; на родине ждет его клара лучко. смешная фамилия лучко. мать появляется из ванной в махровом халате. выключает телевизор, отправляет детей спать. дети уходят в маленькую комнату, где письменный стол и две кровати, для сына и дочери. а в углу стоит шифоньер, на который отец по воскресеньям вешает выцветший, шероховатый экран, показывает диафильмы (волк и заяц, три поросенка, дурачок, разъезжающий на печке, олимпийские игры). кособокая дверь ведет в темную комнату. там висят свадебное платье матери и офицерский китель с капитанскими погонами. дети ложатся. она тушит свет. сын отворачивается к стене и фантазирует. он воображает, что лежит в сиреновом гробу, как принц какой-нибудь. сквозь щелочки глаз он видит, как все вокруг оплакивают его смерть. он старается не унывать, чтобы не выдать себя. к гробу подходит отец, склоняется и спрашивает, кого он больше любит, мать или отца, и он должен смолчать, потому что если сказать, что любишь одного сильнее, другой обидится. надо подумать немного, а потом прошептать, будто сквозь сон, что обоих одинаково, но не говорить «люблю». он вспоминает, что давно умер, и постепенно забывается сном. ему снится темная комната, сиреневый гроб, в котором соседская овчарка вылизывает щенят...

сын просыпается от дверного скрипа. ключ ворочается в замочной скважине с убывающим жалобным стоном, будто полозья коньков на разгоне, по неровному льду. звук истончается, не успев родиться. в квартире никто не спит. мать – живая мумия, которой тесно в саркофаге верблюжьего пледа. отец входит неуверенно. нашаривает выключатель. вспыхивает свет в прихожей. он снимает шинель, вешает фуражку на крючок. китель, сложенный вдвое, падает на спинку стула. он входит в комнату, где лежит она. освобождаёт горло от галстука, возится с верхней пуговицей на рубашке. пуговица давит на кадык. наконец, он дышит свободней. она лежит окутанная пледом. снаружи остается только верх головы. после последней завивки волосы курчавятся, как будто в коконе спит барашек. она ждет, когда он снимет брюки и проведет ладонью по ее курчавым волосам. он стоит возле кромки дивана. пошатывается. говорит что-то мягко-монотонное, будто молитву читает. в маленькой комнате дети слышат *лечка, лечка, лечка*. она выпаривается из верблюжьего кокона. отталкивает его *не смей ко мне прикасаться*. говорит негромко, медленно. он стоит и смотрит на нее, как будто не узнает ее. моргает, как ребенок, которого накормили хлебом с горчицей. она уже не может сдержаться. начинает кричать. крик истончается, переходит в отрывистые повизгивания. это он со своими друзьями-пропойцами испортил ей жизнь. это он предал ее. она вбегает с маленькую комнату. дети делают вид, что спят. она стягивает с них одеяла, поднимает, уволакивает в большую комнату, тычет пальцем в отца, визжит: *посмотрите, вот он, вот он... это он – ваш отец, это он испоганил нам жизнь. я требую развода*, надсаживается мать. дочь, говорит он, пьяно растягивая слова, *дочь можешь взять себе, а сын останется со мной*. он часто моргает, покачивается, как лодка на воде. пересыхает в горле, холодной воды хо-

чется. он уходит на кухню, пьет из чайника, поднеся алюминиевый хоботок ко рту. она стоит перед зеркалом в прихожей, смотрит, как, отражаясь в зеркале, он медленно пьет воду из чайника. она проговаривает внятно: *твой брат – последний подонок, а мать – потаскуха*. он берет граненый стакан и кидает в нее. стакан ударяется об зеркало, пролетев в сантиметре от правого виска. зеркало крошится, осколки сыплются на паркет. он продолжает пить воду из чайника. мать оборачивается и говорит: *ты мог убить меня*. он допивает воду, вытирает губы тыльной стороной ладони и уходит в ванную, чтобы принять душ. завтра он купит ей пальто или сапоги. они помиряются.

7. четвертый этаж

дед с бабкой договорились с родственниками и устроили первое свидание. мать отправилась в центр города, но скоро вернулась. ее родители стали допытываться, почему она так рано вернулась. мать рассказала все как было: ее кавалер не явился. они условились встретиться возле метро. она обошла здание станции, для верности спросила нескольких молодых людей, которые тоже ждали кого-то, не с ней ли они собираются встретиться. дед с бабкой предположили, что она, наверное, не заметила его, потому что была без очков. она обиделась и заплакала. тогда они велели позвонить ему, вдруг он заболел или попал под машину.

– *с какой стати я должна ему звонить?* – заупрямилась она, – *ведь это он не пришел.*
– *сейчас же позвони, или ты – не наша дочь,* – цыкнул дед. она взяла телефонную трубку, долго набирала номер. телефонный диск ворочался, как спящее тело. ответила будущая свекровь.

– *здравствуйте, позовите, пожалуйста... меня зовут...*

– *я-то думала, что он сейчас с тобой.*

– *нет, мы не встретились. он не пришел*

– *как же так?* – спросила мать пропавшего лейтенанта.

– *да вот так,* – отрезала она и повесила трубку. ее родители подслушивали разговор.

– *позвонишь ему позже,* – распорядился дед. вечером она позвонила. трубка снова заговорила голосом будущей свекрови: *он уже спит, перезвони ему завтра. или он тебе сам перезвонит.* потом мать все узнала: он приехал в назначенное место чуть раньше, встретил друзей, которые затащили его в пивную.

ее родители живут на четвертом этаже, в такой же двухкомнатке, но их квартира обставлена солидней, чем родительская: черное лакированное пианино, на котором никто не играет. настольные часы, антикварные, французские. когда дед начал приносить деньги (приносил в туго набитых карманах, в бумажных пакетах, в портфеле), он сказал бабке: *пойди в комиссионный и купи что-нибудь красивое*. бабка вернулась с настольными часами. *они же не ходят,* воскликнул дед. *зато посмотри какие,* ответила бабка и замолчала. сломанный механизм был водворен в клетку черного мрамора, ярко-белый циферблат с позолотой римской цифири, стрелки тонкие, золоченые. на полированной поверхности мрамора стояла бронзовая девушка, опираясь на высокий сосуд. изящная, безликая рахиль. этим именем назвал ее знакомый оценщик-антиквар, который пришел в гости к деду, выпил три чашки чая, съел половину яблочного пирога, осмотрел часы со всех сторон и сказал, что сделаны они в наполеоновской франции. взглянув на чернявого деда, антиквар пошутил, что это, мол, ваша прапрабабка встречает своего жениха возле колодца. дед поинтересовался, сколько можно взять за эти часы, если их продать. оценщик пожал плечами и сказал, что теперь этим добром никого не удивить, комиссионные завалены трофейным антиквариатом, но любой усадебный музей с удовольствием приобретет рахиль безвозмездно.

дед – сын мясника из умани. у прадеда был свой дом на главной площади города. в начале тридцатых родители деда сбежали в ташкент, спасались от голода. *ташкент – город хлебный*, дед поднимает вверх указательный палец в знак того, что ташкент, действительно, необыкновенный город. дед любит мясо, как любить можно только женщину или гоночный автомобиль. один и тот же почти религиозный обряд его трапез: дед вдохновенно обглаживает кости, высасывает костный мозг, заедает печенью, сердцем, легкими. в нем есть что-то циклопье, дикое что-то... мясные блюда готовит самостоятельно. бабке не доверяет. *это – царское дело, тушить баранину*, утверждает он. то же самое относится к козлятине, телятине, говядине. он священнодействует, когда маринует баранину под шашлык, опускает в термос кусочки мяса, вспрыснутые прокисшим вином. на отцовской машине семейство выезжает на природу со своим мангалом и шампурами. угли тоже привозят с собой. самый живучий запах – духовитость баранины, тронутой огнем. иногда дед говорит сулико *подуй на угли или пойди пособирай землянику, или поищи грибов*.

раз в месяц дед ложится на кровать и говорит бабке: *женичка, я умираю. зови нелю*. раз в месяц мать мчится на четвертый этаж. не переодевается даже, так и бежит, в ситцевом своем халатике. лестничные пролеты отлогие, ступени неглубокие. добежать со второго на четвертый несложно, но грузная мать задыхается: пот выступает над верхней губой. в квартире, кроме бабки и деда, живет дядя, брат матери. он выходит покурить на балкон. дядя привык к таким сценам. бабка сидит рядом как ни в чем не бывало. бабку не проймешь гипотетической смертью. дед начинает верить, что жить осталось недолго, и взводит глаза к потолку. мать извлекает стетоскоп из черного футляра, измеряет давление. давление слегка повышено, пульс учащенный, но это – от страха. она сидит рядом с дедом и держит его за руку. он отсылает бабку на кухню приготовить ужин для дяди. *накорми сына*, говорит он слабым голосом, – *может быть, неля тоже чего-нибудь перекусит*. нет, он не станет ужинать, ему больше не нужна пища. *пора*, говорит, *о душе подумать*. бабка уходит на кухню. дед лежит на диване без движения. молчит, глубоко вздыхает. проходит время. почуяв исходящий из кухни аромат, он приподнимается на локтях и тихо спрашивает (слова дрожат, как туго натянутая струна): *что это женичка там готовит?* мать бежит на кухню. возвращается и докладывает: *яичницу со шкварками*. дедовы ноздри расширяются. страх покидает деда. он говорит вполслуха (в голосе появляются твердые нотки): *пусть она мне тоже положит немного*. мать гладит его по руке.

иногда дед водит все их семейство в ресторан. сулико вспомнил, как перед ноябрьскими праздниками они собрались в «узбекистане». справляли день рождения сестры. сидели за длинным столом и молчали. молчали дед и бабка, молчала мать, потому что говорит мало в их присутствии, молчал отец, молчали остальные. к столу подошел однорукый старик с орденом на засаленном лацкане, пустой рукав пристегнут к пиджаку. единственной своей рукой он поддерживал поднос, на котором исходила жирным паром тарелка с узбекским супом. однорукый (небритая, пепельная физиономия) спросил, можно ли присесть рядом, съесть тарелку супа. все ждали, что скажет дед. тогда дед произнес: *здесь свободных мест нет. мы ждем родственников*. старик посмотрел на деда, как будто не ожидал услышать ничего другого. поднос накренился. сулико подумал, что шурпа сейчас прольется на пол, но однорукый удержал поднос. он поплелся к подоконнику, потом стоял сгорбившись над тарелкой, обдувал алюминиевую ложку и понемногу отхлебывал жирный суп. иногда старик оглядывался на семейное застолье. наверное, ждал, когда придут родственники. отец с дядей начали спорить о том, где воздух целебней, в кобулети или в клайпеде. отец утверждал, что – в кобулети, дядя – что

в клайпедзе. бабка и мать не обращали на них внимания. дед сказал, что скоро выпадет снег. официант принес закуску.

8. бабка

ее жених, военный летчик, погиб на войне. сгорел заживо. после войны она познакомилась с дедом (*я увидел ее и понял, она – моя*, говорит дед). бабка на два года старше деда, но дед об этом не знает. перед свадьбой она переправила год рождения с 23-го на 25-й. они расписались и переехали в сталинабад. дед клеил чемоданы, торговал на рынке. после рождения матери обосновались в подмосковье. дядю бабка рожала в московском роддоме, в 53-м году. тогда требовалось указывать национальность роженицы. бабка записалась татаркой, от греха подальше. сперва они жили на сетуни. сулико представил себе сетунские выселки, бревенчатый дом на две семьи, овчарку, охранявшую яблоневый садик; пригородную школу, в которой парту матери натирали чесноком, и она не понимала, почему чесноком несет только от ее парты, а другие не пахнут.

бабка отличается от прочих женщин: она сотворена из промозглого ноябрьского ветра и дождика, который хлещет наискосок и стекает за воротник мелкими, тошнотворными струйками. любой всплеск огня она превращает в ледяной оплевок. в отличие от матери сулико, которую хлебом не корми, дай только поговорить о долге и верности, бабка за-тосковала бы среди отвлеченных понятий. она не совершает поступков, ее жизнь – мелкая, подернутая ряской подозрительности заводь привычки. свою дочь она не любит, но разрешает ей любить себя, позволяет теряться в догадках, как лучше всего угодить бабкиной врожденной брезгливости. своего сына она окружила звериной стеной ревности. дядя должен принадлежать бабке; он – ее неотторгаемая собственность, на которую никто не имеет права посягнуть. она не прощает ни одной женщине, с которой сходитесь дядя. свою ненависть бабка пестует, как ученик на уроке химии выращивает кристаллы сульфата меди. познакомившись с очередной дядиной пассией, она закидывает удочку в глубь своего рассудка и вылавливает первую рыбку подозрения. она чувствует, как ненависть вызревает в ней. бабка внутренне вздрагивает от неожиданной радости узнавания врага, от укола ледышкой вражды. она даже улыбается, но улыбка предназначена не дядиной пассии, с которой беседует бабка, но собственному прозрению: она чувствует, как шевелится ненависть у нее под сердцем.

бабка никогда не выражает своих истинных чувств на людях: она не подойдет к человеку, не плюнет ему в лицо, не скажет: *ты – подонок*. ненависть – слишком тонкое ощущение, чтобы так бестолково разменивать его. бабка – своего рода поэт, изощренный в филигранной мизантропии. особенно когда дело доходит до сведения счетов. от семьи требуется неукоснительная покорность ее причудливым замыслам. дед души в ней не чает и потекает как может мстительному духу. она плетет паутину, невидимую для врага, но очевидную для нее самой. каждому новичку, застрявшему в искусной финифти ее домыслов, она дает новое имя, крестит жертву в купели дистиллированной ненависти. во имя отмщения бабка отыскивает телефоны своих жертв и звонит им по вечерам и в выходные, вернее, просит деда набрать номер. он подчиняется и покорно ждет, когда на том конце снимут трубку. дед слышит голос: сперва говорят «алло», а потом терпеливо, иногда по складам, объясняют: *ничего не слышно... перезвоните, пожалуйста*. бабка сидит напротив и взглядом спрашивает *ну что?* дед шепчет, заслонив ладонью трубку: *подожди немного, женичка*. он весело дышит и слушает чужую растерянность. потом вешает трубку. говорит тоном заговорщика: *он (она) дома*. бабка просит *позвони ещё*. дед

выполняет ее прихоть. на том конце провода ничего не могут понять, жалуются: *черт знает что, звонят и звонят*. наконец, отключают телефон. бабушка спрашивает приглушенным голосом: *ну что?* дед отвечает: *они дома, дома сидят*.

дед живет в настоящем времени, прошлое он вымарывает из памяти. где-то в провинции у него есть братья и сестры. дед о них никогда не вспоминает. ради требухи, скворчащей на сковородке, ради тихого стрекота потрохов в растительном масле можно все забыть. дед любит читать текущие новости в газете «труд». он не всегда понимает, что происходит в стране и в мире и почему это происходит. ему нравится сам факт, что где-то что-то случается. он пожирает новость за новостью. для бабушки газета не является источником информации. информация ее вообще не интересует, она сама – рассадница догадок и сплетен. бабушка навсегда осела в прошедшем времени. иногда она предпринимает безумные попытки отплатить за обиду, якобы нанесенную ей пятнадцать-двадцать лет назад. действует в одиночку. рассылает подметные письма с проклятиями в адрес мнимых обидчиков, которые за это время успевают переехать из одного города в другой, или улицы, на которых они живут, давно переименованы, или сами обидчики лежат на кладбище. отправленные письма возвращаются. бабушка свирепеет, разрывает их и сжигает клочья бумаги на кухне, в оцинкованном ведерке, куда она выбрасывает газетные обрывки со следами своей мокроты. она часто сидит перед выключенным телевизором или стоит возле окна, внимательно смотрит, кто входят в их подъезд и кто выходит.

дед в ней души не чает, он выдумывает небылицы, которые служили бы наглядным доказательством ее самоотверженности. сулико вспомнил историю, рассказанную дедом: *в шестьдесят втором году меня арестовали, увезли в бутылки. там, в бутылках, я исхудал сильно, нажил язву желудка. остальных, арестованных вместе со мной, приговорили к расстрелу. их расстреляли, а меня оправдали*. дед продолжает: *спасительница моя – вот она*. он показывает на бабушку. бабушка сидит рядом с ним. она не противоречит деду. скорее всего, она даже не слышит, что он говорит, вернее, не обращает внимания. дед молится на нее, как на икону. вытянутое лицо бабушки действительно напоминает икону.

бабушка не была спасительницей деду. когда его забрали, она не пролиwała слез, не рвала на себе волосы. сидела на стуле и не сводила глаз с персидского настенного ковра. она окаменела бы от голода, если бы не бабушкина сестра, которая присматривала за детьми, варила и жарила, чтобы в доме была пища. не бабушка, а сестрин муж каким-то чудом разыскал прокурора, назначил встречу, привел бабушку, притащил чемодан с деньгами. прокурор снял обвинение с деду, а потом выстроил себе крепкий двухэтажный дом где-то в ближнем предместье. деньги, правда, были дедовы. они лежали на клавишах под лакированной крышкой пианино. люди, пришедшие с обыском, перевернули квартиру вверх дном, проверили даже пазуху пианино, не хранится ли там, среди натянутых струн, незаконно нажитый чистоган, а про клавиши забыли. пианино, на котором никто не играет, предмет посторонний, как будто чужой человек вошел к ним без спроса и не собирается уходить. никто из домашних не замечает его присутствия, а оно замечает все, шпионит за всеми из своего угла, как бабушка – за жильцами подъезда.

9. метро

ватманский лист, свернутый в черном рифленом тубусе. улица – не улица, так, проезжая часть в сторону станции. с одной стороны – пустырь, с другой – небольшой пруд. возле

пруда – единственный на всю улицу, т.е. не улицу, а проезжую часть – девятиэтажный дом. здесь, в третьем подъезде, на пятом этаже живет леночка. леночкин сосед по лестничной клетке – репетитор по физике. год назад мать привела к нему сулико. приземистый, обрюзглый физик проэкзаменовал его по школьной программе, а потом спросил: *скажи сразу, ты – тупица или халтурщик?* – я – *халтурщик*, неохотно сознался сулико. у репетитора мягкий, южный выговор. он – одессит или киевлянин. зимой он носит дубленку и глубокую кожаную кепку, которую он натягивает на уши, чтобы не получить воспаления.

зимой пруд замерзает. дети и взрослые катаются на коньках, носятся по льду, помогают себе руками, держат равновесие. лед неровен, зыбится, повторяет движение воды. теперь на льду ни души. во-первых, час ранний, во-вторых, общее потепление. лед покрылся гангренозными пятнами убывания. сулико воображает: тонкий лед подламывается под андрюшей поляковым. андрюша барахтается в ледяной воде, полушубок с барашковым подбоем наливается тяжестью, уволакивает на илистое дно; все дети разбежались, и только он, сулико, не растерялся; он подползает к проруби и протягивает андрюше длинную жердь. на берегу, конечно же, стоит леночка и все видит. потом андрюша лежит распластанный на льду. леночка машет рукой сулико и кричит восторженно «спа-а-асибо». потом на школьной линейке сулико наградят медалью «за спасение на водах», напишут о его подвиге в газете. тут он вспоминает: пруд слишком мелкий, чтобы в нем утонуть. воспаление легких заработать, да, можно.

дорога к метро идет по насыпи. с одной стороны – пруд, с другой – пустырь, заросший бузиной и волчьей ягодой. на пустыре по вечерам собираются алкоголики со всего окрестка. один такой пьянчуга увязался за сулико прошлым летом. *стой*, говорит, *есть к тебе вопрос*. сулико остановился, оглядел его: плюгавый пропойца, мелкий, таких называют «метр с кепкой». *слушай*, парень, сказал он, *есть бог или нет?* – *бога нет и не будет*, заносчиво ответил сулико. пьяный тип схватил его за руку. *есть*, говорит, *бог, пахло. я тебе прямо сейчас докажу, что есть. пойдём со мной.* – *никуда я с вами не пойду*, сулико оттолкнул пропойцу. тот не устоял, покатился вниз по насыпи, в сторону бузиновых зарослей, к волчьей ягоде. сулико бросился бежать, думая, что этот тип погонится за ним и утащит куда-нибудь. остановился напротив леночкиного дома, возле тумбы с театральной афишей обернулся: плюгавый выполз на дорогу и грозил ему кулаком: *бог есть, твою мать... он живет в моем подъезде на шестом этаже. понял, пахло?*

за ночь снег подтаял, истончился. осенний мусор чернеет, как будто он выгорел прежде, чем оказаться под снегом: прель листьев, ошметки травы, бутылочные осколки (светлые стеклышки кажутся пепельными на прореженном снегу), разломанная надвое сигарета с выпавшей щепотью табака, собачье дерьмо, бурая, застывшая рвота, несколько растерзанных пластмассовых стаканчиков, обрывки синего воздушного шарика, хлебные крошки, рассыпанные сердобольной пенсионеркой – для воробышков и голубей. мусор проступает рельефно. земля лежит, как поваленная стена храма. сулико проходит мимо киоска «мороженое». каждый день в 11 часов утра дородная продавщица протискивается в узкий входной проем. непонятно, как она там помещается, такая огромная. любимое мороженое – «бородинское», сливочное в глазури крем-брюле, но «бородинское» слишком дорого стоит. фруктовое в стаканчике, всего за семь копеек. от него потом, правда, сводит живот, но это – не страшно. что такое желудочный спазм перед стаканчиком застывшего нектара? комариная плешь – пять минут на унитазе, и все как рукой снимает. на обратном пути сулико купит фруктового.

их ветка метро – голубенькая, что-то среднее между синим, арбатско-покровским, цветом и белым, который ничего из себя не представляет. кажется, что их ветка исчезнет, если на нее подышать как следует, тихая ветка, как поднебесный провод, на котором сидят птицы. на платформе сулико глотает ветер, летящий откуда-то сверху, выдуваемый низкими облаками, всей облачной серостью в редких фиолетовых размывах на окраинах. мужчины вжимаются в куртки, болониевые плащи. некоторые курят. женщина поджидает поезд в тяжелом пальто, похожая на снежный сугроб. заношенные сапоги, один на молнии, на другом молния сломалась; английская булавка удерживает сапог на голени, не дает сползти. голова женщины утопает в меховой шапке. сулико входит в вагон, занимает место у двери, прижимается плечом к толстому стеклу «не прислоняться». нарастает синюшное утро, как мертвая птица, брошенная под ноги. облака висят низко, сплошной массой. поезд останавливается. он видит корявое дерево, растущее возле полосы отчуждения. ветви подняты кверху, как руки солдат, сдающихся на милость победителя. он пытается взглядом преодолеть дерево, увидеть, что находится по ту сторону ветвей, в синюшной перспективе, но глазам становится больно. взгляд, заплутавший в ветвях, возвращается в ночь, в сторону бухтящего кашля. сестра канючит: *дай поспать, надоел совсем*. кашель такой, как будто ледорубом ломают грудь. ворочается сестра, натягивает одеяло на голову. открывается дверь, фигура отца появляется в подсветке ночника. он входит медленно, осторожно, как будто не знает расположения мебели в комнате. он протягивает горячую чашку: *на вот, выпей теплого. может, пройдет*. сулико отпивает тихими глотками. отец уходит в другую комнату, ложится на диван рядом с матерью. *вроде успокоилось*, шепчет отец... поезд резко трогается и сразу же останавливается. дерево все ещё застит взгляд: корявые ветви, зазоры между ними. сулико закрывает глаза. открывает, когда поезд уже набирает скорость, устремляясь в туннель. сулико успевает увидеть, как возле реки, на плацу, строятся суворовцы в черных мундирчиках, в фуражках с красным околышем. поблескивают ременные пряжки. он завидует маленьким фигуркам, стоящим навтыжку перед сержантом.

Ю. ЛЫЖИ

школа припаяна к высокому берегу реки. пустырь за школой обрывается, отлогий склон уходит к набережной. на пустыре весной и осенью проводят уроки физкультуры – бег и метание учебной гранаты. физрук поясняет: *представьте, что перед вами вражеский танк. отвели плечо назад. раз-два. замахнулись и бросили...* мальчики далеко кидают гранату. сулико воображает, что он герой-панфиловец. размахивается и бросает. граната падает под ноги николай степанычу. тихо, но внятно матерится летчик-интернационалист, ветеран корейской войны николай степанович зубилов.

зимой вдоль кромки обрыва проложены две параллельные лыжни, одна для скользящих в сторону пивзавода, другая – для тех, кто возвращается к школе. физкультура зимняя – надевание лыжных ботинок, завязывание шнурков на два узла. шнурки скользящие, не держатся, расползаются, как клубок склизких змеек. коварство и подлость креплений. сулико фиксирует ботинки и дергает ступней для верности. он катится в цепочке. впереди – андюша поляков, позади – леночка. правый ботинок выскальзывает из крепления. свободная лыжина откатывается в сторону. он заваливается набок, на снежный, льдистый наст, продавливая его. он хочет подняться, но не может. лыжники, следующие за ним, смеются. леночка тоже смеется, открывает белые зубы и морщит носик. леночка обходит его по насту. мальчик, который скользит за леночкой, протягивает сулико лыжную палку – мол, хватайся за нее скорее. сулико берется за алюминиевый стержень,

привстает. тогда мальчик рывком тянет палку на себя. от резкого движения сулико снова падает на снег, подогнув ноги. мальчикам весело. леночка оборачивается. леночкины зубки белые, белее снежного наста. сулико отстегивает крепление. ковыляет к заблудшей лыжине, заново завязывает шнуры, лепит узлы. становится на лыжню.

там, где пролегли две лыжни, одна – в сторону пивзавода, другая – к школе, там раньше было кладбище. на том месте, где выстроили школу и разбили скверик с каштанами, стояли надгробия. строители снесли могильные памятники, возвели здание школы, но кладбище нельзя уничтожить совсем. остается изнанка земли. бурый подзол сам о себе расскажет. весной, в годовщину победы, за школой сажают деревья. выроют ямку, а там макушка черепа желтеет сквозь грязь. мальчишки выкапывают череп, выносят на свет аккуратно, как ребенка. смотри, мертвый человек, сквозь пустые глазницы – вот, новое время и новые люди, мы будем жить очень долго, гляди, как мы прекрасны: поливаем саженцы, сгребая в кучи прелые листья, собираем макулатуру, целуемся с девчонками в подъездах. только взгляни, что за город мы отстроили. какой-нибудь мальчик обязательно скажет: *посмотрите, нет ли там серебряной монетки. вы разве не знали, что у всех, которые здесь зарыты, припрятана денежка под языком, чтобы в другой жизни они возвратились в свой иерусалим. поглядите, пошарьте там, вдруг блеснет царское серебро.* они все такие, продолжит мальчик, *деньги уносят во ртах, чтобы другим не досталось.* смотри, бывший человек, вот серое небо – сплав олова и подзола – над твоим аустерлицем. облака низкие, скучные. поваляйся пока на земле, а мы посадим дерево, пусть знают люди в будущем, какие мы были, как любили эту землю. череп катится по нежной траве, по прошлогодней прели. эй, пацаны, кто хочет в футбол? глядите, как податлив череп, если пинать его осторожно...

один надгробный камень оказался в подвале. строители забыли убрать или оставили на память. на куске мрамора выгравировано по-старинному «илья фондерштат». в школе говорят, что фондерштат по ночам шуршит бумажками, вздыхает и плачет, или переворачивает ведра с краской. краска заливает пыльный бетонный пол и листы фанеры. как англичанин, охотник за привидениями в старинном особняке, сулико задумал изловить призрак фондерштата. он принес из дома огарок свечи из бабкиного поминального подсвечника. сказал родителям, что останется на репетицию. когда школа опустела, залез в подвал. тьма осветилась скаредным светом: сулико увидел трофейный верстак, листы фанеры, старые газеты, разбросанные на бетонном полу. он пригнулся, чтобы не удариться головой о низкий потолок. бросил портфель на пол, уселся сверху. сначала он слышал, как бьется его испуганное сердце. пахло сыростью и пылью. огарок он поставил перед могильным камнем. вдруг сулико услышал шарканье. так пришаркивают старики, которые не могут отнять ног от земли, от ее теплой поверхности. в подвале было пусто. потом он услышал хриплый вздох, почти что всхлип, как будто из часов с кукушкой на свет выпархивает птичка, но вместо знакомого приветствия рождается жалобный звук, похожий на стон. сулико испуганно оглянулся. две теплые капли упали на запястье: слезы фондерштата пахли какой-то гадостью. сулико приподнялся, сгреб старые газеты в кучу – все эти передовицы, отчеты о перевыполнении планов, письма рабочих, сообщения о соцреволюциях в африке, каракулевые шапки руководителей на трибуне мавзолея. поднес огарок поближе, но газеты гореть не хотели, хоть и были бумагой. тогда он взял газетный лист, поджег его и положил осторожно на собранный ворох. огонь был сперва отторгнут, потом зародилось пламя. наконец, разгорелось вовсю. он подумал, что неизбежно погибнет – задохнется, сгорит, если останется здесь, в подвале. гарь разъедала глаза, дышать было очень трудно. он выполз вверх и побежал. навстречу по коридору неслись, выпучив глаза, две подслеповатые девочки, бобчинский и

добчинский из школьного театра; за ними летел соловейчиков; за соловейчиковым спешила леночка в платье с пелеринкой, в роли марьи антоновны; за леночкой – андюша-хлестаков. соловейчиков набросился на сулико, как ястреб на мышь: *ты что натворил? убирайся к черту! чтобы духа твоего не было в театре!* так соловейчиков изгнал сулико из школьного театра. роль без слов, которую он должен был сыграть в пьесе гоголя, достанется теперь другому. приковыляла старушка-уборщица, перекрестилась: *господи помилуй, сижу в кладовке, чай наливаю из термоса, а сквозь паркет дым поднимается.* соловейчиков побежал звонить пожарникам. приехали два расчета и потушили пламя. хорошо, что не лопнули трубы.

отлученный от театра, сулико сел в *сорокпятый* автобус и поехал домой, но вышел чуть раньше, возле бородинской панорамы. зашел в «пончиковую», встал в очередь, купил килограмм промасленных пончиков, попросил посыпать щедро сахарной пудрой. пока ехал в автобусе, прикончил пончики, а потом медленно брел домой по снежной тропинке через заиндевший яблоневый сад. сахарная пудра лежала комками на дне пакета. он выуживал комочки пудры, глотал их жадно. домой он пришел обсыпанный белый пылью – боец в маскхалате. отец еще не вернулся с работы. мать начала ругать его (*опять выпачкал форму, сам пойдешь в химчистку*), но тут позвонил телефон. мать сняла трубку. директриса вера николаевна пожаловалась на сулико. *на педсовете они решат, как поступить с ее сыном.* мать положила трубку и отлупила его офицерским ремнем с толстой, блестящей пряжкой.

II. урок английского

гертрудой ее называли в честь героев труда первых пятилеток. *во мне нет ни капли немецкой крови*, уверяет она. когда гертруда входит в кабинет английского языка, сидящие встают. она открывает классный журнал и обращается к детям: *гуд морнинг, чилдрен.* ученики и ученицы отвечают нестройным хором: *гуд морнинг, гертруда георгиевна.* дети садятся и раскрывают тетрадки. *тудэй, чилдрен*, объявляет она, *ви вилл ревью зэ хоумворк. ху вонтс ту старт?* леночка поднимает руку и говорит: *ай вонт ту старт, гертруда георгиевна. гуд, леночка, фенк ю, нау старт. тел ас вот хэппенс эт зэ безиннинг оф зэ фёрст чептэр.* леночка встает и бегло пересказывает начало первой части. главный герой прикомандирован к 18-й армии. он ждет погрузки на военный катер, чтобы переправиться на плацдарм, который обстреливают гитлеровцы. предстоит опасная пере-права.

леночка занимается с репетитором. слова легко сшиваются в предложения. свободно течет чужая речь. кажется, что леночка читает стихотворение роберта бернса, так хорошо пересказывает. леночкины родители дружат с гертрудой. она ходит к ним в гости, пьет чай на кухне с леночкиной мамой. леночкин папа вечно занят, он погряз в домашних делах, как будто это он – домохозяйка: бегают по магазинам, моет полы или протирает пыль в комнатах. *где ты такого чистюлю выкопала?* шутит гертруда. леночкина мама отвечает, театрально закатывая подведенные тушью глазки: *он долго меня добивался, сначала я сопротивлялась, но потом поддалась.* гертруда рассказывает, как она проходила стажировку в египте. в который раз повторяет гертруда: *египет – страна красивая; одна беда – мужики ленивые, целыми днями просиживают в кофейнях, ни фиги не делают, баб своих держат в черном теле. нет,* говорит гертруда, *в египте мне делать нечего.* как будто кто-то зовет ее в египет. гертруда вышла замуж за дипработника, прожила с ним два года, а потом он сбежал от нее к какой-то грузинской актрисе. теперь бывший

муж – секретарь посольства на острове мальта, а гертруда тянет учительскую лямку в английской спецшколе и растит сына. ее сын – жора кабанов – изрядная сволочь. на переменах он отлавливает темнокожих кубинцев, хватает за волосы и орет в ухо: *свободу неграм!* иногда заставляет их целовать свою бородавчатую руку. если они отказываются, жора стальной хваткой сдавливает горло несчастной жертвы, пока затравленный кубинец не припадет губами к его руке. по выходным гертруда встречается с майором милиции, оперативным работником. словесные потасовки с другими учителями начинается с вводного предложения: *есть у меня хороший друг, между прочим, майор милиции.* с гертрудой предпочитают не связываться. любимое присловье гертруды: *а сейчас мы начнем избиение младенцев.* гертруда любит говорить в рифму: *с милым рай и в шалаше, если милый атташе.* учеников своих называет тоже в рифму: *вовчик – глупоголовчик, машка – поливашка, леночка – необыкновенночка.*

леночка заканчивает пересказ. *сидись, леночка – необыкновенночка, пять.* леночка невозмутимо отдает дневник гертруде, как будто это не она получила пятерку, а бородастый чарльз диккенс, портрет которого висит на стене английского кабинета. на переменах, до появления гертруды, мальчишки соревнуются – кто доплонет до великого писателя. андюша поляков доплеывает: его слюна почти всегда орошает широкий диккенсовский лоб. плевок сулико слишком слабый, не достает даже до подбородка... гертруда смотрит в журнал и говорит: *а теперь мы начнем избиение младенцев.* переходит на английский: *сулико, ю ар некст. континью.* гертруда терпеть не может сулико. она имеет на это полное право: во время прошлогодного дежурства они с поляковым впихнули апельсиновую корку в замочную скважину английского кабинета, и гертруде пришлось вызывать слесаря. это они с поляковым разбили стеклянную дверцу книжного шкафа, когда играли в индейцев, и сулико неловко метнул швабру, прицелившись в андюшу.

сулико – топленое молоко, подыскивает рифму гертруда и обращается в слух. сулико всегда нервничает, когда его вызывает гертруда. потеет, но хуже потовыделения – свербящий зуд в нижней части живота. в туалет бы сходить, но гертруда его не отпустит, пока он не изопьет чашу ее презрения до самого дна. книжку он не открывал, уроков не готовил. записал несколько фраз на ладони, но теперь он боится взглянуть, что там написано. сулико открывает рот: *ит воз ин зэ морнинг.* гертруда поправляет его: *ит воз найт тайм.* *йес,* соглашается он, *ит воз найт, энд зэ боат свим, свэм.* гертруда повышает голос: *ю дьид нот ду ё хоум-ворк, дьид ю? – ай дьид, гертруда георгиевна, ай дьид, бессовестно лжет сулико. ол райт, сулико, зэй сэйлд... континью.* сулико делает над собой усилие. в туалет сильно хочется... только бы не в штаны. *зэй сэйлд... зэ воз вотар энд винд эвривер... бат афтер зэт зэ боут* (сулико жестикулирует, изображая взрыв), *зэ боут, зэ боут брэйк броук, энд эвриван фол инту зэ вотер, энд зэн хи свим, энд, энд зэ старшина нэймд зимода гивд хиз хенд ту леонид ильич брежнев энд крайд аут «ар ю...»* (тут сулико показал жестами, что оглох) *«кэн ю хиар ми? гив ми ё хэнд!» хи крайд аут, бекоз, ин зэ во-тэр, зэ старшина зимода, хи дид нот си хиз погоненс... – вот из погоненс? хмурится гер-труда. погоненс ар фор солджерз.* сулико касается руками плеч, показывая, где у солдат и офицеров нашиты погоны. *давай дневник, зимода.* гертруда выставляет жирную тройку с минусом. расписывается и швыряет дневник в сулико. дневник пролетает мимо, падает на парту, соскальзывает на пол. сулико поднимает дневник и садится. *ху из некст?* гертруда обводит хищным взглядом группу английского языка. сулико поднимает руку. *чего тебе? злится она. гертруда георгиевна,* заискивающе просит сулико, *отпустите меня, пожалуйста, в туалет.* гертруда отвечает (теперь она – владычица его судьбы): *в приличном обществе, сулико – топленое молоко, туалеты называют уборными... ну, иди, олух царя небесного.* он выбегает из английского кабинета. андюшин плевок сполз

с диккенсовского лба на нос, как будто великий писатель сам себе вылизал нос. сулико бежит по коридору, врывается в туалет, застывает перед писсуаром. желтая струйка с брызгами ударяет в фарфоровое дуло. сулико дышит глубоко и свободно.

12. макулатура

по вечерам соловейчиков репетирует с детьми в школьном театре. утром, когда есть время, готовит школяров к очередному утренику или проводит политинформацию. детям нравится соловейчиков. от него не пахнет школой, не исходит тяжелый запах унылой затхлости, который с головой выдает любого школьного учителя, где бы он ни появился. нет в руководителе школьного театра сутулой преподавательской покорности, он не заезжен жизнью, как другие взрослые. соловейчиков заглядывает детям в глаза и бьет на доверие. в его расторопной фигурке есть что-то кукольное. соловейчиков взмахивает рукой и ногой притоптывает, как будто его дергают за ниточку. он верит, что работает на благо родины. *дети – главное достояние нашего отечества*, распинается он перед верой николаевной, склонив голову набок.

он вбегает в классную комнату с ворохом газет, раскладывает их на столе, улыбается липким ртом. соловейчиков никогда не скажет напрямую, что такая-то страна – агрессор, а другая борется за светлое будущее. для него газетные штампы – незатейливая, скучная материя, не более чем безвкусица. надо сделать так, чтобы дети сами вникли в дело. соловейчиков исподволь наставляет юношество. *скажите, милые создания*, говорит он и смотрит в глаза искательно, *а что бы вы сделали, если бы в нашу с вами страну вторглась вражеская армия?* дети отвечают: *мы бы пошли воевать за нашу страну*. соловейчиков кивает, улыбается липко. *скажите, милые создания, как бы вы поступили, если бы они пришли надругаться над вашими матерями и сестрами?* школяры отвечают бесстрашно: *мы еще посмотрим, кто над кем надругается*. соловьев раскрывает газету и рассказывает о непроходимых джунглях, невиданных растениях, о борьбе сальвадорских повстанцев против американской военщины. он прохаживается возле классной доски. пританцовывает, как приказчик с французским зачесом в последнем акте пьесы островского. *милые создания, должны ли мы оставаться в стороне от завоеваний социализма?*

соловейчиков – рыба, которая не знает о своей холодной крови, рыба, подплывающая поближе к проруби – вдохнуть слоистого воздуха, проглотить наживку и затрепыхаться на ржавом крючке. другие, пожалуй, скажут, какая же это рыба, это – пингвин, с ударением на первом слоге, и тело у него рыхлое, заплывшее молодым жиром. пингвин, который прячет свое тельце в утесах, а в небе, затянутом тучами, летает носатая птица, обещая неотвратимую бурю. во время политинформации влюбленный соловейчиков поглядывает на леночку. леночка – хрупкое, слишком юное существо. соловейчиков терпеливо ждет своего часа. он никуда не торопится.

сулико теряет голову от любви к леночке. она – белочка, грызущая орешки с золотой скорлупкой. если это не любовь, то что тогда любовь? ее взгляд выжимает влагу из облака, округляет углы домов, удлиняет шаги, убыстряет сердечный пульс, умывает росой ревности. леночка, зубки твои – как овечье стадо на склоне холма, подбородок янтарный. любовь – барашек, который лежит на земле связанный, а над барашком стоит колыбель с младенцем, над колыбелью склонилась мать, но черты ее размыты, и ребенок корявенький, ножками подпрыгивает. лишь барашек прекрасен, готовый к закланию.

это из-за леночки сулико повздорил с арсением. один сказал что-то, не обидное даже. другой толкнул его, и тогда первый набросился на обидчика. их растащили учителя, но подоспели мальчики. бывают такие прилизанные, масляногубые. в грудном кармане пиджака вьетнамская расческа. ни пылинки перхотной в гладком проборе, ни пятнышка на рукавах и брючинах. обходительны, улыбчивы. улыбка масляная, поднеси спичку – загорится гниlostным огоньком. исполнительные мальчики, такие всегда учатся на «четверки». подскальзывают, змееныши, к арсению и сулико. начинают подзуживать: *он тебя обидел, а ты – его, нельзя же так просто разойтись, как будто ничего не было, ведь было же, было, и есть, и останется. лучше после уроков за школой потолкуйте. разберитесь по-мужски, вы ведь не тряпки, не бабы какие-нибудь.* стервятники улыбаются в предвкушении. деваться некуда, они с арсением сойдутся за школой, чтобы драться до крови. мальчики с масляными губами, виноградинами вместо глаз. когда сулико их спрашивает, где работают их отцы, они выдерживают паузу, отвечают нехотя, говорят в сторону: *мой папа – начальник цеха.* иногда после занятий приходят за ними начальники цехов. один – в синем демисезонном плаще, и другой – тоже в синем плаще, и третий – в синем. они похожи друг на друга. глаза внимательные, но лица непроницаемые, даже, пожалуй, немного размытые, как на неудачной фотографии.

однажды их класс отпустили с первого урока собирать макулатуру. сулико ходил по окрестным домам, прислушивался к будничному безмолвию пустых квартир. иногда приоткрывалась дверь, через щелочку спрашивали: *зачем пришел или что нужно.* сулико говорил: *собираю макулатуру для школы.* в ответ гунявили: *нет у нас ничего.* не все захлопывались двери. одна отворилась, на пороге стояла старушка в очках: *дети-то мои на работе, подожди здесь, посмотрю на кухне.* принесла связки «известий» и «советского спорта». сулико прижал к себе газетную тяжесть. он сказал старухе *спасибо*, а та в ответ прошамкала губами *храни тя христос.* на лестнице сулико встретил андюшу полякова. они вместе спустились на третий этаж, позвонили в первую дверь справа. никто не отозвался, хотя сулико явно различал тихий шорох шагов. он позвонил еще раз. открыли на цепочку. человек средних лет, с выражением равнодушия на сером лице, глядел на сулико: *что вы тут делаете?* они с андюшей ответили. тогда он крикнул в глубь квартиры: *vlадимир иваныч, тут пацаны за макулатурой пришли. может, есть старые газеты под раковинной?* говорящий приоткрыл дверь. звякнула цепочка, свободно повиснув. сулико увидел за его спиной пустую комнату: ничего в ней не было, кроме двух стульев. на одном работал новенький магнитофон, медленно, бесшумно крутились небольшие, как бы игрушечные бобины. на спинке другого стула висел синий плащ.

13. поединок

они подталкивают его, как застенчивого юношу навстречу девушке. пепельный снег вылизан тусклым фонарным светом. жители окрестных домов возвращаются после рабочего дня. они сумеречно смотрят перед собой. мальчики с аккуратными проборами, в синих пиджачках, с вьетнамскими расческами в правом нагрудном кармане, в чистеньких, отутюженных брючках, масляногубые секунданты, выталкивают его бережно и брезгливо, как животное, обреченное в жертву, козлика или барашка. перхотный сулико – чучело гороховое: грязноватые, нестриженные вихры, масляное пятно на пиджачном рукаве, измятые брюки. расческа сломана и потеряна. мальчики встают полукругом. их человек десять, они становятся за спиной сулико, лицом к арсению. хором кричат *начинайте.* враги сходятся нерешительно. арсений перемещается справа налево, потом в другую сторону. подпрыгивает по-боксерски. держит кулаки возле лица. мощные кулаки – два маленьких солнца, затмевающих тусклое фонарное сияние.

сулико отступает, но отступать некуда; позади – масляногубые сомкнулись плотно. сулико – насекомое, скользящее по влажным стенкам стакана – вниз, ко дну. между арсением и сулико – не больше метра. сулико согласен быть жертвой, упасть на снег с расквашенным носом, вымалывать пощадку, лишь бы скорей закончился поединок. арсений занимается спортом. дома у него висит боксерская груша. по вечерам он погружает кулаки в кожаную мякоть. одутловатая груша проглатывает удары. арсений атакует бодро, но по лицу не бьет, ударяет в плечо или в грудь. тихая, тупая боль проходит быстро. сулико суетливо мечется перед арсением, не попадая в такт его замедленному львиному танцу. вокруг разливается промозглый сумрак. глазунья блеклого света под соседним фонарным столбом. сулико слышит, как перешептываются масляногубые. он чувствует, как ужимаются их губы в ухмылке. понятно, кто кого отметелит. *он* – кивают масляногубые на арсения – *его прихлопнет, как таракана*. арсений держит дистанцию. его кулаки выстреливают неохотно, бьют несильно. время длится бесконечно-растянутой жвачкой. для арсения дуэль утомительна: он жалеет сулико, но больше всего он жалеет себя: хлипкий противник – это позор, пощечина бойцовой чести. лучше боксировать против груши. лень охватывает арсения. масляногубые секунданты хотят, чтобы дрались по правилам, но какие тут правила, если один – насекомое, а другой брезгует раздавить его, закончить схватку последним ударом. сулико понимает, что мальчики не разойдутся, пока арсений не повалит его в снег. они хотят его крови. арсений похож на льва, который задрал буйвола и насытился, и теперь расхаживает неяростно и вальяжно – до новой голодной крови. арсений бьет сулико кулаком в грудь, бьет вполсилы: *принимай удар, сулико*, но удар даже, а так, легкое касание. ближе не подходит, только хуже сделаешь, ты мне не враг, и я тебе не волк. сулико – насекомое носатое, тонкие пальчики, рука в кулачок не сжимается. масляногубые подталкивают его: *не сбежишь никуда, не пытайся даже*. вдвоем они продолжают резиновый танец. арсений держит кулаки возле лица, поочередно выталкивает один, потом другой – два поршня, готовые изничтожить противника. сулико подпрыгивает, улит, старается избежать ударов. кулаки арсения достигают его. хлипенький сулико сучит руками, как бегун на длинной дистанции. он выбрасывает кулачки, как воланчики, буравит тонкими руками шершавый воздух, но не может коснуться могучего тела своего врага. когда удары арсения учащаются, сулико кажется, что арсений собирается сломать его, как фанерную доску. они кружатся в замедленном танце: один соблюдает ритм прыжков и ударов, а другой сбивается, с трудом удерживает равновесие... *не жилец он, не жилец*, говорят за спиной масляногубые. сулико распаляется от долгого танца: *нет, пока ещё жилец, сволочи, жилец все-таки*. сулико стоит спиной к реке, лицом к школе. на мгновение он задирает голову и видит свет на третьем этаже, в кабинете истории. возле окна стоят девочки из их класса и показывают на сулико и на арсения. они остались на репетицию, но соловейчиков опаздывает, и теперь девочки переговариваются, разглядывают дуэлянтов, смеются. сулико догадывается, что это они над ним смеются, над его беспомощностью, тоненькими руками, дурацкой физиономией. сулико глубоко жалеет себя, в сердце оплакивает свое одиночество и свою еще не пролитую кровь. он содрогается в непосильном танце, его бьет озноб упорства и малодушия. посыпал снег, сначала медленно, неохотно, мелкой шероховатой крупкой. сулико кажется, что он спит и видит замедленный сон, будто он убегает от арсения, но не может оторваться от него, а бегущий за ним арсений не способен сократить расстояние. так носятся они по кругу, не умаляя дистанции, и несближение тягостно для сулико – пусть один догонит другого или отстанет насовсем. траектория воображаемого бега двух неизвестных солдат, гладиаторов на белой арене. заснежило густо и ласково. голова обсыпана хлопьями, снег быстро тает, только торжественный запах снега остается в ноздрах. они продолжают танец. бойцовская стойка арсения и козлиные подсакивания сулико. масляногубые недовольны: *что же вы по-пионерски*

деретесь, на расстоянии, чайники оба. ещё они говорят: *сулико – ссыкло носатое.* сулико больше ничего не боится. он знает, что на него смотрит леночка. он пытается подражать арсению, тоже подносит кулачки к лицу и защищается. вспоминает, как отец учил его драться: он вставал перед сулико в боксерскую стойку и говорил: *учись давать сдачи, не будь тряпкой. бей меня в живот.* сулико пятился, пока было куда отступать. отец прижимал его к шифоньеру *что ты телишься? давай, бей кулаком.* сулико протягивал ему руку, но отец отскакивал от сулико, больно ударял в грудь. *вот как надо, смотри, смотри,* хохотал отец...

сулико видит, как наливаются кровью глаза арсения, как исчезает выражение мягкой растерянности. масляногубые потирают руки. сейчас начнется. кровью окропится снег. арсений усиливает удары. сулико содрогается. движенья арсения упруги, удары ложатся уверенно. он похож на пианиста-виртуоза, пальцы которого стремительно заласкивают клавиши. сулико скачет, пытаясь увернуться от ударов. арсений медленно приближается. сулико вглядывается в его лицо: арсений ослеп, он больше не видит сулико. арсений и правда теряет зрительную четкость, различает только хилое, мятущееся пятно. от безжалостного удара сулико сгибается, как складной перочинный ножик. масляногубые кричат: *добивай, арсюша.* арсений ждет, когда сулико распрямится. пошатываясь, сулико выпрямляется. тогда арсений наносит ему сокрушительный удар в поддых. сулико оседает в снег. он успевает взглянуть наверх, туда, где горел свет в кабинете истории, но там темно. со стороны школы двое взрослых спешат в их сторону. школьная уборщица в валенках и телогрейке, голова повязана серым платком, который на фонарном свете кажется фиолетовым. вторым на выручку торопится соловейчиков. масляногубые мальчишки разбегаются. арсений тоже куда-то исчезает. соловейчиков помогает сулико подняться и отводит его обратно в школу.

14. репетиция

на репетициях немой сцены сулико стоит рядом с леночкой. она сидит на стуле. сулико наклоняется и вдыхает запах ее волос, будто он – бездомный пес, уткнувшийся носом в теплую дверь гастронома. леночкины волосы пахнут промерзлой улицей на окраине города, скользкой, неровной дорожкой, проложенной сквозь снежные завалы. пешеходы идут медленно, неуверенно ступая друг за другом, боясь оступиться. ее волосы пахнут красной пресней и кутузовским, и пельменной на улице хмельницкого: отстоишь очередь, возьмешь порцию, раскроешь ладони над паром общепитовской тарелки, согреешься дыханием других людей, сидящих к тебе спиной и боком. воткнешь, наконец, вилку без одного зубчика в недоваренное тесто с плевочком свинины внутри, поднесешь к теплomu рту и проглотишь эту гадость, облепленную сметаной. волосы леночки пахнут школьной сценой, расторопным соловейчиковым (у него тоже есть особый запах – смесь цедры и бесстыдства), подмостками, костюмерной (она же – гримерная), в которой девочки переодеваются в пышные платья с многослойными юбками и становятся похожими на воздушное пирожное «бее».

соловейчиков специально выбрал леночку на роль марьи антоновны. он говорит леночке: *ты – настоящее чудо. даже если ты исполнишь со сцены пионерскую речевку, тот, кто тебя слышит и видит, подумает, что ты декламируешь «парус» лермонтова.* соловейчиков влюблен в леночку. по ночам руководитель театра видит один и тот же сон: повзрослевшая леночка, обладательница точеных плеч и нежной, лебединой шеи, ластится к нему. иногда он просыпается, подходит к зеркалу, разглядывает свое лицо и туловище – и не находит изъяна.

в костюмерной девочки прихорашиваются. девочек девять или десять. снеткина в роли городничихи; унтер-офицерскую вдову играет чардынцева, в чепчике с ленточками; до-
линина – слесарша в сером шерстяном платке. роли бобчинского и добчинского доста-
лись тоже девочкам, блиновой и палладиной. на репетициях они сощуривают подсле-
поватые глазки, говорят скороговоркой. палладина немного шепелявит. в финальной
сцене блинова и палладина смотрят одна на другую, растопырив руки, как будто каждая
рассматривает самое себя и не может насмотреться, или как будто хочет поймать дру-
гую себя и никогда больше не отпускать. остальные девочки исполняют роли помещиц,
бессловесные роли. от них требуется кивать головой, пожимать плечами, деланно ух-
мыляться в ответ на бахвальство городничего. соловейчиков повторяет расхожий афо-
ризм, направив указательный палец в сторону своего сердца: *не роль красит человека, а человек – роль*. бессловесным девочкам, говорит он, надо нести свое молчание с таким
же достоинством, как если бы каждая из них играла орлеанскую деву, взшедшую на
костер. девочки выходят из костюмерной (она же – гримерная) свежие и нарядные.
когда сулико глядит на переодевшихся девочек, он вспоминает поэму пушкина, строки
о ветреной венере, которая спешит в маскарад. девочки – ветреницы, они меняют об-
личья, а внутри они все одинаковые, язычки у них змеиные. леночка, она – другая, она
как бабочка, вечно летящая.

вслед за девочками переодеваются мальчики. панталоны, перешитые из старых отцов-
ских брюк, лоснящиеся пиджачки на блестящих пуговицах. их фигуры преобразуются,
они становятся похожими на своих отцов. хрупкий сулико нарядился в старый офи-
церский китель без погон, в котором запросто поместились бы три тщедушных тельца.
соловейчиков сперва хотел дать ему роль купчишки абдулина, но передумал. из него
сделали помещика, который стоит, раскрыв рот, в немой сцене. руководитель театра по-
хлопал его по плечу, повторил коронное изречение: мол, не роль красит человека, и
вообще, главное в театре – жест, а не слово. от сулико требуется выйти вместе со всеми
в финале, издать некий звук, выражающий изумление, когда на сцене появляется поли-
цейский чин и объявляет о приезде чиновника из столицы. после нескольких репетиций
немой сцены соловейчиков сказал сулико суховатым голосом: *приходи на генеральную,*
а сейчас в твоём присутствии необходимости нет. сулико тем не менее оставался на
репетициях. когда соловейчиков понял, что от сулико не отвязаться, он принял собачью
преданность на свой счет и назначил его осветителем, а заодно и рабочим сцены. сулико
расставлял стулья возле круглого столика, наводил на сцену жирный луч единствен-
ного прожектора. когда соловейчиков посылал его за водой для актеров, сулико при-
носил плеск питьевой воды в графине, как драгоценный, льющийся подарок. однажды
он утащил из дома немецкую фаянсовую вазу, на которой утирал слезы несчастный па-
стушок, а на другой стороне веселая пастушка играла на свирели. сулико купил букет
тюльпанов, потратив деньги, выданные на школьные фотографии. поставил тюльпаны
в вазу, принес два стакана и настольное зеркальце, в которое поглядывают время от
времени анна андреевна и марья антоновна. сулико нечаянно взглянул в зеркальце и
увидел мышиного цвета глазки, маленький рот клювиком, острый подбородок и огром-
ный нос, похожий на обломок скалы. сулико пожалел свое глупое отражение. он схватил
тюльпаны и выбросил их в мусорную корзину. сверху присыпал бумажным дрызгом. на
репетиции леночка не заметила немецкую вазу с плачущим пастушком. как будто так и
должно было быть.

глаза андюши полякова похожи на двух зверьков. андюша играет развязно, как ис-
тинный хлестаков. целебное балагурство андюши. он летает по сцене, фиглярствуя на-
пропалу – вылитый подмастерье дьявола. андюша отирается возле марьи антоновны

и ее мамы для того, чтобы сорвать поцелуй с губ леночки, когда околпаченный городничий мямлит себе под нос *(не сжевывай слова, кричит соловейчиков городничему): благослови вас бог, а я не виноват*. сулико пристально следит за леночкиной игрой в той сцене, где она остается наедине с андюшей. сулико восхищается чудом разговора, доводящего до поцелуя, до внезапных слов леночки, когда губы хлестакова как будто обжигают ее плечо, и она быстро встает со стула и тихо произносит: *вы почитаете меня за такую провинциалку*. андюша удерживает ее и клянется в любви. любимая сцена сулико, почти музыкальная: они садятся на стулья, он придвигается к леночке, она отставляет стул. андюша настойчиво приближался к ней, к ее открытым плечам, к ленивой шее. леночка жеманится. хлестаков воркует: *осмелюсь ли быть так счастлив, чтобы предложить вам стул? но нет, вам должно не стул, а трон*. сулико думает, что леночке и вправду не помешал бы трон. андюша придвигает свой стул поближе: *как бы я желал, сударыня, быть вашим платочком, чтобы обнимать вашу лилейную шейку*. сулико думает, что он сам не против оказаться этим самым платочком. после нескольких репетиций он чувствует, как проникает слово в унылую хлябь его сознания – ее, леночкино слово. он верит леночке, как если бы она говорила то, что думала на самом деле. андюша снова придвигает свой стул, а она, отдаляясь, лепечет: *я не понимаю любовь... я никогда и не знала, что за любовь*. забывая себя, сулико следит за леночкиными попытками отсрочить объяснение, когда она – лилейная леночка – указывает на невидимое окно и произносит растерянно: *что это там как будто бы полетело? сорока или какая другая птица?* тогда хлестаков целует ее в плечо, и она в негодовании вспрыгивает, ошпаренная внезапной обидой: *нет, это уже слишком... наглость такая!*

мать сулико говорит о любви: *когда один полюбит другого, летят стрелы огненные, и вонзаются в сердце, и уже нельзя выжить без другого человека, которого любишь*. это – чужие слова. мать на самом деле думает иначе. любовь – это слепота и тяга, и ничего больше. кто может объяснить сулико, почему птичка леночка приносит такие мучения? родная леночка, это ради нее он простаивает часами на репетициях, потом бежит домой сквозь обметанный морозом воздух. когда он спускается в глубь метрополитена, сладким видением по шербопытной платформе навстречу сулико идет леночка. она не узнает сулико и проходит мимо, как будто вместо него кто-то другой поселился в промозглом холоде его тела. леночка направляется к первому вагону поезда, который уже прозвучал в глубине туннеля.

15. август

в столовой штукатурка отслаивается, осыпается на дощатый, подгнивший пол. в окна вползает серый, затертый воздух. блеклые стены столовой повторяют окраску сутулого неба, повисшего над лагерем. солнце почти не показывается. предосенняя хмарь разливается густо. в столовой одна женщина – приземистая, худая – варит супы и каши; другая, широкоплечая, грудастая разливайщица, обходит столы с огромной кастрюлей в вытянутых руках. половник погружен в питательную жижу. маслянистый суп плещется в глубоких тарелках с мелким цветочным узором, сдавленным в спираль. приближаясь к столу, широкоплечая покрикивает: *а ну, жмурики, прячьте руки, не то обожгу*. положено предупреждать детей, иначе, считает начальство, ребенок ошпарится, нечаянно подставив руку под наклоненный половник. детские руки вновь появляются на столе по команде вожатых *возьмите ложки, дуйте три раза.. вот так...* вожатые громко выпускают воздушные струи, подражая остужающему дыханию. дети привыкли к голосу разливайщицы, иные специально не убирают руки, ждут, улыбаясь тускло, когда она

протрубит: *что лапами-то разлазился? нерусский, что ли?* когда тарелки наполняются супом, она раздаст им ломтики черного хлеба, по одному на ребенка. запах свежего ржаного хлеба, втянутый зрячими ноздрями. дети отщипывают кусочки. другая работница, повариха, почти всегда молчит. когда она все же открывает рот, сулико кажется, что за преградой гнилых зубов у нее ничего нет – сплошная пустота.

летом мать направили в лагерь санаторного типа. она взяла сулико с собой. первую ночь он провел в бараке с другими детьми. утром, после завтрака (рисовая каша с постным маслом, стакан какао) прибежал к двухэтажному корпусу для медперсонала и заскулил, запросился домой. мать сказала, что домой он не поедет – останется здесь до конца смены. запинаясь, он объяснил: ему страшно спать вместе с ними. он боится, что какой-нибудь мальчик перепутает его кровать со своей, ляжет рядом с ним, прикоснется пальцами к его скулам, губам, подбородку. он боится этих пальцев, которые, как осторожные черви, тянутся к телам и предметам. его пугает детская бессловесность, медлительность, бесстрастность. зловещая, кажется ему, тишина исходит от них. на стене в ординаторской висит картина, которая называется «крик»: человечек схватился руками за голову (голова похожа на электрическую лампочку, ноздри вырванные) и раскрыл овальный рот. картину надо переименовать «безмолвием», потому что на самом-то деле человечек не кричит: звериный рот завален немой отчаянием. сулико уверен, что его собственный рот тоже превратится в лезущий к вырванным ноздрям овальчик, если он проведет еще одну ночь в бараке.

мать договорилась с медсестрами. ночевать он будет в комнате младшего медперсонала. *утром после пробудки – марш в свой отряд.* медсестры не стеснялись сулико, раздевались до лифчиков. иногда командовали весело: *слышь, парень, отвернись, рано еще тебе на красоту пялиться.* в их комнате стоял старенький телевизор. по вечерам они все вместе смотрели художественные фильмы. он прилипал взглядом к экрану, запоминал жесты и слова актеров. медсестры сквернословили. густая, отборная брань казалась сладкой на слух. когда в комнату входила мать, они замолкали. мать вежливо здоровалась со всеми, внимательно смотрела на медсестер и на сулико, потом уходила. когда она закрывала дверь, дышалось легче. он сравнивал мать с медсестрами и не мог понять, почему именно она родила его, а не другая. они с матерью – чужие, думал сулико, как две льдины в ледостав – сначала соприкасаются ломками краями, потом отталкиваются и не встречаются больше, пока не растают. он видел, с какой птичьей чуткостью мать осматривала остальных детей: они ведь никто для нее, они даже не видят ее, а она наклоняет голову над ребенком, улыбается незрячему, берет его за руку, спрашивает, хорошо ли, глубоко ли он спит, сытно ли кормят в столовой. чужого берет за руку, чужому улыбается. по ночам, слушая сладкие посапывания медсестер, он жалел себя. он бы не возражал, если бы его отдали насовсем одной из этих женщин, чьи руки пахли стиральным порошком и люголем.

на утреннюю линейку каждый отряд приходил отдельно. первым в белой рубашке шествовал вожатый с лицом, похожим на разползающийся блин. за вожатым следовал староста отряда, самый зоркий, т.е. не совсем слепой. он прилипал жадным взглядом к белому пятну рубашки вожатого. вслед за старостой шли другие, ощупывая кончиками легких бамбуковых палочек лагерьный гравий. на линейке стояли вразнобой, одни лицом к флагу, другие боком. однажды сулико спросил старосту, *что он видит*, когда поднимают флаг. ярик (так звали старосту) ответил: *я вижу красное пятнышко, оно рывками лезет вверх, кумачовая клякса накладывается на небесную серость, на мутную зелень листьев.* ярик боялся за флаг, как за человека, который может сорваться и разбиться

об землю, об зеленую, начинающую грустнеть траву, сбивчиво растущую сквозь гравий. красное пятно зависало в воздухе, из которого высосан солнечный желток.

после завтрака они занимались гимнастикой для глаз. ярик рассказывал сулико: *кажется, что меня заворачивают в серое покрывало и запикивают в чулан или на антресоли.* каждый держал правую ладонь перед своим лицом, медленно отводил ладонь от лица, а потом приближал ее к глазам. отводил и приближал. терпеливые актеры пластилинового театра. такая получалась игра – рассмотри ладонь обнуленным взглядом. приближение сгустка собственной теплоты к лицу, а потом охлаждение воздуха в том месте, где несуществующий взгляд должен был увидеть стылую облатку воздуха. со стороны ритуал казался молитвой, вознесенной к облакам и небесной тусклости. сперва сулико смотрел на детей с ужасом, потом вслед за ними начал отдалять-приближать ладонь. приближенная ладонь сужала поле зрения, оставляя только линию судьбы и вмятинки на мягкой коже. он закрыл глаза и проделал то же самое упражнение. теперь он чувствовал, что перед ним – один безбрежный камень-антрацит. так он долго сидел, с закрытыми глазами. когда, наконец, он открыл глаза, увидел – будто впервые – свою руку, бледную зелень листьев, серое небо. он ощутил внезапную легкость освобождения: исчезли скомканные мысли; истощилась ревность: леночкина тень больше не напивалась крови из его сердца. память стала почти незрячей: сулико забыл свирепое лицо леночкиной мамы, которая обещала выцарапать соловейчикову глаза; больше не помнил отечную физиономию ее отца после больницы. сулико было все равно, в какую школу перевели прекрасную леночку. один пританцовывающий соловейчиков все еще гнезвился в полуослепшей памяти. он прославился на всю страну: газеты печатали письма людей, которые жаждали его крови (*таких как он надо ставить к стенке или топить как щенят*). все кому не лень перемывали косточки соловейчикову, даже слепые спрашивали, кто он такой, но теперь это не имело никакого значения: когда его осудят и поведут к проруби, сулико не пойдет за всеми, не станет подталкивать несчастного к черной воде.

Мэдисон, 2015

Елена ГЕНЕРОЗОВА

тот, чья кровь теплей, чем у трав
Вася Бородин

Приведет на ночлег
Бравый бог огнестрельный дневной амур
Ляг и глаза закрой
Разница температур
Не для тебя всё еще человек
Скоро станешь травой

Те что летят
Где-то (пока не здесь)
Эти секунды будущего хранят
Ссылку на внешний вид
Как он выйдет весь
Точное знание полный видеоряд
Как он будет убит

Там на холме
Встретятся наконец
Створки времен смыкая здесь и сейчас
Не потревожив осок но примяв чабрец
К холоду привыкая как в первый раз
К долгой зиме.

Становиться водой...
Тур Ульвен

Смотри
Как трудно говорить, о том, что там
Качается внутри
Где город взят
Как рыбы слов к враждебным берегам
Послушные скользят

Елена Генерозова родилась в Новосибирске, выросла в поселке Северный на границе Московской и Тверской областей. Училась в художественной школе, закончила биолого-химический факультет МГПИ им. Ленина. Автор книги стихов «Австралия» (Воймега, 2012). Поэтические подборки и критические статьи выходили в журналах «Новый Берег», «Новый Мир», «Знания – Сила», различных бумажных антологиях и сетевых изданиях. Живет в Москве.

И русло из другого рукава
Густая речь горячий вязкий клей
Но если надо пой
Почувствуешь как темные слова
Становятся светлей
Становятся водой

Смотри
Как пена дней с собой несёт
И щепки и плевки
Ее движенья медленный полёт
Ее холмы легки
Всем радугам очищенной земли
Ее ползенья труд
Но время проседает, стерегут
Огниво подготовили и трут
Где улья развели

Смотри
Как встали все в такую рань
Не потревожив пчёл
Как кровью бурой пропиталась ткань
И мелкий дождь прошёл
Забыли и давно не на войне
Среди полей
Бедой
Засеянных довольны мы вполне
И пятна на руках и полотне
Становятся
Становятся светлей
Становятся водой.

Посреди нашей привычной тьмы
Если светить в упор
То такая жесть
Не свети
Сами мы
Будем, понятно, ночной дозор
Кто ты есть

Расскажи как ветреные собой
Кроны гудели пока оттуда шагал
И бродячий цирк костёр на той стороне
Жег над черной водой
Ярок но мал
Только не
Не говори о сне

Пересчитай нам всех овец и слонов
Перескажи про ночной полёт
Ври про всё тем кому не до сна
Знаем давно слабое ты звено
Гаснет фонарь твой твой хронометр врёт
А сверять часы не те сейчас времена

Говорят что там откуда ты шёл
С тенью наедине в ветреной тишине
Не долетают звуки не метит зрак
Там такой прикол
Все там спят без задних и в этом самом во сне
Видят то чего нам не видно чувак

Ни костра в нём ни старого шапито
Только то что будет безразмерная жуть
Где какая должна случится беда
Это что
Главное не заснуть
Только жить только не навсегда.

К Сестию

Действительность попробуй заслони,
Но молодые листья – им под силу.
Всем странностям и чудесам сродни –
Вскипевшей зеленью размыть черты
Слепых дворов, неровных стен унылых
С древесной высоты.

Смотри – весна. Что там тебе нашепчет
Гораций на бегу – не верь, всё смех.
Умрешь, но не сейчас, фигура речи –
Вот что такое смерть, и сад в цвету,
И майский жук раскрылся, как орех,
Проросший на лету.

Сапфическое

Не ломай, притворщик, себя и карму.
Разве я не знаю, что ты, красавец,
Мой короткий стан и рябую рожу
На дух не сносишь?

Мне тебя прочесть, как простую книгу.
Всё уже случилось со мною в жизни:
Полуночный жар, горловое пенье –
Вам и не снилось.

Ничего здесь нового не изведать,
Больше, меньше ненависти ли, любви –
Так случилось, что масса вещей на свете
Не доставляет.

Но сегодня – чудо смотреть и видеть!
Красота твоя, что граненый кубок,
Преломляя свет при любом движеньи,
Веселит, печалит.

Веселит – потому что отрада сердцу.
Потому печалит, что мимолетна:
Не успеешь моргнуть, а ОН незаметно –
Глядь! – и подкрался.

Кто юнец сегодня назавтра старец,
И, когда пойдешь по моей дорожке,
Не ищи цветов, не вернется эхо
В поле утраты.

Два вольных перевода из У.Х. Одена.

1.

Про то, как жил, узнаете из книг:
Как испарилась молодость, как зол
Был на отца, к чему привык
За годы странствий, и куда пришел,

Влюбленный шут, стервец, хулиганьё
(Любой ценой, но двигаться вперед),
Ждал весточки – той самой – от неё –
Той самой, что не ведала невзгод.

И внутреннее зрение само
Меняло цвет, и звук, и времена:
Он видел, замерев в конце строки,

Что в комнате, закрытой на замки,
Она, вздохнув, садится у окна,
Чтоб написать заветное письмо.

2. Рембо

Ночёвки, запах шпал, дерьмо небес.
Ни спутники, ни темнота, ни голод,
Но ложь риториков – вымерзшая взвесь
Рванула кран: поэта создал холод.

За выпивку платил другой скорбец.
Надраться в хлам, не брезгуя нимало,
Кладя привычным глупостям конец.
Пока жила, бессилье отступало –

Поэзия, болезнь! – из внешних сфер,
Как шум, в ушах звучащий, как лавина,
Всем адом детства жаждущая быть,

Гналась за ним сквозь Африку. Остыть.
Есть новый облик – сын и инженер,
Приемлемый для лживого мужчины.

Дальше, дальше,
Вглубь коридоров заброшенного завода,
По пути истребляя
Толпы брызжущих кислотой, огнеупорных монстров,
Чтобы расширить наш арсенал и подняться на уровень выше,
Где добыть перевязочных средств и немного добра
После очередной передышки.

Дальше, дальше,
По заросшей дороге к ручью, вниз по реке в лодке,
Где у самой воды костер красные вьет рога, коптящие ветви ивы,
Собирает вокруг людей: кто-то один перебирает струны гитары,
А потом говорит что-то важное – что? – с середины реки не слышно...

Дальше, дальше,
Напрямик, через железнодорожную насыпь,
Мимо оставленных ферм и полей с цветущим люпином,
К самому новому из всех местных строений,
Дверь, обитую шифером, потянуть за щеколду,
Выпустив стадо мух и сладкий запах выстоявшегося тлена,
Сообразить, как во сне,
Что мы совсем опоздали.

ОТТУДА И ТУДА

Рассказ

I.

По этой дороге я не шел почти пятнадцать лет. Выходишь из метро – и в горку по тротуару до самого парка, затем по парку и, наконец, налево. Я все помнил. Помнил очень отчетливо, задышался. В висках стучало. Воля раскололась напополам. Я жаждал как можно скорее дойти и вместе с тем – убежать прочь и никогда не вспоминать об этом месте.

Было уже темно, и все вокруг казалось ненастоящим. Два раза я останавливался и смотрел на свои ладони, сжимая и разжимая пальцы. Да, это я. Тот самый, с которым происходило все то, что происходило. Я зашагал быстрее, почти бежал.

Августейшая луна не спускала с меня глаз. Где-то залаял пес. Жизнь скрывалась поблизости и угадывала мое присутствие, так же как и я – ее.

Раньше в этом парке не было каруселей. Все изменилось.

Я остановился возле небольшого фонтанчика и сделал несколько глотков. Затем набрал в ладонь немного воды и провел по лицу.

Теперь и парк позади. Еще сто шагов, и вот я стою перед входом в тот самый подъезд. Кажется, я считал ступени, этажи и в конце концов набросился на мертвецки белую дверь. Страх пропал. Ни о чем не думая, я принялся стучать – сначала негромко, затем – все сильнее и сильнее. Я замер и прислушался. Слабый голос несколько раз повторил: «иду!». Через минуту раздался грохот поворачивающегося замка. Дверь открылась, и тогда возвратился страх.

Старушка, щуря глаза, уставилась на меня и спросила: «Кто это?»

И вдруг пришло осознание того, чего же я так боялся – увидеть ее настолько изменившейся, настолько старой.

Когда-то один знакомый рассказал мне историю о том, как они с друзьями в третьем классе бросили на раненую крысу огромный камень. И каждый из них знал, что там, под камнем, она мертва, но никто не осмеливался сдвинуть булыжник с места из страха увидеть, насколько крыса изуродована. Ведь мальчики знали: это сделали они.

Пятнадцать лет, на протяжении которых я не звонил и не писал, показались мне этим самым камнем.

– Кто это? – повторила старушка, придерживая одной рукою дверь, другою – дверной косяк.

– Это я, бабушка!

Рафаэль Мовсесян родился в 1987 году в Ереване в семье архитектора-строителя. В 2010 году окончил Московский государственный лингвистический университет (иняз) по двум специальностям – юрист и переводчик, в 2014-м – ВЛК при Литературном институте им. Горького. В 2015 году поступил в аспирантуру Российско-Армянского (Славянского) университета (Ереван) по специальности «Русская литература». Публиковался в журналах «Арион», «Радуга», «Литературная Армения» и др. Победитель Всероссийского поэтического конкурса им. Николая Рубцова (2009), финалист поэтического Гала-турнира «Пушкин в Британии» (Лондон, 2013). Живет в Ереване, работает репетитором. В «Волге» публиковались стихи (2013, №9-10).

Собственный голос показался мне неуклюжим и чужим.

– А, да. Заходи.

Пожилая женщина стала медленно разворачиваться и направилась в сторону гостиной. Много раз проигрывая в голове нашу встречу, я никогда не мог представить такой обыденности в ее голосе, когда она увидит меня.

Каждый шаг давался бабушке с большим трудом – нижняя часть ее тела сильно располнела. Она села на стул возле стола.

– Как ты, Давид? Почему так давно не приходил?

– Бабушка, я не Давид. Я – Тигран!

Она очень плохо слышала, поэтому я повторил еще раз, но громче. Старушка раздраженно причмокнула губами и на мгновение наклонила голову.

– Уф! Не выдумывай. Как ты, Давид?

– Бабушка, я не Давид! Я – Тигран! Твой внук! – я почти кричал и с трудом сдерживался, чтобы голос не сорвался.

– Мой внук?

– Да! Да!

– Как? Мой Тигран?

– Да!

Бабушка повернулась и, направив толстый указательный палец на стену, дрожащим голосом спросила:

– Вот этот вот мой Тигран?

На фотографии мне было пять или шесть лет. Что-то как будто со всей силы ударило меня, и я начал падать в бездонную пропасть, откуда не слышны никакие в мире звуки, кроме одного единственного вопроса – «вот этот вот мой Тигран?».

– Да! Да! Твой Тигран!

2.

Бабушка не слышала вопросов. Она спрашивала сама, а я отвечал. Рассказывал о том, что давно окончил университет и работаю. По выходным хожу в бассейн. Нет, еще не женился. Только прилетел, оставил чемодан у друга и сразу же пришел к ней.

– Как давно я тебя не видела... А знаешь, я сегодня ночью уже умирать собиралась. Мне так плохо было. А тут ты пришел...

– Бабушка, как ты сейчас себя чувствуешь?

– Что?

– Сейчас хорошо себя чувствуешь?

– Да, хорошо... Ты мой шладкий!

Она называла меня так, сколько я помнил себя, непременно используя букву «ш» вместо «с», и при этом бабушка начинала широко улыбаться, наклонялась вперед и нежно опускала свои ладони на мои.

Она говорила, как сильно любит меня, как сильно скучала, как перечитывала письмо, которое я написал ей десять тысяч лет назад и о котором не помнил. Вспоминала случаи из моего детства. А я сидел и мечтал о том, чтобы она обвинила меня – что забыл ее, что облысел, что не женился. Хоть в чем-нибудь. Но из ее уст лилась бесконечная любовь, которая выкручивала суставы, обволакивала горло.

Господи, что происходит? Кто я и кто эта старая женщина, сидящая напротив?

И вот она встает со стула, чтобы принести какие-то мои игрушки и то самое проклятое письмо, которое она перечитывает каждый вечер перед сном. Письмо, в котором у нее есть любимые отрывки.

«Я похоронила папу, маму и пять моих старших братьев и сестер. Я одна теперь осталась». Как же может так оказаться, что человек, которому девяносто лет, когда-то был в семье самым младшим? Как же может так оказаться, что эта старушка с обвисшим лицом и такими грустными глазами когда-то училась ходить, меняла зубы, играла с куклами? Я снова посмотрел на свои ладони и на несколько секунд вышел в коридор, чтобы увидеть себя в зеркале.

– Слава Богу, соседи иногда помогают: в магазин ходят, мусор выносят. А у меня так ноги опухают и болят. И сердцем плохо. Сегодня я уже помирать собиралась, а ты пришел, мой шладкий! А знаешь, я еще поживу! Нет, не хочу умирать! Поживу еще!

Так она несколько раз начинала говорить о том, как ей плохо, и о том, как смерть приближается, но всякий раз заканчивала тем, что «не хочет умирать, еще поживет».

В душевной комнате у меня кружилась голова, хотелось на свежий воздух. Я сказал бабушке, что буду заходить к ней каждый день. Она не отпускала меня, боялась, что или я больше не приду, или она умрет. Умоляла посидеть еще полчаса, и я остался. Та сила, которая неудержимо влекла меня сюда, теперь выталкивала наружу – уйти, уйти. Через двадцать пять минут я сказал, что должен уходить.

3.

Армянский день клонился к полудню и обещал быть очень жарким. Ноги вновь вели меня по заветной дороге из метро. Я внимательно рассматривал облицованные туфом пятиэтажные здания, вглядывался в лица прохожих, думал о пожилой женщине, нетерпеливо ожидавшей меня в крошечной однокомнатной квартире.

В магазине продавец сложил в два больших пакета фрукты, овощи, гречку, макароны, хлеб. Оказавшись на нужном этаже, я поставил продукты на пол и начал стучать. Приблизительно через пять минут, когда стук был уже такой силы, что свою дверь приоткрыл даже сосед, наконец послышался тихий и измученный голос – «иду!».

- Бабушка, в какую поликлинику ты ходишь?
- Я уже давно не была. В восьмую. Тебе зачем?
- Хочу поговорить с твоим врачом.
- Слушай, зачем тебе?
- Хочу забрать тебя с собой в Москву.
- Что?
- Я спрашиваю, хочешь со мной в Москву поехать?
- В Москву? Ну, как ты себе это представляешь? Я тебе буду обузой.
- Ну, прекрати! Я поговорю с врачом, посмотрим, что скажет. Как зовут врача?

Я взял такси. Те пять минут, что мы ехали, водитель без конца рассказывал о своем сыне, который этим летом поступил в университет на бюджетное место. Я кивал и думал о том, насколько изменится моя жизнь, когда мы с бабушкой приземлимся в Шереметьево.

В ожидании лифта я рассеянно оглядывал обшарпанные светло-зеленые стены первого этажа поликлиники. Рядом кто-то говорил по-русски. Сдавшись, я направился к лестницам и, отсчитывая ступеньки, поднялся на пятый этаж.

Врачом оказалась молодая женщина. Когда я, постучав в открытую дверь, вошел в кабинет, она со скучающим видом заполняла какой-то бланк. Я остановился возле высоких белых медицинских весов и, поздоровавшись, представился.

Кажется, доктор обрадовалась внезапной возможности пообщаться с человеком, который не пришел жаловаться на жизнь и здоровье. Она хорошо помнила мою бабушку и сказала, что в последний раз та была у нее около года назад.

– Я хочу увезти ее с собой в Москву. Я пришел, чтобы узнать ваше мнение. Она сможет выдержать переезд или нет?

– Нет-нет, это совершенно точно невозможно. Даже год назад это было бы невозможно. А сейчас она совершенно точно не в лучшем состоянии, чем тогда. Она просто не перенесет переезд – ни на самолете, ни на автобусе. Это будет непосильно для ее организма. Совершенно точно!

– Может быть, можно провести какое-нибудь лечение, после которого...

– Нет. Забудьте об этом.

– Вы уверены?

– Да-да. Совершенно уверена.

4.

Покончив к вечеру с делами, я сел в такси и назвал адрес. И вот снова стою перед входом на мою Голгофу. Я постучал, и через некоторое время мне отворили.

Я нещадно ругал себя за то, что не сдержался и заранее сказал о том, что заберу ее с собой. Как она теперь воспримет то, что ничего не получится? Целый день бабушка лелеяла эту мысль, в считанные секунды связавшую одиночество по рукам и ногам. Я сказал, что доктор настоятельно рекомендовала никуда не уезжать, и, к моему удивлению, сидящая напротив седая старушка спокойно восприняла эту новость. Она быстро сменила тему разговора, а я глядел на нее и все думал, почему на этом лице не отразилась даже капелька сожаления.

Кому *это* было нужнее? Мне, чтобы избавиться от чувства вины, или ей, чтобы избавиться от чувства одиночества? И для кого же из нас на самом деле я хотел это сделать? Мною было выдуманно слово «долг», которое закрасило собою слово «искупление». Ничего не вышло, и я в который раз посмотрел на свои ладони.

– Прости меня! – громко произнес я, перебивая бабушку.

Она замолчала и удивленно уставилась на меня.

– Прости меня! – повторил я и заплакал.

Казалось, этот человек действительно не понимает, за что я извиняюсь.

– Все хорошо, Тигран джан. Все хорошо.

Я не понял, что означало это «все хорошо», но успокоился, а затем закрыл этот короткий диалог на ключ в черную шкатулку, чтобы иногда по ночам приоткрывать на несколько минут крышку и стыдиться себя.

В этот вечер бабушка очень много рассказывала о новостях из газет. В толстых папках она хранила сотни вырезанных статей. Электроэнергия дорожает, в продуктах вредные вещества, на границе стреляют. Всем ее миром были воспоминания, а эти статьи – робкой интуитивной попыткой ворваться в настоящее или хотя бы – зацепиться за его краешек. Я вспомнил, как сам в детстве вырезал картинки из газет и журналов, а потом подумал, что нет никакого «сейчас». Бабушка живет прошлым, я – будущим. На самом деле нас разделяют по меньшей мере тридцать-сорок лет, и каждый из нас разговаривает сам с собой.

Я внимательно смотрел на бабушкины морщины, растрепанные волосы, шевелящиеся губы. Существует ли эта старушка на самом деле? Существует ли то, что в скором времени исчезнет? Я старался запомнить каждое ее слово, каждый жест.

Бабушка попросила меня остаться на ночь, но это было выше моих сил, и тогда я начал сбивчиво врать о каких-то делах и почти выбежал из квартиры, обещая вернуться следующим утром.

5.

Я поставил пакеты с продуктами на пол и начал стучать в дверь. На этот раз бабушка не отвечала особенно долго. Прошло около десяти минут, и я почувствовал, что ладони и кулаки уже болят. За дверью кто-то громко застонал. Я продолжал колотить, и спустя некоторое время из нескольких едва слышимых бабушкиных фраз понял, что она не может встать со стула.

Я попросил соседей позвонить в службу спасения, и через четверть часа помощь подоспела. Я снова и снова кричал бабушке, что скоро через окно в квартиру войдет спасатель.

– Только бы она не испугалась, – повторял я вполголоса самому себе.

Когда открылась дверь и я шагнул вовнутрь, то увидел перед собой пожилую женщину, сидящую на стуле в проходе между гостиной и коридором. Она плакала. От бессилия. Одна ее рука держалась за спинку стула, а другая безвольно лежала на коленях. Оказалось, что бабушка пыталась добраться до двери, сантиметр за сантиметром толкая вперед себя и стул, на котором сидела. В конце концов она застряла, когда ножка стула зацепилась за разорванный линолеум.

– Какой позор, – выдавила из себя бабушка, когда мы остались вдвоем. – Когда я была молодой, меня называли царственной. Посмотри теперь на меня. Что осталось от этой царственной?

Она горько улыбнулась, зажав губы в длинную дугу, а я молчал, потому что мне нечего было сказать.

Впервые за все эти дни я зашел на кухню. Муравьи всего мира маршировали по столу, умывальнику и всем остальным предметам. Положив продукты в холодильник, я вернулся в гостиную и внимательно оглядел ее. Оказалось, что и здесь достаточно много насекомых, которых я почему-то раньше не замечал.

Бабушка стеклянными глазами смотрела в одну точку на стене.

– О чем ты думаешь? – спросил я.

Она не расслышала.

Вместо крови по ее венам текли воспоминания.

Я пообещал бабушке нанять сиделку и вышел на улицу в поисках места, где можно сделать дубликат ключей.

Когда я вернулся, бабушка по-прежнему лежала на кровати. Она не спала. Я помыл персики, груши и принес их в гостиную в большой тарелке.

– Я сделал три дубликата ключей. Оригинал останется у тебя, один дубликат я беру с собой в Москву, второй отдам соседям, а третий – сиделке.

– А кто будет сиделкой? Придет, что будет здесь делать?

– Она будет во всем помогать тебе: будет готовить еду, стирать, убираться в доме, ходить в магазин, приносить тебе газеты. Мой друг найдет для тебя хорошую сиделку. Он обещал, что завтра днем она уже будет здесь. Врач тоже приедет, осмотрит тебя, назначит лечение. Я буду все оплачивать. Не переживай за это.

– А ты ведь завтра улетаешь?

– Да, завтра в час дня.

– Останешься сегодня на ночь?

– Нет, бабушка, нет. Извини. Не могу. У меня еще дела. Я приеду завтра рано утром. Я уже начал придумывать, *что* говорить, если она спросит о том, какие именно у меня дела, но она не спросила.

Я просидел с бабушкой ровно до полуночи, потом поцеловал ее, чтобы уйти, однако в последний момент передумал и остался.

– А как же твои дела?

– Я все отменил.

6.

Она храпела точно так же, как и много лет назад, когда я был еще совсем маленьким, и боялся этого звука, а по утрам просил бабушку «больше не делать льва».

Я лежал на спине, а на потолке рождались, растягивались, сокращались и умирали тени, появившиеся из-за света автомобильных фар на улице. Машина времени перенесла меня в прошлое и оставила там. Бессонница казалась то ли мучением, то ли счастьем. Вдруг я почувствовал, что носом у меня пошла кровь. В первую секунду хотел было повиноваться рефлексу и запрокинуть голову назад, но решил оставить все как есть. Кровь стекала по моим щекам и скулам, а я улыбался. В последний раз такое случилось в этой самой квартире, когда мне было лет пять или шесть. Я хорошо это помнил. Тогда от неприятного ощущения текущей по лицу крови я даже проснулся, но был настолько сонным, что поленился встать или позвать маму и снова уснул.

Через какое-то время, когда кровь перестала течь, я все же поднялся с кровати, пошел в ванную, тщательно умылся холодной водой и, взяв в руку большой коричневый кусок хозяйственного мыла, постирал наволочку.

Когда комната стала заполняться предутренним светом, я встал с постели, оделся и сел на стул в нескольких шагах от кровати, где спала бабушка. Она была так красива в своей старости, и мне ужасно захотелось поцеловать ее. Бабушка проснулась без двадцати девять и улыбнулась, увидев меня.

Затем было долгое прощание. Я оставил денег, написал в ее блокноте телефон моего друга, который после обеда должен приехать вместе с сиделкой, сказал, чтобы она ни о чем не переживала, что люблю ее и что мы с ней обязательно увидимся следующим летом, когда я снова буду в Ереване. И вновь мне в одно и то же время хотелось и убежать, и остаться. И я сходил с ума от этого. Вот они – мои ладони. Я опять смотрю на них. Все, что я делаю и не делаю, все – этими вот руками, которые сейчас с безразличием глядят на меня в ответ.

7.

Я солгал, когда сказал, что мы увидимся следующим летом. Я чувствовал, почти знал, что это наша последняя встреча, но отгонял от себя подобную мысль на расстояние выстрела.

Через два дня позвонил друг и сказал, что бабушка умерла. Вернувшаяся из магазина сиделка была первой, кто увидел ее смерть. В страхе девушка выбежала из квартиры, оставив дверь распахнутой.

И мне все представляется, как она бежит прочь от мертвой квартиры, мертвого дома, мертвого города и не может остановиться.

Ереван, июнь 2015 г.

Мария ГАЛИНА

Он гуляет по берегу там на песке валяются вроде
Рыб, но это вроде уже не совсем и рыбы,
Плачут, жалуются, что выпадают молочные зубы,
Нынче ничего постоянного нет в природе,
Утешает он рыб, еще прорастут коренные,
Оборачивается, смотрит – на огороде
Картошка закатывает глазки, выгибает выи,
Воет, но слава тебе господи, не уходит,
Как же быть, сестренка, он жалуется буренке,
Если все живое лепечет, плачет, жмется к коленям,
Словно бы завелся в доме покойник,
А возьмешься за нож, визжит, дерется и убегает,
И зуб вот смотри еле держится, а буренка
Говорит – это значит новый режется, не печалься,
И сочувственно третьим глазом своим мигает,
И течет, течет молоко в подойник.

Допивал торопясь молоко, а пенки
Относил шпионке и отщепенке,
Что немножко выжила из ума,
Вместе с хлебом и ношенными вещами,
Из нее не вытащили клещами
Ничего, поскольку была нема.
В небе голубом ни стежка, ни шрама,
И такая открывается панорама
С этого стратегического холма,
Что щемит в груди и слеза из глаза,
А она все время молчит зараза,
Несмотря что молоденькая сама.
А под вечер пахнет кошачьей мятой,
И комар танцует в луче заката,

Мария Галина родилась в Калининe (ныне – Тверь). Жила в Киеве, Одессе, окончила биологический факультет Одесского государственного университета (специальность – «биология моря») и аспирантуру при кафедре гидробиологии ОГУ. С 1987 года живет в Москве. Автор нескольких книг прозы и стихов. Лауреат премии журнала «Новый мир» «Anthologia» (2005) и премии «Московский счёт» (2006, 2014) за книги «Неземля» и «Все о Лизе».

А вокруг ни домика и ни дыма,
А ему так хочется быть любимым,
И чтобы кто-то сказал его имя.
И когда косится безумным оком,
И когда истекает любовным соком,
И когда лежит у него под боком
Все равно так страшно и одиноко,
Все равно так страшно и одиноко.

Она привычно ставит на стол четыре прибора,
Наливает свежую воду в кошачью миску,
Опять, говорит, задержались, но они уже скоро,
Опять все остынет, но они уже близко.
И украдкой выглядывает в окошко,
Где гостей намывает перчаточкой белой кошка.
Покрывается пылью фотография на буфете,
Пыльной горкой труха высыпается из дивана,
Надо будет зашить, а глупые эти дети
Опять не успеют к обеду, но еще рано,
И заворачивает кастрюлю в толстую байку,
Потому что так она медленней остывает,
и печальная кошка, жалея свою хозяйку,
все гостей намывает, гостей намывает, гостей намывает.

Радио играет «в рабочий полдень»
Солнце зависает почти в зените
Пряха на обочине там поодаль
Тянет и тянет нити
А с обочины тянет донником и бензином,
А она все прядет, поскольку она безумна.
Погляди на себя пряха, ты такая неряха
У тебя все кудели разного цвета
А нам нужны одинаковые рубахи,
Цвета хаки форменные береты,
Перепутаны, длинноваты цветные нити
Нам нужны короткие, извините.

*

Звонят в раскаленном воздухе пилы и молоточки –
Совокупный пунктир междометий и многоточий,
Голубой мотылек обращает глаза-фасетки

К ненароком задевшей его плечом молодой соседке,
Нагреваются на прилавке арбузы-дыни
И короткая тень уткнулась в кусты полыни.

*

Это слишком сложно, такое вынести невозможно.

*

Так сыграй на тальянке прощание нам славянки,
Гармонист подземный в раскаленной глотке таганки,
И вот эта красotka в этом цветном, моднячем,
Пусть бежит вдоль строя, и что-то кричит, и плачет...

*

А с обочины тянет донником и бензином,
И все больше коротких, все больше грязно-зеленых,
И кузнечики в жухлой траве маршируют строем,
Превращаясь по ходу во что-то совсем другое.

Когда она надевает свое лучшее платье
Сходят олени с коврика над кроватью
Когда она у зеркала красит губы
В подземных морях прозревают слепые рыбы
Когда она щеточкой выгибает ресницы
Одевается перьями белый скелет синицы
А ее первый нетерпеливо стоит под дверью
Говорит опять повсюду олень дерьмо и перья
И чертовы эти рыбы, крабы
Ползают повсюду
А мы могли бы
Вернее ты могла бы
Вымыть посуду
Собраться
Одеться
Накраситься
Как минимум полчаса назад
И вот тогда бы мы уж точно никуда бы не опоздали!

ИОСИФ БРОДСКИЙ ОТ ФОТОГРАФИИ

Рассказ

- Сходи к Леонтовичу, – сказала Илона, – он в Москве сейчас.
- А кто это?
- Бродского знаешь, который Иосиф? Стихотворец. Лауреат Нобелевской премии.
- Подозреваю, только отчасти...
- Серёжа Леонтович – Иосиф Бродский от фотографии.
- У Бродского, – говорю, – гениальность заплетается с легкой глуповатостью...
- Я подумал, мне бы Бунина от фотографии найти или хотя бы Набокова...
- Сам ты дурак!

Мы сидели в Большом Кисловском переулке, в «Зигмунд Фрейд» сидели мы...

Адрес Илона, само собой, помадой нарисовала-написала на салфетке, и губы свои лакомые, вишневые, «чувственные и порочные» Илона промокнула этой салфеткой с адресом...

- Подари Серёже салфетку, ему будет приятно...

– А мне-то... – сказал я, неловко развел руками и тут же опрокинул на стол бокал с водой.

Спасаясь от струек воды, раздвигая и сдвигая коленки, Илона пододвинулась ко мне, приобняла, и, касаясь губами уха, прошептала:

- Поезжай сейчас же, он завтра улетает...

- Лечу уже на перехват!..

...У подъезда его мастерской я увидел роскошный белый Mercedes, на лобовом стекле которого была огромная наклейка: Zarogojez.

В коридоре прекрасно пахло шампанским и, кажется, ананасами. Разгоняя ароматы поэтики Игоря Северянина, звучали мощные басы – Adriano Celentano, «People».

Рядом с дверью висела медная табличка, где каллиграфическим почерком значилось:

Серж Леонтович – Самый 1-ый фотограф всего.

Варнинг: голые бабы входят без стука!

Я постучался... Затем ещё... Мне отвечал только громоподобный Celentano.

Открывая дверь мастерской, я достал, как пропуск, салфетку с отпечатками губ Илоны и...

- Маша!!! Машенька!!!

На меня в упор смотрела раздетая девица, замершая в неестественной позе с веткой винограда на интересном месте.

Андрей Ладога – сценарист, режиссер. Закончил архитектурно-художественную академию. Автор четырех книг прозы. По трем из них – «Оплачено смертью, или Сад земных наслаждений», «Три смерти доктора Фауста», «Проклятие Великого гротмейстера» (М.: Армада, 2007) – был снят сериал «Оплачено смертью» (канал «Россия»). Живет и работает в Москве.

Вот, чёрт, подумалось, ошибся, – виноград, не ананасы, но с Набоковым, кажется, нет... Светлая кожа, огромные прозрачные серые глаза, меловая челка на лбу, сливочные губы – Машенька...

– На меня, сука, смотри, ангел!!! – голос гремел откуда-то сверху. – На меня!!!

Я растерялся.

Маша вежливо кивнула мне, открыв кремовый рот, она произнесла что-то беззвучное, но ободряющее.

– Halt! Hände hoch! – закричали сверху запыленно. – Кто там?!!

С потолка небес, подумал я с истерикой, посыпались шкурки от цитрусовых, затем к моим ногам свалилась пустая картонная коробка с изображением мандаринов и надписью: Maghrib al-Aksa.

Заводные апельсины из Марокко, вспомнились давно забытые перекрёстки любимых книг...

Наверху что-то натужено закричало, и вдруг прямо передо мной на коробку из-под апельсинов упал бритый человек с фотоаппаратом в руках, в джинсах, в расстегнутой до пупа белой рубашке с оторванными рукавами, с каким-то безобразием на подбородке, которое только условно можно было назвать бородой.

Козлиная, пронеслось в голове...

Фотограф был похож на неудачливого арабского террориста с обвислым носом карлика Носа на пенсии.

– Еврей?!! – закричал он, лежа на полу, уставившись на меня правым своим красновато-лиловым глазом, левый глаз у «террориста» был прицельно прищурен.

Вздвогнувшись, я не успел ответить, бритый криво сфотографировал меня – фотоаппарату мешал нос.

– Нет, – закричал я, перекивая Celentano, – русский.

– Правильное невезение! Водку пьешь?!!

– Только пробую!

– По семьсот граммов в день?!! – он захохотал, показывая зубы старого коня. – Тогда кофе! От какой дьяволицы тебя чёрт занес?!!

Adriano продолжал надрывно петь, делая интимный фон публичным.

Бегло-пристально взглянув на нежную девичью грудь Маши, я на всякий случай перешёл на крикливый шёпот:

– От Илоны!!! – я протянул ему салфетку.

– Как звать?!!

Маша, рассеянно и одновременно сосредоточенно, отломив от кисти виноградинку, раскрыла рот...

– Звать как?!!

– Андрей...

Он с «Ёп его мать!» встал на ноги, приподнявшись на цыпочках, принял у меня салфетку, погрузил в неё свой вислый нос и разомкнул наконец левый глаз:

– Проходи!

– Спасибо, – я прошел и... оказался в непосредственной близости от Маши.

Маша положила в рот виноградинку.

– Мать, – закричал фотограф в салфетку, – кофе нам сделай!

Маша молча кивнула и, оставив виноград на столике, пошла-поплыла по длинному коридору...

– Серж, – Сережа протянул мне руку и добавил с отвращением: – Леонтович.

Мы проводили Машу скрестившимися взглядами.

– И мне... – я пожал его руку, руку Железного дровосека.

- Отличная тётка, – натужно закричал Сережа, – и модель талантливая.
- Чем отличается отличная тётка от...
- Понимающим, мудрым молчанием!!! – прокричал он мне в ухо. – Чего тебе надо?!!
- А можно... – я не слышал себя.
- Машка, – закричал Серёжа, – заткни этого придурка!!!
- Голос Celentano оборвался на середине «...Are very special people...»
- Есть, – говорю, – один проект, и на этот...
- Голые девки будут?
- Ну, в общем, – да...
- Я согласен!
- А...

– Давай, отец, сразу на ты, – предложил Леонтович и поморщился, – только без поцелуев.

Я, содрогнувшись, молча кивнул.

– И отлично, а теперь расскажи...

Через несколько минут Маша в чём была, то есть ни в чём, принесла нам кофе.

Втянув брюхо, порывшись в кармане джинсов, бормоча нечто, напоминающее: «Не перепутать бы с удом», Сережа выудил наконец мелкую цепочку белого металла с небольшим сероватым камнем необыкновенной прозрачности и красоты.

Леонтович протянул цепочку Маше:

– На, мать, оденься!

Как раз, подумалось, к её глазам серым...

Я попробовал кофе и онемел – это был кофе по-королевски, с мёдом и с желтком. И я стал смотреть на одетую в цепочку и в камень Машу совсем другим, кажется, уже «третьим взглядом», но тут...

Серж вдруг вытянул руку и по-хозяйски взял меня за ухо, я поперхнулся кофе...

– Ну, надо же!.. – скручивая мое ухо, Леонтович оглянулся на Машу. – Ну, ты, мать, только посмотри, а?!! Дари им бриллианты, не дари им бриллианты, все тётки... – он хотел добавить это слово, но не добавил. – Её помада, Илоны!!! Дьявол-л-лица!!!

Май-май 2002–2011 г. Санкт–Москва–Петербург–Paris

ТРЕВОГА

Рассказ

*юный французский бог возвращался домой
в преисподнюю
и был всё так же красив
её ледяные озёра и огнедышащие рвы
отражались в стильных тонированных очках*

Валерий Нугатов. Боги for sale

I.

В одно утро я проснулась не совсем удачно, и всё завертелось. Будильник не просто выдернул меня из забытья, а испугал, как сигнал воздушной тревоги. Сама-то я почти сразу успокоилась, но мое сердце весь день думало, что принадлежит зверьку, за которым ведется погоня.

В таких случаях беспокойство, которое ничем нельзя объяснить, мешает двигаться и трезво мыслить, и, стоя в забегаловке, под картинкой с огромным мороженым и цифрами «75», я, наконец, совсем уж глупо спрашиваю у своей тревоги: «Война, что ли, будет?» Тревога мгновенно отвечает, что война – вопрос ближайшей недели, а то и двух дней, а то и меньше, и вообще не моего ума дело. Тревога показывает мне язык и продолжает без всяких объяснений.

Ладно бы только язык, но всякие воспоминания...

Например, я влюблена в юного французского бога с северо-востока столицы. За него мы боремся с одной потасканной блондинкой из тех же недр преисподней, что и я. Наш бог двигается мимо нас – физически и метафизически – в чистенькой капсулке автомобиля, словно мимо двух грызущихся посреди шоссе собак. Но между мной и той девчонкой возникают куда более сложные и серьезные отношения, чем даже те, которые мы рассчитываем иметь с ним. Поэтому она постоянно обращается ко мне с всякими веселыми речами и нервно заглядывает мне в глаза, а я обаятельно ей улыбаюсь и неосознанно рассматриваю ее умилительно маленькую грудь (всегда немного обезоруживает, когда закоренелая дрянь обладает параметрами невинной школьницы). Не один раз бывало, что погоня за чьей-нибудь благосклонностью начинается, сопровождаясь неприязнью к девушке, которая ближе всех находится к объекту моего обожания, и заканчивается внезапной дружбой, а то и странным интимным опытом с соперницей. Так или иначе, я смотрю на эту блондинку, и вдруг вспоминаю свою куклу Ингу. Инга была некрасивой, но единственной большой куклой в моем распоряжении, и родители едва ли не принуждали меня любить ее и играть с ней. Она была чумазой, изрисованной

фломастерами, – скорее всего, это было делом рук прежнего владельца – и с жесткими, спутанными, как будто алюминиевыми, волосами. Конечно, иногда я могла часами вертеть Ингу в руках, наблюдая за ее раскрывающимися и закрывающимися глазами, но настоящего удовольствия в этом не было. Поэтому воспоминание об Инге – даже то, что я безошибочно воспроизвела у себя в голове ее имя, похожее на первобытное горловое журчание, – меня удивляет. А потом тревога принимается гудеть во мне еще громче.

Это гудение, видимо, отпугивает юного французского бога, так что мне даже не с кем сегодня посмеяться и попить чаю. Оно отпугивает от меня менеджершу, проводящую со мной собеседование, отпугивает от меня даже чувство равновесия, так что на улице я с маху шлепаюсь на лед. Постепенно тревога становится слишком похожей на отчаяние, так что я планирую, вернувшись в свое жилище, порвать все коллажи с моими визуализированными мечтами. Знаете ведь? Чудесные гуру бизнеса и маркетинга в своих смешных и мудрых книгах советуют визуализировать мечты: вклейте свое унылое лицо над туловищем человека, выезжающего из ворот огромного дома на люкс-каре с шикарной женщиной на соседнем сидении, и всё у вас станет так же прекрасно.

Я захожу в вестибюль станции «Смоленская», перепутав темно-синюю и голубую линии. Недалеко от входа, на той темно-синей «Смоленской», куда я попала в этот раз, я замечаю уютные деревянные кабинки для бывших таксофонов. Тогда и вспоминаю вдруг, как в моем далеком детстве мы с мамой ходили на станцию междугородних переговоров, и там я долго томилась в такой же деревянной таксофонной кабинке, пока мама почему-то разговаривала с папиными родственниками, которые жили в горячей точке в Дагестане и всё жаловались на бомбежки и обстрелы. «Почему-то»: это потому что к маме эти родственники никакой благосклонности не испытывали, папа с ними общаться не любил, но однажды пригласил их переехать в наш город, в соседней республике, где было все-таки намного безопаснее. Родственники соглашались, собирали баулы, искали школы и места работы в нашем городе, но в итоге открыли в себе устойчивость к постоянному режиму КТО, а папа с ними навсегда расстался.

Я же так и не свыклась со спокойствием и почти вакуумом вокруг меня, которые были на самом деле непонимающим молчанием. И тревога пока молчала, только изредка всхлипывая и бормоча слюнявым сонным ртом что-то про Москву, про новую жизнь, про перспективы. И вот она я, приехала, зная, что великолепна во всех ипостасях, но пока не представляя, как убедить в этом более-менее разумную и платежеспособную часть мегаполиса.

Теперь-то я с неубедительно легкой, а потому гадкой, откровенностью говорю об этом. Но был момент в моей жизни, когда мной командовали тревога и тремор.

И вот, когда я прохожу через турникеты, передо мной с громким звуком схлопываются, едва не переломав мне кости, два вопроса. Зачем мы все это делали? – и я задумчиво оглядываюсь на таксофон. Почему всё, что я раньше думала, теперь списано со счетов? Я совсем недавно была ребенком, и всё ощущалось также ясно и чаще всего больно, как и теперь, но прежние выводы кажутся глупостью. А почему – объяснить не могу. Но главное, что тревога от воспоминаний раздувается – кажется, что это никакие не обрывки прошлого, а пророчества, в которые я раньше отказалась поверить, а теперь вернулась к ним и хочу, но не могу объяснить их значения.

Ничего полезного и важного не сделано мной сегодня, как и вчера, как завтра, как и послезавтра. Завалившись на кровать в своей общажной комнате, я вдруг слишком живо и неуместно – потому что на самом-то деле я озабочена лишь тем, как спасти свою манию величия от гибели, которая скоро наступит, если в ближайшее время я не сделаю чего-нибудь эдакого, что поставит галочки в моей биографии, – восклицаю:

– Ну почему-уу, почему некоторых женщин таааак любят? Что они такооого делают?

– Наверное, раздают налево и направо, – мгновенно отзывается с соседней кровати моя соседка. – Ты уже готова раздавать?

– Эм, – от усталости я не могу объяснить, что имела в виду как раз те женские хитрости, когда ни о каких «раздачах» речь не идет. На секунду меня накрывает сожаление, что я слишком увлеклась своей ролью типичной бабы: обычно, когда я прихожу с каких-нибудь крутых презентаций, встреч, конференций или, простигосподи, кастингов, что все-таки было пару раз, я говорю, что была на свидании, – иначе в этой квартире меня встретило бы полнейшее отторжение, а мне это отчего-то не безразлично. Иногда, соответственно, я обсуждаю несуществующих парней, выдуманные расставания с которыми я переживаю так легко, что соседки относятся даже с некоторым уважением к моему самообладанию. А сейчас, поглядите, я сама поднимаю тему межполовых взаимоотношений – верный симптом того, что скоро я забуду о настоящих хлопотах своей жизни и буду ныть, что жизнь эта никогда не будет разделена с юным московским божком.

– Что тебе, кстати, говорили об этом родители? Сказали ждать до свадьбы? – спрашивает соседка.

Всех всегда интересует, как я справляюсь в прогрессивном мире с традициями одного горского народа, вроде как родного мне.

– Ничего не говорили.

Я проваливаюсь в сон и во время этого падения вспоминаю об истории пятилетней давности: как школьница в нашем маленьком городе повесилась не от несчастной любви, а от всеобщего осуждения, когда распространился видеоролик, в котором ее, пьяную, хорошенько оприходовали. И каждому особенно приятно было в сплетнях о ней зачем-то добавлять: «А ведь это дочь судьи». И до, и после ее смерти.

Следующее утро такое же странное, – и еще неделю я просыпаюсь как по сигналу срочной эвакуации. За эту неделю я побывала везде, где только можно было побывать. Я зачем-то хожу на лекции, которые изволит пробивать юный французский бог, да и больше доброй половины нашего курса. После них я мчусь на собеседования. Иногда вместо собеседований хожу в поликлинику на бесплатный массаж, чтобы мой позвоночник не превратился в канцелярскую скрепку. Потом я иду в Пушкинский музей, чтобы найти вдохновение, потому что этого требует тревога: я люблю и как будто умею писать, но у меня на компьютере хранятся десятки документов с неоконченными текстами еще трехгодичной давности. Я всматриваюсь в полотна и вчитываюсь в сопроводительный текст на табличках рядом с ними, но глаза у меня быстро устают, так что через час я тяжело опускаюсь на лавочку напротив копии Давида и почти засыпаю. Я очень тревожусь, что моя жизнь проходит впустую, – поэтому ускоряю ее распыление на миллиарды атомов своими ежедневными сумбурными поступками.

Тревога гонит меня из дому, и одним субботним вечером я даже обнаруживаю себя на ГУМ-Катке. Тревога орет моим же ртом: «Мне нужны деньги», хотя я давно умею жить на копейки и даже не хочу это менять; она же, поглядев на то, с каким старанием я потом натираю грудь бронзового петуха на Площади Революции, насмешница, посылает мне заработок, с точностью исполнив мои пожелания: работать в центре Москвы, неподалеку от Кремля. Так что я, вечером Дня святого Валентина, одетая в красную пуховую куртку, рекламирую технику «Elstaro», расхаживая по территории главного катка Москвы. Я нахожу плюсы в том, что не должна раздавать листовки или кого-то зазывать, и, главное, на голове у меня широкополая шляпа, к которой с краю прикреплен планшет – для демонстрации и заодно эпатажа, – и он скрывает мое лицо. Ко мне подходят престарелые охранники и прочий персонал, молодые чернявые продавцы из местного же кафе и ошалелые туристы: они фотографируются со мной и еще одной девчонкой-промоутером, с удовольствием обнимая нас за талии. После нескольких таких

фотографий я свирепею и ухожу в самый дальний и безлюдный угол. Еще через час, перестав чувствовать свои пальцы ног, я вновь нахожу пару достоинств своего положения: я не пью кислое вино и не плачу вместе со своими соседками по общежитию в честь одинокого Дня святого Валентина, а дышу свежим морозным воздухом. Во время небольшого перерыва я обжигаю язык чаем, а мои глаза начинают сиять – я воображаю, что мои ощущения сродни блаженству, которое испытывают люди при посещении настоящей русской бани.

Ко мне подходит фотограф, которому поручено запечатлеть нашу акцию, и говорит:

– Ну-ка, давай.

Я спускаюсь к нему со своих пару минут назад заваренных байховых небес:

– Чего?

– Посмотри в объектив, я тебя защелкаю, – когда я гляжу в сторону своей шляпы, он спешит добавить: – Ничего не надо себе на голову надевать.

– Вообще-то я не хочу, чтобы мое лицо светилось.

– В агентстве должны видеть, что ты, именно ты работала.

Неохотно я бросаю уже потухший взгляд на линзу камеры, которая раз двадцать цыкает на меня. Потом я отрабатываю еще полчаса, зубоскалю с одним из работников катка и с первого раза отгадываю его имя. В конце, когда я стягиваю с себя красную куртку и белые гетры, фотограф, сидя рядом со мной и просматривая сделанные снимки, говорит:

– Вот это у тебя лицо...

– У меня? – уточняю я.

– Угу. Оно такое ассиметричное и при этом не некрасивое. Правый глаз прямо таки огромный, а левый – нормальный...

– Чего?

– Сама посмотри, – он поворачивает ко мне дисплей фотоаппарата.

– Угу, – киваю я, убедившись. – Наверное, устала я.

– Да это же наоборот очень интересно, – он тербит свою невзрачную бородку. – Есть одна идея, правда, надо будет еще уточнить. Ты ведь, конечно же, хотела бы сняться в фильме?

Моя гордость уязвлена, поскольку я, вообще-то, не стереотипная старлетка, но трезвого говорит, что это неплохой пункт для моей биографии, к тому же будет что рассказывать внукам. Внукам, то есть детям детей, о которых скоро нельзя будет и мечтать, если я продолжу морозить свои яичники на лютном зимнем ветру по три часа.

– В порнографии нужны ассиметричные лица, что ли? – криво усмехаюсь я.

– Да ну тебя. У меня знакомый есть, который собирается снимать малобюджетный фильм, и он никак не может найти исполнительницу... главной роли. Своего невообразимого акцента не стесняйся. И будь такой же безразличной и немного злой. Мне почему-то кажется, что он тебя выберет, – посмотрев на мое выражение лица, фотограф добавляет: – Ну да, да, если тебе это будет интересно, конечно. Номер оставишь?

– У супервайзера возьми, я им не пользуюсь, наизусть не помню, – отзываюсь я, уже по привычке пользуясь приемом, заимствованном у многих девушек и называемом «Набивать себе цену, да повыше».

На следующее же утро мне действительно звонит скрипучий голос и назначает встречу, которая, по его замыслу, должна быть похожа на случайную, чтобы он смог увидеть меня в как можно более естественном состоянии. Потому-то обладатель голоса, неизвестный режиссер, сразу же отказывается отвечать на вопрос о том, по каким опознавательным знакам я пойму, что это именно он, зато очень убедительным и безапелляционным тоном велит мне ждать его возле памятника Бродскому на Новинском бульваре.

Моя тревога утихает и даже не заставляет меня задуматься о том, что возле этого памятника вполне могла бы остановиться машина, в которую бы меня запихали силком уже через минуту, а дальнейшая моя судьба покрылась бы еще более густым мраком, чем теперь. Я подумала в тот момент одно: «Теперь-то ясно: типичный псевдорежиссер не от мира сего. Бродский... Вот это пошлятина, вот это дурновкусие». Тем не менее, еще полдня после звонка я провожу, сохраняя блаженную улыбку на лице и очень гордясь собой, и только к вечеру, задумавшись о мерах безопасности, перезваниваю «режиссеру» и прошу перенести встречу к памятнику Окуджаве на Арбате.

– Окуджаве? Что в нем интересного? – выслушав меня, спрашивает «режиссер», к скрипучести чьего голоса прибавился еще и заплетающийся язык.

– Ничего интересного, нам же не на памятники глазеть, – отзываюсь я. – Просто на Арбате будет лучше.

– Не на памятники, но ведь Бродский... – пьяный «режиссер», видимо, понимает, что не сможет вразумительно и связно выдать ту тираду, которая назрела у него на душе из-за моей просьбы, показавшейся ему оскорблением любимого поэта. – Ладно, – вздыхает и причмокивает он, – на Арбате так на Арбате.

Кажется, моя тревога ничего общего с инстинктом самосохранения не имеет.

Я догадалась, что раз уж встреча должна быть совсем неожиданной, то «режиссер» собирается явиться передо мной с опозданием как минимум на полчаса. Поэтому решаю себе не торопиться, а рассчитывать время так, как будто и одеваюсь, и собираю вещи – одним щелчком пальцев, а сорок километров от своего дома до центра Москвы преодолеваю миллисекундным сеансом телепортации.

В итоге, прибыв на место, возле Окуджавы я вижу человека, который слишком нервно мерит землю шагами, и мне сразу становится ясно, что эффект неожиданности, задуманный «режиссером», с треском провалился – моими стараниями. Я не сразу решаюсь окликнуть его, чтобы лучше рассмотреть его внешность. «Как хорошо, что у него не модная прическа», – почему-то радуюсь я его первобытным каштановым паклям и самой обыкновенной одежде.

Когда я громко произношу его имя, он дергается, едва не упав.

– Простите, – выпаливаю я, извиняясь и за опоздание, и за то, что напугала его своим окликом.

– Угу-угу, – кивает он и сверлит меня глазами.

– Куда пойдем?

– Обратно к метро, что же, иначе теперь я опоздаю... В другое место.

– Ох, простите меня еще раз, – начинаю лопотать я. – Очень неудобно получилось. Я подумала, что раз уж вам нужно появиться совсем неожиданно для меня, то мне придется еще достаточно долго подождать вас... В общем, так ведь всегда бывает, когда ждешь человека, ждешь, и когда уже устаешь и перестаешь о чем-либо думать, он раз – и приходит... Очень внезапно это бывает, да,

– Да, именно, – ему, конечно, не хочется продолжать разговор со мной, и в моей душе кляксой расплзается досада. Разумеется, такое могло бы случиться только со мной: упустила шанс, который преподнесли прямо на блюдечке. А с другой стороны, кто знает, может, у меня при любых обстоятельствах не было бы никакого шанса играть другого человека, и я буду всегда, безвылазно, заключена сама в себе и своей никчемности.

– Безумно сожалею, что пришлось потратить ваше время. И свое тоже... – продолжаю бормотать я.

– Так значит, Бродский тебе не нравится? – вдруг резко прерывает меня «режиссер».

– Да я не из-за этого попросила перенести встречу, тут Арбат, полно людей, а там –

проезжая часть, всем наплевать, мало ли... – снова тараторю я, найдя в себе силы хотя бы добавить своему голосу уверенности.

– Неважно уже. Я имею в виду твоё отношение к нему как к поэту, как к деятелю.

Я делаю глубокий вдох. К черту, все равно мы с «режиссером» видимся в первый и последний раз.

– Нет, не нравится ни разу, – размеренно отвечаю я голосом, уже низким от надвигающихся к горлу слез.

– Чего? – «режиссер» останавливается.

– Не нра-вит-ся, говорю.

– После этого мы можем не продолжать разговор, – он стискивает челюсти, а затем оскаливается. Вроде, мужественное движение, но мне почему-то кажется, что на самом деле он, как и я, собирается зарыдать.

– Разве это фильм о Бродском? – спрашиваю я уже немного утешительным тоном.

– Нет, но... – он мотает головой в возмущении.

– Тогда какая разница? Я понимаю, что нужна девушка с мозгами, но если я не люблю, это не значит, что я его не читала.

– С Бродским такое невозможно, – он принимает ехидно-довольный вид, будто изобличил меня. – Если читала, значит любишь.

– Возможно. Почитала – но как-то не получилось полюбить. Он для меня какой-то... Он – проститутка.

– Что-о? – «режиссер» морщится, как будто проглотил не только кислый, но еще и очень вонючий лимон.

– Вот рифмует он отлично, без промахов, – не бывает у него такого, когда слово оказывается в конце строчки непонятно для чего, только ради рифмы – пишет очень толково, элегантно даже, без дешевизны, не пустозвонно, все идет из души, при этом он многое замечает и понимает. Широкий кругозор, отличное образование... – я обнаруживаю, что моя тирада тоже не удалась. Нет, конечно, я говорю именно то, что думаю, но, очевидно, следовало бы выразить свое мнение как-то иначе, более убедительно и сдержанно, что ли. Или лучше было бы вообще соврать и восхищенно, многозначительно, сказать: «Ах, Бродский...» Но иногда я не могу притворяться, да и поздно уже сдавать назад. – Его поэзия, бесспорно, высший класс, – но высший класс для малой, массовой литературы. Это не настоящая поэзия, а набор формул для заскучавшего обывателя, у которого вдруг перевелись все его ежедневные хлопоты и который говорит: «Хочу почитать что-то про звезды и вообще про высокое, ну-ка вынь да положь». Эти формулы преподнесены в лакированном виде, поэтому и привлекают заодно псевдоинтеллигенцию. К тому же, во всем у Иосифа Александровича проглядывает, как я уже сказала, его проститутская натура – не могу объяснить, уж простите, но в его строках постоянно проступает развращенность, высокомерие вкупе с нахальностью и продажностью. Это уже не факты, я говорю лишь на уровне интуиции... Но это есть, такова его природа, которую я слишком ясно вижу в его творчестве. Потому-то для меня он совсем не привлекателен.

«Режиссер», слушая меня, кивает, как болванчик, как будто только что потерял какую-то ценность.

– Ооооох, – он кусает губы. – Как вообще можно такое говорить и думать...

До станции мы доходим в полном молчании, а когда оказываемся в тихом вестибюле, «режиссер» улыбается и смотрит прямо мне в глаза.

– Пришли мне СМС-кой адрес твоей электронной почты.

– Зачем? – неподдельно удивилась я.

– А со сценарием кто знакомиться будет?

– Э, я? А зачем?

– Заело тебя что-то, не сломалась ли, часом? – улыбнулся он еще шире. – Ты же не собралась импровизировать в кадре?

– Я же только что назвала...

– Бродского, уважаемого мной и всем цивилизованным миром, проституткой. И опоздала на сорок минут. К несчастью, это не отменяет того, что ты подходишь для роли. Точнее, именно потому и подходишь. До встречи, – он взмахивает рукой и быстро шагает к эскалаторам.

Если я все еще в подробностях вспоминаю о том дне, то это потому, что он служил гранью, которой заканчивалась моя трезвая настороженность, мое право на надежду и возможность ориентации во времени и пространстве. Съемки начались в первых числах марта, и уже к концу этого месяца у меня случались самые настоящие приступы астмы, если за мной не следовала камера. Утром я тренировалась перед зеркалом – была медленной, как амеба, и быстрой, как мультяшный герой, чьи движения сопровождаются характерным свистом рассекаемого воздуха. Я разговаривала с собой, а потом, для разработки связок, выходила поорать на общий балкон – будить соседей, делая это в квартире, не хватало духу. По дороге в Москву и обратно я с неприличной внимательностью читала «Работу над собой в творческом процессе воплощения» Станиславского. Из восьми, не считая меня, человек на съемочной площадке шестеро были мужчины, и я все ловила и коллекционировала их разные по оттенкам улыбки и взгляды, радуясь такому богатству. Сценарий я не стала читать до конца, подумав, что благодаря чувству неизвестности буду чуть более взволнованной, живой и органичной. Если брать съемочные дни, то в чистом виде за март их было девятнадцать. К апрелю «режиссер» ушел в запой, потом, когда он снова пришел в себя, работали еще неделю. А в воскресенье утром, когда надо было снимать пустынные улицы, у Новоспасского моста собрались все, кроме самого «режиссера». Дул гадкий холодный ветер, и из-за туч выползало холодное солнце со своим липким светом, а мы стояли и ждали, и ждали «режиссера», пока кто-то не позвонил ему, думая, что он, вероятно, заблудился. Он не поднимал трубку, мы затревожились, не случилось ли несчастья. Через полчаса «режиссер» сам перезвонил и сказал, что ничего больше снимать не будет. Ни этот фильм, ни какой-либо другой. Ни теперь, ни в будущем.

Возвратившись домой, где все так и продолжали сладко, по-воскресному, спать, я завершилась в одеяло, согрелась и, уже задремав, поняла, что никакая я теперь не особенная, не неоткрытая звезда, что никогда не скажу, не объясню, не оправдаюсь: «Я снималась в фильме», и целый месяц моей жизни был безвозвратно, безоглядно, бессознательно потерян. Я забыла и потеряла все. Что с моей учебой и моими деньгами? Что с моей писаниной? Где мой юный парижско-московский бог и где эта вечно голодная до тестикул, моя ожившая Инга, которой, несмотря на то что я никогда не портила куклы, придется оторвать голову? Или не придется – потому что, кажется, я уже не влюблена, мне не за кого бороться.

Зачем я полезла в эти дурацкие съемки?

Я резко распахнула глаза, еле дыша, но меня осенило, что взамен всему этому – тревога утихла. Позвав и подразнив свою тревогу, выкрикнув ей обидные и резкие слова, я убедилась, что ее нет, она исчезла. Я улыбнулась и крепко, сладко заснула.

2.

Оказалось, что тревога – это что-то совершенно естественное, вросшее в саму плоть, потому что после того, как ее не стало, чувствуется ноющая боль лунки недавно вырванного зуба или послеоперационного шрама. Проспав сутки, а потом ровно столько же пострадав бессонницей, я, наконец, набравшись мужества, присмотрелась и прислу-

шалась к происходящему вокруг, точно зная, что после этого меня обязательно должна пробрать бессильная злоба.

Наконец, поняла, что произошло в конце февраля, отчего по всему городу все больше и больше расходилась и усиливалась трупная вонь, от которой хотели убежать, но только создавали толчею и ссорились друг с другом. Увидела, что серые лица стали еще более серыми – у всех, конечно, кроме Инги, потому что еще больше подурнеть она вряд ли смогла бы. А бог – то есть мой, преображенско-карузельский, ненастоящий, языческий идол, слепленный из пластилина цвета загорелой кожи, – исчез. «Куда-то уехал», – отмахнулась Инга, и я поняла, что никакой борьбы между мной и ней не было, хотя бы потому, что она – дурная собака, которая бежит с лаем за *всеми* машинами.

А без межполовых козней, сплетаемых, по обыкновению, против себя самой же, дела потекли совсем уж утомительно и мутно. Я все твердила и заучивала, как окончательно единственную роль: «Я – самая обычная». В целом я и была самой обычной – ведь лишь один раз за всю историю жук, копошащийся в экскрементах и скатывающий их в идеальные сферические формы, ползая под адским пеклом, стал божеством Хепри, да и то – божеством исчезнувшей цивилизации.

И поскольку я была самой обычной, то и говорить, и считаться со своей волей было не нужно: куда мне говорили, туда я и шла, что мне предлагали – то и брала. Так носило меня и кружило, словно в мутной холодной воде: то я сидела где-нибудь в уголке за спинами пьяных гитаристов и их тёлочек, нервно смеясь и ожидая, что меня изнасилуют, то сутки неотрывно читала книги и что-то учила, проклиная четыре стены вокруг. Непонятно зачем, я заставляла себя проводить столько времени с самыми никчемными людьми, будто наказывая себя за то, от чего уже и так хорошенько пострадала.

Так однажды занесло меня смотреть болотистую, холодную и склизкую Прибалтику.

Начинается мое путешествие с плацкартного туалета поезда «Москва – Санкт-Петербург», где я провожу первые полчаса. Холодный ветер хлещет в открытую форточку, я стою и почти плачу. В нелепой туалетной вариации трюмо отражается три моих лица, так что я вижу свой малопривлекательный профиль, к тому же под белым ярким светом кожа у меня на носу неприлично блестит. Я улыбаюсь, щурюсь, строю ноющие гримасы и немного подвываю, а потом слышу окончательно выровнявшийся по такту стук колес. Этот идеальный ритм заставляет меня мурлыкать новые мотивы моих собственных песен, которые никогда толком не явятся миру. Я уж даже собираюсь достать диктофон, чтобы записать пришедший в этот раз в голову мотив, но меня прерывает стук в дверь туалета. Я едва раскрываю рот, чтобы самым препротивным базарно-вокзальным голосом сказать: «Занято», но кто-то прежде меня коротко буркает мое имя: «Жень». Это значит, что мне пора выбираться из своего заточения.

Приятель выводит меня в контрастно душный вагон, где свет уже потушили. Как только за нами захлопывается дверь, он твердо, но не больно и вполне деликатно, подталкивает меня в сторону той плацкартной «ячейки», где расположилась вся наша компания.

– Ложись, – шепотом проговаривает мой спутник и разворачивает меня в сторону одной из нижних полок. Я верчу головой, будто оттягивая момент.

– Ложись, – повторяет парень, его зовут Рома. – Не так много спать осталось.

Я укладываюсь лицом к стене, Рома ложится рядом, стараясь не касаться меня. Это вроде успокаивает меня, но, как и всякое существо, по несчастью наделенное женским сознанием, я чувствую себя немного обиженной. Правда, долго думать об этом не получается – меня укачивает и убаюкивает мерный ритм колес. Посреди ночи мне кажется, что кто-то дышит мне прямо в ухо, а потом в волосы, в шею – передвижение неболь-

шого горячего потока воздуха от одного места к другому происходит быстро, так что я взволнованно сонно улыбаюсь: это Рома не просто ворочается. Но утром парень будит меня сухо и даже грубовато – сам он встал намного раньше, а это значит, что не собиравшись подольше ко мне прижиматься. Я снова чувствую небольшую обиду, но ее быстро закрывает облегчение и уважение: по крайней мере, хотя бы один из моих попутчиков – не голодный до любой «девчатинки», как говорили знакомые, оголтелый малолетка.

Как следует поглядеть на Петербург не удастся, но я не особо огорчена этим. Впечатления от города странные: дышать нечем, в полдень стояла жара, но в то же время по коже постоянно проходил холодок. Кажется, весь воздух потребовала себе в жертву красота – лепнина, ковка, гранит и позолота, – кругом было так много идеальных и причудливых линий, что сводило скулы, живот ныл, как обыкновенно ноет, если объедаешься сладким.

В Калининград мы едем, разделившись – на двух попутных машинах. Машину, в которую попадаю я, ведет молодая девушка, которая везет собачек на выставку в городке у литовской границы. Псы тут же, резвятся на переднем сидении рядом со своей хозяйкой. Маша – так зовут девушку – любезно спрашивает, не нужны ли кому-нибудь таблетки от аллергии. Маленькие собачки мне не нравятся, – их движения и поведение абсолютно нелогичны, так что непонятно, чего ожидать, тем более они слишком любят без особой причины долго-предолго лаять, – но эти малыши вполне симпатичны.

Замкнутая девчонка из моей компании, услышав слово «аллергия», вдруг заговаривает о случаях удушья и летальных исходах. Маша оказывается в замешательстве и начинает говорить о том, как часто скорая помощь может спасти человека, несмотря на то что порой долго добирается до места назначения, и как порой попадают настоящие Врачи, прекрасной души люди и профессионалы, один раз ее бабушка... На Машины излияния замкнутая девчонка вворачивает, что такие прекрасной души Врачи, особенно хирурги, в итоге спиваются и умирают от тяжелых болезней, потому что кругом их окружает грязь. А самая большая беда – это пациенты, которых с удовольствием бы прикончил, но не можешь не спасти ввиду внутренних убеждений, или которых, выбиваясь из сил, вытаскиваешь из пропасти, а в итоге все оказывается напрасным, потому что смерть побеждает.

Мы делаем вид, что ничего не услышали, и переходим к историям о везении – о маленьком таком, кривеньком везении, когда потерял что-то, да скоро нашел, набедокурил, но выкрутился или был кем-то спасен, когда должно было быть хуже, да не стало. О самой главной удаче, данной ни за что, просто так, говорить не принято, а может, она действительно проходит незамеченной, потому что порой не понять, удача ли это в самом деле. И редко кто в разговорах вспоминает о том, что родился в семье уже пенсионеров после тридцати лет бездетного ожидания, или что в утробе его шея была обвита пуповиной, или что было еще какое-то чудо, которое впервые вывело человека в жизнь, но я охотно бы расспрашивала едва ли не каждого встречного, для чего каждый из нас прошел через тысячи крошечных шансов стать живым. «Зачем да зачем», – вертится у меня на языке, и я в ожидании подходящего момента для этого вопроса засыпаю, меня укачивает. Дрема не отпускает меня почти всю дорогу, я оживаю только на остановках – шумные псы, кажется, вовсе не могут спать, а только настойчиво просятся гулять, да замкнутая девчонка неустанно о чем-то спорит с Машей. Проверка документов проходит как по маслу. Под вечер нашей компании становится не о чем говорить с Машей, и тогда водительница включает радио: мы все дружно орем-подпеваем песням, а вместе с нами заливаются лаем две маленькие собачки. На закате мы с Машей расстаемся, солнце светит прямо ей в глаза, и она так славно щурится, прикрывая глаза ладонью, когда смотрит на нас, и улыбается, что на душе у меня становится теплее. Это теплое чувство не пропадает, даже когда небо заволакивает тучами.

С другой половины нашей компании договариваемся встретиться на Центральной Площади, куда добираемся автобусом. Погода хмурится и улыбается одновременно – сквозь пыльно-серую пленку облаков то и дело просачивается оранжевый, багровый, желтый свет. Дует ветер, довольно холодно. Когда к нам подходят остальные ребята, я вижу, что они немного навеселе. Рома – тот самый парень, который лежал на одной полке со мной в поезде до Петербурга – идет впереди всех, взгляд у него затуманен, улыбка слишком широкая.

– У нас есть тачка, у нас теперь есть тачка, – он подходит прямиком ко мне и стискивает меня почти до боли. Мельком я замечаю его огромные глаза с расширенными зрачками.

– Откуда? – издаю я слабый писк.

– Забраааали, – с наслаждением растягивает это слово Рома. – Хочешь, покажу?

Он достает телефон и через пару минут включает видео. Ролик начинается в машине: за рулем сидит молодой человек, а рядом с ним, на сидении справа, сидит его девушка или жена. После энергичного перешептывания один из парней достает нож и приставляет его сзади к горлу девушки, а другой – одновременно с этим – приставляет игрушечный пистолет к голове водителя. Пару минут раздаются невнятные крики, перед камерой мелькают черные рукава курток, водителя выводят из машины. На этом ролик заканчивается.

– А дальше-то что? – прерывающимся голосом спрашиваю я.

– Эй, да ты кровожадная, – лыбится Рома. – Мы же не дураки, чтобы дальше снимать.

– Я не про видео! Вы что с людьми сделали? – это один из редких случаев, когда я срываюсь на крик.

– Да ничего такого. Связали и оставили у дороги. Недалеко от заправки. Их найдут, но не очень скоро, это главное.

– Аааа, – взываю я. – Зачем, зачем я поехала с вами?

– Тебе-то ничего не будет, – Рома говорит это спокойно, но его глаза наливаются кровью.

– Скажи, а вдруг она беременная? А вдруг у кого-то из них вообще проблемы со здоровьем? Если их найдут не скоро, вдруг что-то с ними случится?

Рома молчит. Минуту, две. Все молчат. Замкнутая девчонка ухмыляется, глядя вниз. Парни переглядываются.

– Тебе-то что? – глухо отзывается Рома и снова твердит: – За себя переживаешь? Ты не при чем, ничего тебе не будет.

– А за вас переживать я не могу? По-твоему, каждый только за себя боится?

– Нам тоже ничего не будет, – отзывается Рома. – Наверное.

Вечер был испорчен. Как они не забили меня камнями или вроде того – не знаю. Я ожидала, что, по крайней мере, они изгонят меня, скажут: «Катись отсюда, правильная такая и этаякая, мать твою». Но, несмотря на тяжелое злобное молчание, никто не смотрел на меня исподлобья и не обменивался взглядами потенциальных убийц друг с другом. Пожалуй, они давно укрепились в мысли, что я все больше молчу и тем более никогда не пробалтываюсь, вот только я сама себе уже не совсем верила.

– Пошли жрать, – говорит кто-то. – Теперь-то уж чего базарить.

Наша компания гуськом идет к ближайшему кафе, и когда мы с Ромой оказываемся позади всех, я еле слышно спрашиваю его:

– Зачем вы это сделали?

– Это было весело. Я никогда не катался, у меня никогда и не будет собственной машины, – неожиданно быстро отчеканивает он. А потом со всей душой добавляет: – Чертовы зажавшиеся суки.

- Что конкретно делал ты? – я делаю особенное ударение на слове «ты».
- Вязал их.

Я вздыхаю.

- Что мне будет за это? – понурившись, выжимает из себя Рома. – Ты же юрист типа.
- Как выкрутишься, но мне кажется, что будет три года минимум. Если будут судить

как надо, а не как золотую молодежь...

От собственных слов меня начинает тошнить. В одной из импортных красно-желтых забегаловок мы стоим в нескончаемой очереди, и я смотрю по сторонам, ощущая, что вместо азарта и воодушевления от путешествия снова образовалась ноющая пустота. Я смотрю направо – вижу стену с разноцветными полосками и детскими рисунками. Смотрю налево – и вижу десятки голодных спин и профилей, и среди них – неуместно свободную и гордую, идеальную, осанку, густую шапку черных волос. Он одет в слишком легкую для такой погоды куртку, но это действительно он – напомаженный бог с двухдневной щетиной. Юный французский бог, который должен был остаться где-то позади и никогда не появляться в моем изодранном, пыльном, провонявшем табачным дымом мире.

Я окликаю его по имени – он не слышит. Я не могу повысить голос, мне неудобно произносить его имя: похожее на последний предсмертный глоток соленой воды утопающим, но и совладать с собой не получается – я делаю огромный шаг к нему и прикасаюсь к его рукаву.

Бог – его зовут Андрей – поворачивается, поднимает густые брови, выпучивая свои маленькие глазки, а потом улыбается так мило – никогда прежде так не улыбался, – отчего мне становится не по себе, потому что я не могу решить, искренне ли он мне рад или только делает вид, что умилен и растроган неожиданной встречей со мной.

- Ого, ты!.. Какими судьбами? – спрашивает он.
- Решили попутешествовать, – киваю я в сторону своих попутчиков.
- У, – морщится бог. – Ну, терпения тебе.

Я, как обычно, заискивающе улыбаюсь – преисполненная рабской благодарности за то, что он думает то же самое, что и я, и говорит то, что мне хотелось бы сказать. «Чертово быдло», – внутри себя я взываю от досады, сравнивая каждого из своей компании с Андреем.

- А ты что делаешь здесь?
- Отдыхаю, – лучезарно оскаливается он, забирая бумажный пакет.
- Здорово, – я тяжело вздыхаю.

Кажется, нам с ним не о чем говорить.

– На самом деле, мне уже успело надоест побережье, – вдруг пожимает плечами бог. – Я тут залег на дно в одном частном домике...

– Я думала, что ты эмигрировал, – перебиваю его я. – Не знаю, почему, ты ведь не мог так просто взять и бросить учебу. Но новостей никаких нет, а тем не менее все уверены, что ты жив и здоров.

– Вообще-то хотел эмигрировать, но с визой затанули, а свалить уж очень хотелось. Потому что слишком тошно стало смотреть на все вокруг. Можно было бы осесть и в Риге, например, но сам факт вот этого неуместного куска земли в отдельности от остальной России меня очень забавляет. Да само название уже до чего симпатичное: анклав, – молодой божок хрустит бумажным пакетом, доставая стакан.

- Это точно.

В этот момент меня зовет моя компания: спрашивают, что буду покупать, и мне становится немного совестно, что я за секунду, увидев Андрея, открестилась от ребят. Я беру унылых маслянистых креветок в панировке, пол-литра апельсинового сока, самый дешевый сухой бургер – для будущего перекуса. Божок стоит в сторонке и наблюдает за

мной, вновь включив свою кривую умиленную улыбку. Впрочем, я смотрю на него ровно с таким же выражением – нет, все потому, каждое человеческое существо мужского пола для меня – это упущенный последний шанс быть мало-мальски живой и признанной в качестве женщины, отчего меня изнутри расплавляет и размягчает безразмерная грусть.

Я подхожу к нему, чтобы попрощаться, но он неожиданно говорит мне со всей серьезностью, тихо:

– Не знаю, насколько тебе весело с ними, но, по-моему, они ублюдки, так что мы можем устроить *свое* путешествие. Я здесь тоже на машине, так что замерзнуть не бойся.

– Это здорово, но... – я не могу придумать хотя бы одну причину не поехать с ним.

– Наедине боишься оставаться? – догадывается Андрей. – Не бойся. Если что, края русские, закричишь: «Караул» – поймут, спасут, – он ухмыляется своими слишком некрасивыми для божка зубами. – Нет, ну как хочешь, конечно.

Я вспоминаю оранжевое лицо нашей общей знакомой – ожившей Инги, ее расплывающийся бледно-голубоглазый взгляд, почти слезящийся от вожделения, – и, мысленно показывая ей язык, отвечаю Андрею:

– Ладно, пошли.

Мы мгновенно ускользаем от моей компании, а мое сердце начинает биться от восторга тысячами ударов в минуту.

– Да ты вся покраснела, – улыбается божок, когда мы усаживаемся в машину и он включает свет.

– Ага, – киваю я и мысленно продолжаю: «Потому что так рада!»

Он включает музыку, и мне становится неловко от того, насколько эта музыка безупречна. Один признанный хит играет за другим – и мало кто поспорил бы с тем, что выбранные божком песни плохи, но почему-то создавалось ощущение, что таким образом он замаскировал отсутствие какого-либо интереса к музыке в целом. Я стараюсь не обращать на это внимание и безотчетно счастливо улыбаюсь, глядя в окно.

Когда Андрей, наконец, паркует машину и мы преодолеваем лестницы, камни, песок, от вида моря – дикого, лохматого, несдержанного, незамысловатого, растянутого на весь горизонт моря – у меня захватывает дыхание. Я смотрю на воду и висящее над ней солнце так долго, что глаза мои наполняются слезами. А может, хоть что-то в этом мире за последние годы смогло поразить меня так, чтобы вместе с этим не возникали горечь, подозрения, отвращение, гнев. Разве только просыпается стыд за себя, несовершенную и жалкую тушку, стоящую рядом с морем, которое может быть просто морем – никак не плохим, никак не хорошим, для которого не требуется оправданий и которому нельзя предъявить обвинения, даже если ты Ксеркс. Оно есть, оно никуда не уйдет, будет всегда пожирать твой взгляд, пока ты не сойдешь с ума и не победишь прочь – или не утопишься. Меня сотряс изнутри первый толчок вырывающихся рыданий, но я вовремя отвернулась от стоящего рядом со мной сытенького загорелого молодого человека, присела на корточки и заплакала беззвучно. Меня настигал нервный срыв, но я, может быть, именно тогда впервые честно заговорила с собой. Так хотелось быть морем – или чем-нибудь другим из того, что называют стихией или неживой природой, – потому что тогда бы не было ни страха, ни тревоги, ни отчаяния, ни любви, ни вины, ни жадности, ни голода. Мне так хотелось бы быть – всего лишь быть, не нуждаясь ни в чьей благосклонности, помощи, снисходительности, ни в чьем тепле, не имея необходимости защищаться, грызть, причинять боль, ломая и постепенно уничтожая плохими поступками себя.

Горячие потоки слез не прекращаются, а молодой московский истукан уже кладет руку мне на плечо и произносит:

– Впечатлило море? – судя по голосу, он усмехается. – Своими горами, небось, по горло уже съта?

– Впечатлило, – отвечаю, утирая слезы. – Но горы ничем не хуже, хоть и очень давят, когда стоишь под ними. Когда стоишь на вершине – также прекрасно. У меня такая реакция потому, что я никогда раньше не видела моря.

– Серьезно? – чернобровый кумир снова выпучивает глазки-бусинки.

– Да, – на выдохе протянула я.

– Почему?

– Не знаю, так получилось.

После, когда мы уже сидим на подогреваемом полу частного дома, в котором расположился московский божок, я делаю ему ложное откровенное признание, состоящее из исковерканной истории одной моей бывшей школьной приятельницы: мол, однажды, когда я была совсем юной, мамина ближайшая и любимейшая подруга съездила на море, вскоре после чего заболела раком и умерла. Море с тех пор ассоциируется у моей мамы с коварной и ужасной смертью, а поездки туда она считает плохой приметой, поскольку столь ранний уход молодой красивой подруги, у которой были крошечные миленькие дети, стал слишком большим потрясением. Так что мы никогда не отдыхали на побережьях.

На самом деле, такая смерть действительно произошла, только эта женщина – мать той самой школьной приятельницы – никогда моей маме подругой или хотя бы знакомой не была.

– Одному из ее детей на тот момент был всего год, – добавляю я.

– Да уж, – вздыхает, тряся волосами, смуглый московский божок.

– Когда он пошел в школу и мы, наконец, познакомились с ним как следует, он выразил желание жениться на мне, – усмехнулась я. – Мне было двенадцать, а ему семь.

– Ишь какой, – отзывается мулат, пригубив бокал. – Кстати, как у вас там проходят свадьбы? Тебя бы похитили, привязали на крышу машины рядом с бараном и повезли в дом жениха?

Я смеюсь и с удовольствием начинаю обо всем ему рассказывать. Увлечшись, я употребляю нерусские слова, первоначальные названия для предметов и обрядов, а в один миг даже, сказав краткое «мыдыкъус» и посчитав, что этого достаточно, перехожу к какой-то другой теме.

– Подожди-подожди, что ты до этого сказала? – хмурится божок.

– А? – одергиваюсь я. – «Мыдыкъус»? Это когда невестка проходит перед родственниками мужа и кормит их медом с ложечки.

– Чего это каких-то огрызков с ложечки кормить? – идол возмущен.

– В знак того, что ты принесешь в этот дом благополучие, – я же, наоборот, считаю, что это очень мило.

– Знак того, что ты принесешь в этот дом благополучие – это то, что твой папка – гендиректор какой-нибудь фирмы с оборотом в пятнадцать миллиардов в год, – фыркает Андрей.

– По-моему, это хуже, чем кормить кого-то медом с ложечки.

– Почему это?

– Потому что с таким отцом совершенно не имеет смысла выходить за кого-то замуж и кормить чужих людей почти с ложечки постоянно, – пожимаю я плечами.

– Ну, это же не просто кормежка, а объединение капиталов. Во всяком случае, должно быть им.

– Объединение капиталов за счет судьбы своего ребенка? – спрашиваю я, немного повышая голос, потому что впервые задумалась об этом.

– Да детям в норковых пеленках, как правило, все равно в итоге не везет, – поджигает губы божок.

– Тогда неправильно вовлекать кого-то еще в эту грязь, к которой они постоянно тянутся.

– Ну как же не вовлекать, если люди к этому готовы и даже хотят этого, – улыбается Андрей.

– С другой стороны, – поразмыслив, говорю я, – да, каждый в глубине души знает, на что подписывается.

Мы говорим еще полночи, и наши разговоры похожи на обсуждение растущих цен, мест, где можно достать молоко и гречку подешевле, администрации муниципалитета, которая не следит за тем, чтобы на улицах горели фонари и во всех дворах были детские площадки – бытовые жалобы, замещающие разговоры о погоде. Он хотел бы, но не может перейти на более серьезные темы, потому что боится проблесков моего разума, заставляющих его чувствовать собственную глупость, – он однозначно признался, что любит безнадежно тупеньких девушек, – и я все слышала его звонкую мантру: «**ДЕНЬ-ГИДЕНЬГИДЕНЬГИ**», и потоки цифр и имен собственных лились на меня, не прекращаясь. Разница между обсуждением погоды и нашей беседой заключалась только в том, что я, переводя называемые им денежные единицы в жизненные нематериальные явления, осознавала, что обмен неравноценен или даже не имеет смысла, потому что большие деньги приходят вслед за отвратительными поступками. А мой бог, взращенный в надежных четырех московских стенах и под высоким потолком, повторял мне один и тот же ответ: «Да можно это делать, всё можно».

Посреди ночи божок неожиданно переходит к разговору о том, сколько стоит гименопластика, и рассказывает мне о какой-то своей знакомой девушке, которая нарушила предписываемый ее религией запрет на воздержание до брака, а потом собирала у друзей *деньги* в долг, чтобы сделать эту самую гименопластику и избежать, таким образом, наказания у себя на родине. Меня его рассказ по-настоящему смешит, хоть и немного настораживает. Когда я отвечаю ему, что с моим подходом к этому вопросу мне не страшна ни одна религия, он демонстративно зевает:

– Ой, все-таки придется лечь спать. Пойду, умоюсь. Если что, там есть вторая ванная, – он указывает рукой на одну из дверей.

Я почему-то говорю:

– Постой.

И Андрей останавливается вполборота ко мне.

– Спасибо, что, вообще-то, ты меня спас.

– А, что от балбесов этих увел? Да не за что, – он отмахивается от моей благодарности в своей привычной легкой и самоуверенной манере.

– Да, от балбесов... – стискиваю я зубы. – Это еще слабо сказано.

– Ладно тебе, будь снисходительнее, – усмехается он.

– Не могу, они машину угнали. Водителя и его девушку связали и выбросили где-то на дороге. Говорят, что недалеко от заправки...

– Ты шутишь, что ли? – улыбка еще не сошла с его лица.

– Нет, не шучу.

– Они это сейчас сделали, во время этой поездки?

– Часов шесть назад.

– Тогда я тебе не спаситель, – Андрей резко разворачивается ко мне. – Утром сядишь на электричку, а потом с вокзала – домой. Нечего тебе здесь делать, – непонятно, что он имеет в виду под «здесь» – его дом или Калининград.

– Почему?! – почти вскрикиваю я. – Я же, на самом деле, не при чем, я была в другой машине и ехала по другому маршруту, я вообще...

– Их видели на этой машине уже здесь, тебя видели – с ними. А меня видели с тобой. Этого достаточно, – хмурится он. – Не надо тебе здесь больше оставаться.

– И что я буду делать? У меня нет денег, – я слишком жалобно взываю от его неожиданной жесткости.

– Не знаю, хоть в горы к себе беги. У меня, если честно, денег нет тоже.

– Если честно, – автоматически повторяю я.

– В семь часов довезу тебя до станции.

– Утром? – зачем-то спрашиваю.

– Да. Спи здесь.

Я сворачиваюсь калачиком на диване и, несмотря на бешеное сердцебиение и обиду, засыпаю. Андрей вырывает меня утром из сладкой дремы не слишком резким, но неприятным тычком в плечо. Сам он, видимо, не спал: его покрасневшие маленькие глаза кажутся еще меньше, чем обычно. Он даже не разговаривает со мной – профессиональный палач, который ни за что не должен устанавливать контакт с жертвой.

Так же молча он довозит меня до какой-то станции – точнее, останавливается на одной из улиц, где за рядом домов пробегает электричка.

– Ну и все, пожалуй, – говорит бог с семи холмов, не глядя на меня, потому что хоть и ранит меня, но делает это, вроде, единственно из необходимости. – Я не могу отвезти тебя до города, потому что... Так надо.

Я как можно скорее выбираюсь из машины и иду быстрым шагом, а потом срываюсь на бег. В одном месте приходится бежать по насту, – тысячу раз растаявшему и вновь замерзшему снегу, деревянному и не поддающемуся тяжести шагов, – и непонятно, как он остался с давно ушедшей зимы, оттого эти ледяные ошметки кажутся зловещим знаком. У меня мутнеет взгляд, тогда я поднимаю голову, смотрю вверх, и все становится на свои места: вижу фонарь и стоящие за ним дома, а прямо перед собой – серый переулок, ведущий к железнодорожной платформе, который утонул в мареве.

У меня свело мышцы ног, внутренности стали стиснуты ребрами, легкие переполнились диким жжением и раздулись так, что сердце сократилось, сжалось как можно сильнее и затихло, а больнее всего было от тревоги, которая вновь выросла на своем прежнем месте, но была уже совсем другого вида. Из всех ближайших скал она была бы самой высокой скалой и, одновременно, исполином, водрузившимся на нее и орущим во всю силу широкой мясистой глотки.

В моей черепной коробке раскатами разносится звонкий и мощный голос тревоги, грозивший изнутри проломить мне виски:

– Зачем? Зачем? Зачем?

Ни сны, ни воспоминания, ни боги, ни куклы, ни люди – ни что-то и кто-то еще из прошлого, настоящего и будущего – не могли ничего ответить, потому что разом исчезли из моего поля зрения и из моей памяти. И тревога, на самом деле превратившаяся в истерию и безумие, осталась единственной, настоящей, и торжествовала.

Татьяна НЕШУМОВА

Летающий по небу остаток
остаток дня
остаток ны
повелевает брать задаток
подслеповатыя весны
ее белесоватых десен
бессильный танец
краковяк
и день летающий мимо сосен
на березняк

рыбка рыбка голова
угасание вещей
в голове моей слова
нищий дух ничей

рыбка рыбка
что ты спишь
говори со мной, ау
на серебряном подносе
я немножечко живу

хочешь хвостиком вильнем
хочешь в море умахнем
хочешь с новою душою
на том свете поживем?

плоский блин по краям разошелся
так луна говорит с мертвецом
помазком по щетине прошелся
восвояси отчалил ползком
и теперь эту лодочку чалую
обещалую по смерти нам

Татьяна Нешумова родилась в Москве. Окончила филологический факультет МГУ. Поэт, автор книг «Нептица», «Простейшее», «Счастливая твоя внука», «Глухой ушастый». Автор статей по истории русской поэзии XVIII–XX веков (от Д. Хвостова до Г. Дашевского). Публикатор «забытых» поэтов первой половины XX века: Д. С. Усова «Мы сведены почти на нет...» (2 т.), книги стихотворений В. Г. Малахиевой-Мирович «Хризалида». Старший научный сотрудник Дома-музея Марины Цветаевой.

потолочные тени печалуют
пробегающие по углам.

Душа в раю, как житель городской
На сельском отдыхе, не знающий названий
Всех этих трав, деревьев, странных зданий
(гумно? амбар? и что такое «жито»?).

А то, что там осталось пережито,

Шипит, как гусь, – ведь это вправду гусь?
Небесный воздух труден нам, как Русь.
Какая Русь? Эпиграф ко второй?
Давай с тобой, товарищ, по второй.
Пальнем-ка пулей – миг – и канет в Лету
Шестая часть земли. Была и нету.

Вы девицы
не бойтесь быть львицы
чья утомительна томность

Пошевеливай спицами, скромность!
Солнце! Рыжую бочку кати!

Эти творительные цунами –
Мы сами!
Колченогие мы усахи!
Цыц, воздушность!
Раздумье, молчи!

Вы, девицы, не бойтесь быть львицы,
Это мы говорим, усахи!

Из Нового света в Старый свет,
а потом уже в нашу родную тьму.
Поменяем билет – и тот свет –
– на денёк – отменит нашу тюрьму.
А взглядишься и в новом свете
увидишь тот Новый свет.
Мавр-Мефистофель в берете
вносит яркий букет.
200-300 лет вместе
в этом месте,
а когда оставят одних –
от неразумной девы-невесты
пресветлый
отпрянет
жених.

РОЗОВЫЙ ТАНК

Рассказ

Он говорит, идти нужно сейчас, пока темно. Вроде баллончики с краской уже наготове. До танка минут двадцать пешком, за полтора часа управимся.

Я догоняюсь последним стаканом «петуха», настойкой местного разлива. Никак не могу опьянеть, то есть я, конечно, пьяный, но голова соображает, и ноги слушаются, и ночь не кажется волшебной.

То ли дело Витек – упился в хлам. Держится за дверную ручку, дверь скрипит и стонет, а Витек все шатается, туда-сюда, как маятник. Полез в карман джинсов. Хмельная ударная волна чуть не равняет его с шахматной плиткой пола.

Я протягиваю пачку.

– Нет, – говорит, – ключи.

– Ключи?

– Потерял.

Я закуриваю. У Карлитоса можно курить дома, можно все: хочешь бухать – бухай, переночевать негде – позвони Карлитосу, выручит, падлой буду. Одно условие, куришь – открой форточку и послушай, как поет твой новый друг.

Карлитос – известный рокер в нашем городе. Гастролирует по соседним регионам и вроде как имеет популярность среди продвинутой альтернативной молодежи.

– Спой про бабу, – просит Витек.

– Нет, бабушка умерла, больше не пою.

– Играй уже что-нибудь.

И Карлитос заряжает новую песню. Эксклюзив, говорит, специально для вас. Мне нравится, как он поет, честный пацан. Гитара слушается, струны если и дрожат, то сливаются с правильной хрипотцой голоса.

Потом он включает что-то из «Muse», и я, наконец, пьянею.

«...is growing like the new born», – кричит Карлитос.

Как новорожденный к грудной соске, тянусь я к бутылке. Колонки режут, и вот-вот прибегают соседи.

– Они еще ментов могут вызвать.

– Вызывали?

– Да не парься, нормально все.

Я думаю, как же счастлив Карлитос. Так вот легко посреди ночи может врубить музыку, достать гитару и сам заголосить про бабу ли, про фашистов или кого-то еще.

– А почему Карлитос?

Сергей Кубрин родился в 1991 году в городе Кузнецке Пензенской области. Выпускник юридического факультета Пензенского государственного университета. Дебютировал в «Волге» с рассказом «Муха» (№7–8, 2009). Печатался в журналах «Сибирские огни», «Дети Ра», «Октябрь», «Урал». Участник Форума молодых писателей России (2009–2012). Лонг-лист премии «Дебют» (номинация «крупная проза», 2010, 2011), лауреат итальянской литературной премии «Радуга» (2010).

– Люблю Испанию, знаешь? За Барсу болею всю жизнь, а гитару, на которой сейчас играл, из Мадрида привез.

– И как там в Испании?

– Лучше, чем здесь. Мне вообще Европа нравится, я туда свалить хочу. В Европе – жизнь.

– А тут не жизнь?

– Так уж вышло.

В дверь стучат. Карлитос убавляет звук, идет разбираться. Из прихожей слышны соседские вопли, что-то про детей и работу, совесть и порядок. Суета сует, до чего сейчас – точно – нет дела.

Витек спрашивает, может, я видел ключи.

– Связку.

– На улице потерял, сто пудов.

– Поищем?

Не хочется уходить, но Витьку надо помочь.

В конце концов, как-то он должен будет попасть домой. Каким бы великим ни казалось дело, чем бы ты ни занимался, с кем бы ни говорил, хоть до глубокой пьяной ночи, всегда нужно возвращаться домой. Потому что дома ждут и, скорее всего, беспокоятся.

С Карлитосом мы познакомились в баре, где можно было курить после двенадцати. Витек сказал, я стал меньше тусоваться после службы. За прошедший год, пока простреливал мишени и наматывал километры в кирзачах, в городе открыли много хороших мест.

– Надо правильно отдыхать. Пошли бахнем, у меня там знакомый бармен, такой вискарь подгонит, у тебя все армейские звезды с лычками из глаз посыплутся.

Я согласился. В самом деле, гражданку я долго не мог принять. Когда оставалось сто дней, все думал, вот вернусь, закручу-заверчу, как прежде, и даже больше, гулять буду ночами, наперекор всем уставным запретам. Хрен меня кто остановит. Никто не указ, командиров нет, веселись до упада.

Но стоило дембельнуться, снять форму, повеселиться день-второй, как захотелось обратно в армию. Может, не столько хотелось служить, сколько окунуться в прежнюю муторную жизнь. Все-таки странно мечтать о суточных нарядах или карауле. Но и рутина повседневных проблем не вдохновляла.

В баре уже курили. Дым стоял прочной завесой, словно кто-то бросил маскирующую шашку. Казалось, вот-вот появится противник и надо будет сражаться – бить в морду, колотить в живот.

Никто не появился. Все мирно сидели за столиками, обсуждали что-то несерьезное. Я увидел знакомых, но Витек предложил отделиться. Пошли, говорит, за другой стол.

– Пока тебя не было, все поменялось.

Я не стал спрашивать, что и почему. Только поднял руку, вроде здорово, и все такое. Пацаны кивнули и тоже не подошли, будто еще год назад мы не куролесили на шумной кухне студенческой общаги.

– Такие дела, братан. В лицо улыбаются, а за глаза говном поливают.

– А что там?

– Да забей, прошлый век. Одно скажу, держись от них подальше. Мутные темы они закрутили. Сейчас типа самые крутые на районе.

– Да видел я крутых, и не таких видел.

– Не, хочешь – иди, конечно. Пообщайся, порешай. Но я тебя предупреждал.

– Да ладно, вот они сдались. Давай уже своего бармена. Обещал же.

Вискарь кончился, и пришлось пить ром. Бармен сказал, подняв большой палец: «Вот такой вот ром! Сами увидите».

По сути, мне было все равно. Я всегда пил, что наливали: коньяк или ром, виски или родную водяру. Какая к черту разница, если итог всегда один – ватная поступь, свобода мыслей, потеря ключей, наконец.

– О, хорошо идет, – тянул Витек.

– Нормально.

– Знаешь, скучно как-то стало жить. Я вот смотрю, жизнь-то проходит. Мы вроде молодые, а время бежит. Понимаешь?

– Ну, типа того.

– А дальше, год-два, блин, ты же первым женишься. Я-то тебя знаю.

– Да ладно.

– Прохладно. Ну, или я женюсь, вопрос времени, все равно, рано или поздно...

– Так это ж правильно.

– Правильно-то, правильно. Я тебе вот что хочу сказать, – продолжал захмелевший уже Витек, – так ведь и жизнь пройдет. Одним махом. Работа, семья, дети, блин, – нужна ведь какая-то особая миссия. Предназначение, понял? Ну, хоть бизнес какой, чтобы денег, как шлюх на «горе». Или там, спасение человечества, или ноу-хау, или...

– Ноу, как?

– Тебе там в армии все голову отбили, может, не всю?

– Да пошел ты.

– Забей. Ну, изобрести можно какую-то шнягу, чтобы цивилизация сделала новый шаг, чтобы в космос можно было мотаться, как на рыбалку.

Витек бурлил, заведенный. Трещал автоматной очередью, останавливался, переводил дыхание, менял магазин, и снова рвался в словесную атаку. Понимаешь, говорил, понимаешь, понимаешь?

Я, скорее всего, понимал, потому что очередной глоток ромовой бодяги даже намек на давал на ожидаемую головную трель.

Написал сослуживец, коротко, по-армейски: «как оно?» Я ответил «ок», решил, на самом деле не совсем «ок». Должно быть, у сослуживца тоже – так себе, потому что был уговор не теряться, писать и звонить в любое время. Но если пишет ночью – сто пудов, что-то не ладится.

– Ты слушаешь?

– Да, – ответил я, – слушаю, конечно.

– Есть вариант идти в политику. Нормальное дело – политика. Только не все эти междоусобицы, ну, понял, какие. Нужно играть в большую политику.

– А как в нее играть? – машинально спросил я, тыкая кнопками.

– В этом и проблема. Нужен лидер, люди нужны, которые за этим лидером пойдут. Ты бы вот пошел за мной?

– Естественно.

– Я знал. Если посидеть, подумать, можно программу написать. У меня есть один знакомый, я тебе рассказывал... Слушай, – опомнился Витек, – бухло кончается, – и он позвал бармена.

– Еще пятьсот, как считаешь?

– Да, давай. Слушай, я пойду позвоню, прям две минуты.

– Ноу проблем, братан.

Я уже набирал дугану, думал, что сказать. А думать и не нужно. Любое слово могло бы, одно «здорово, боец» или «как там, на боевой точке» его спасло.

На выходе меня остановила Мира.

– Не уйдешь, не уйдешь, – залепетала она и, схватив за руку, потащила обратно.

- Две минуты, Мир, ну?
- Никаких минут. Я тебя сейчас кое с кем познакомлю.

В прошлые выходные мы выступали с Мирой на поэтическом вечере. Я читал свои армейские стихи, Мира – последнюю подборку, которая вышла в столичном журнале.

Мне нравилась Мира, легкая, непосредственная. Она говорила, не стесняясь, об отношениях мужчины и женщины, терпеть не могла свойственного местной богеме пафоса, хоть и считала, что поэту должны подавать красную икру и бокал шампанского.

- Мира, – обрадовался Витек, – садись. А у нас тут ром.

– А шампанское? Я пью шампанское. Хотя ладно, у меня болит зубик, я все равно ничего не буду.

- Как же так, ну, выпей, полегчает.

И она все-таки выпила.

- Мне позвонить надо, – попытался еще раз.

- Я тебе говорю, он сейчас придет.

- Кто? – спросил Витек.

- Кто-кто, это секретик. Ты его знаешь, не тебя знакомлю.

Тут и появился Карлитос. В тонком свитере с высоким горлом, в болотных, почти камуфляжных, штанах-галифе. Я узнал его. Все знают Карлитоса, не каждый, правда, может взять вот так и выпить с рок-звездой за одним столом.

- Это Карлитос, – сказала Мира, – Карлитос, – это мой друг. А Витю ты знаешь.

Мы заказали пива. Карлитос угощал. Ну, как угощал, сказал бармену, чтобы записали на счет.

- Я им до хрена должен, штук двадцать. Хуже не будет.

- Пригласишь на концерт по халяве.

- Сочтемся.

Карлитос рассказал, как Мира забрала его с одной вечеринки, куда уже приехали менты, чтобы разогнать пьяный дебош музыкантов.

– Вот за что люблю Миру, – сказал рокер, – она всегда появляется в нужный момент. Пришла такая, посмотрела, о, говорит, Карлитос, а, ну, забрал гитару и вперед. Я отвечаю, ладно тебе, давай останемся, веселуха в разгаре, обычные дела. Она шарф мне повязывает, куртку притащила. Ну, умничка, я тащусь. А на выходе – бобик, мы по дворам, по заборам, и вот сюда.

- У-уу, – затынула Мира, – все не так было.

Она стала рассказывать, как было на самом деле, но я почти не слушал. Попытался набрать сообщение, но пальцы отчего-то дрожали и не могли попасть в нужные буквы.

- Бахнем?

- Давайте.

Мы выпили, и Карлитос потянулся за гитарой.

- Нет, шумно здесь, – остановила Мира.

- Так уж вышло, – согласился Карлитос.

Мира достала свой любимый айфон и предложила сделать селфи. Мы прижались плотнее, чтобы уместиться в кадре, Карлитос вытаскил мясистый, какой-то густо-фиолетовый язык, а Витя, как всегда, попытался поставить Мире рожки, но та встрепенулась, заметила и сказала тихо: «Не надо».

Знакомые пацаны гудели за соседним столом. Я обернулся. Заметив, что смотрю, они притихли, но один, бородатый, не выдержал и продолжил смеяться, и остальные тоже зарядили гогот.

- Ну, как там, в армии? – спросил Карлитос.

- Нормально, – улыбнулся я.

– Нормально, – повторил рокер, – я вот не служил, не знаю, нормально – это хорошо, или нормально – это плохо.

– Это хорошо.

– Ништяк. Одного не могу понять, зачем нужна армия. Какой в ней смысл, твою ж мать.

Я начал объяснять, сказал что-то об отражении первого удара, о мобилизационной готовности, о поддержании мира, и все такое. Но Карлитос вроде и слушал, но не соглашался. Скулы его подергивались, уголки губ дрожали – дождется, как я замолчу, ответит – в жизни все по-другому.

Он сказал, это все ложь, это фальшивка. Не может быть нормальным то, что связано с войной и смертью.

Я говорю, войны идут все время, как началась жизнь, как появились на планете первые люди, всегда воевали. Тут не выкрутишься. Никуда без армии. Либо ты, либо тебя.

– Да не гони, друг, – Карлитос засучил рукава, нервничая, – видишь татуировку?

На правой руке я прочитал «реасе» и заметил сердце со спиралью бесконечности.

– Не должны люди воевать, у них другое предназначение. Любить и размножаться. Пока на земле есть свободные пространства, слышишь меня, пока хоть один клочок пустует, надо любить и размножаться. А вот когда совсем станет тесно, шагнуть будет некуда, сюда глянул – человек, обернулся – еще один, и целая масса людей, тогда и война потеряет смысл.

– Да ладно, думаю, вот у тебя толпа фанатов. Ты на сцене крутишься, в микрофон орешь, а в толпе, знаешь, до чего нервно. Один двинул, второй задел, тут не устоишь, в драку влезешь, отвечаю.

– Любить и размножаться, любить и размножаться, – повторял Карлитос, – до самого победного конца. Любовь, она тоже, как война. Две стороны, две идеологии, только разница есть, чувствуешь, друг. Разница, говорю, есть – любовь не разрушает, а возвеличивает, делает человека посредственным – настоящим.

И слово «настоящим» Карлитос повторил несколько раз.

– Началось, – хихикнула Мира, – запахло пафосом и страстью. Не ругайтесь, мальчики. Подскажите лучше, как вылечить зубик.

Мы посмеялись, и решили поговорить о чем-то другом. Карлитос развел руками, «так уж вышло» сказал и добавил – не обижайся, мне интересно размышлять с тобой.

Карлитос говорил спокойно, ровным хорошим голосом. На сцене он был другим – вертел стойку, обливался водой, бросал зрителям то концертные футболки, то шнурки, то фенечки.

Я не знал, есть ли правда в его словах. Ну, то есть нужна ли армия – раньше об этом не думал. Да и сейчас, если честно, не хотел забивать голову. Отслужил, как поется в дембельской песне, и Бог с тобой.

В туалете, пока мыл руки, подошел ко мне бородатый, тот самый, из компании бывших приятелей.

– Там пацаны, кореша твои, тему предлагают. Ты ж типа служил, да?

– Ну, типа, – согласился я.

– Борзый, чо ли? Не борзей, с миром я.

– Хотел-то чего?

– Короче, нам в команду нужны серьезные ребята, кто не очканет в ответственный момент. Рукастые, с головой, усек, да? Настоящие такие пацаны.

Бородатый разминал кисти, хрустел пальцами. Я не видел его раньше. Может, сбрей бороду, получилось бы узнать. Скорее всего, на районе он был чужим.

– Задача простая – выезжаешь на небольшие переговоры. Говорить не нужно, не кипишуй, у нас для этого есть люди. Будешь стоять ровно, и если все по мазе, может, и не придется вообще ничего делать.

– Камбэк в девяностые?

- Сечешь, фраер.
- Жаргончик у тебя, конечно.

Бородатый улыбнулся. От прежнего бандюгана ничего не осталось.

- Ты подумай, вот визитка.

- У меня есть номера.

– Нет, ты возьми, – и он всучил мне карточку. Я прочитал «Компания Батальон. Защита ваших рубежей».

Стало смешно, сколько их там, в батальоне. Опасные, должны быть, ребята.

Мира говорила о стихах Анашевича, о том, какой волшебный этот Анашевич и как бы хотелось живьем услышать его чтение. Карлитос, далекий от современной поэзии, но уважающий слово, кажется, записывал в блокнот фамилию поэта, а Витек рванул ко мне.

- Чего он хотел? Он что-то говорил?

- Кто?

- Ну, тот, с бородой. Ты с ним разговаривал?

- Нет, – соврал, – с какой стати.

- Фуух, – кивнул Витек, – я говорю, лучше не связываться.

Когда Мира прочитала «Собаку Павлова», успокоила на время зуб таблеткой пенталгина, когда пиво кончилось и Карлитос все-таки зарядил на гитаре песню про хипстеров, мы посидели еще немного, потрепали за правильную жизнь и решили собираться.

- Все ко мне! Будем петь!

- А пить? – с надеждой спросил Витек.

– Нет уж, без меня, Карлитос, – ответила Мира, – мне нужно домой, я обещала любимому.

- Мира!

– Нет-нет-нет! К тому же у меня зубик, – приложила к щеке ладонь и, надув красивые спелые губы, она добавила «бо-бо».

Я кивнул пацанам, прощаясь, и бородатый отдал что-то вроде воинского приветствия. Остальные держались ровно, смотрели, как ужратый Витек просит бармена записать на счет бутылку «Жатецкого гуся».

- У меня «петух» оставался, погнажи.

Проводив Миру до такси, мы отправились за продолжением к Карлитосу. Он жил в соседнем доме, сталинской пятиэтажке, и пока шли, без конца говорил: «Вот Сталин, вот, что вы думаете... Сталин то, Сталин это...» После рокер ополоскал всю нынешнюю политическую элиту и, кажется, снова решил вернуться к армейской теме, но вовремя уgomонился.

- Забыли, – сказал, – так уж вышло.

Не знаю, зачем я поперся, в самом деле, но Витек звал, а Карлитос настаивал. Нехорошо отказывать, подумал, к тому же других вариантов не появилось.

Тогда-то и потянуло рокера к великим делам.

Распив порядочно, убившись до нужного героического толка, когда любая дорога – известная, любая проблема – решаемая, и только одна задача – сохранить, сохранить еще чуть-чуть это великое состояние свободы и храбрости, Карлитос предложил раскрасить танк.

- Тот самый танк? У редакции?

- Тот самый танк.

- Зачем это, я не понимаю.

– Не удивительно, друг, что ты не понимаешь. Нет, на самом деле, ты, конечно, все понимаешь, то есть тебе может казаться эта идея самой ужасной, ну, что-то вроде треш-выходки уличного музыканта. Но на самом деле, на самом деле, – протянул Карлитос,

бахнул для чистоты мысли, – ты хочешь этого, просто дрянная служба выела весь твой мозг. И наверняка раньше ты был иным, все-таки Витек твой друг, а Витек – мой друг... Ну, ты понимаешь, друзья моих друзей, как же так... Витек?

– А?

– Пойдем красить танк?

– Пойдем, а зачем?

– Вот я тебе объясню, а заодно и твоему другу. Потому что пока я не пойму, что он – настоящий, не подделка там, знаешь, я другом его не назову.

– Он настоящий, отвечаю. Но зачем нам красить танк, а?

– Да затем, друг. Затем, что танк... вот, что для тебя танк?

– Танк и танк, – ответил Витек, – а есть еще бухло?

– Что такое танк? – спросил меня Карлитос.

Я налил Витьку и сам выпил, и стало проще говорить правду. Точнее, говорить так: не лезть в душу, чтобы понравиться, говорить то, что думаешь. Да и к каким хренам я должен перед ним выкаблучиваться. Ну, музыкант, подумаешь, известный человек, а что дальше. Танк он собрался красить.

– Танк, – говорю, – ну, как тебе сказать, мощное оружие, однозначно, танкисты все, знаешь, как втухают, туда коренастых берут, тебя бы не взяли, у тебя рост большой. Это символ победы, если ты про памятник, знак героизма что ли. Ты вот знаешь, – хотел я увлечь рокера, – Т-34...

– Ой-ей-ей... понеслось, поехало, боги мои боги, что вы сделали с этим человеком.

Говорил он как герой одной дешевой пьесы, которую я очень любил, а Мира не могла терпеть.

– Не может, – кричал Карлитос, – не может быть символом победы и героизма то, что несет в себе идею разрушения, понимаешь? Ты не понимаешь. Но ты представь, хоть на секунду представь, сколько людей погибло от одного этого танка. Б-дыщ, и нет никого. Понимаешь?

Он кричал чисто, протяжно, словно пел. Витек кивал, смотрел то на меня, то на Карлитоса и, казалось, совсем не понимал, что здесь, о чем говорим и с чего нам сдлся какой-то танк.

– Пацаны, пацаны, – заголосил Витя, – пацаны, не надо. Давайте бахнем.

– Бахнем, как выполним миссию. А это, друг, – сказал мне Карлитос, – это реальная миссия.

– Раскрасить танк?

– Растоптать, обесчестить орудие убийства. Посмеяться над символом, как ты там сказал, символом, да?

– Ну что-то вроде.

– Нужно идти прямо сейчас, я знаю, ты пойдешь. Потому что ты – настоящий. Я много людей встречал, да ты, если б знал, как я барыжил на автовокзале, еще семь лет назад, когда не было Карлитоса... ты знаешь, друг, кого я там только не видел. Так вот, ты – настоящий.

Я не хотел быть настоящим, точнее, таким настоящим, каким пытался увидеть меня Карлитос. Но зачем-то же я спросил, где мы возьмем краску.

– Краска у меня есть, Бог ты мой, где возьмем краску. Этого добра...

Рокер потянулся к кухонной антресоли и достал дорожную сумку с баллончиками. – Я же еще уличный художник, знаете ли. Тут все цвета. Зеленый вот, желтый... нет, желтый – дурацкий цвет, я думаю, выберем розовый.

– Витек, тебе нравится розовый?

– Нет, – промычал Витя, пьяный и довольный.

– Для танка!

– Тогда нравится. А зачем нам красить танк, не пойму.

– Забей, просто пойдем, и все.

Мы курили и пили, Карлитос играл и голосил, как рота солдат перед отправкой на боевые рубежи. Мы искали ключи, Витя ныл и жаловался – вроде только-только поменял дверной замок, потому что старый – совсем уж состарился, и ключ стал проворачиваться, и все такое остатки, а ключа нигде не было, и Витя совсем раскис, и я вылил ему «петуха», ядреной коньячной настойки.

Пока мы искали ключи на улице, у подъезда, а Карлитос разбирался с настырной соседкой, которая, по словам музыканта, разрушает силу искусства, я все думал, как же так, почему этот Карлитос везде ищет какую-то угрозу. Разве так он устроен, разве впрямь боится, что однажды кто-нибудь уничтожит, например, его музыку. Что даже мнимой угрозы не должно быть – ни одного танка, который уже бессилен, ни одной соседки, твердящей: музыка в ночи – это хулиганство.

Неужели смысл художника – расчищать свой путь от грязи, а не преобразовать эту грязь. Самому создавать дорогу, а не бороться с ветряными мельницами. К чему раскапывать траншеи и при этом засыпать окопы той же грязью, которую только-только вычистил.

– Карлитос, я сегодня у тебя ночую.

– Да без проблем, – отрезал Карлитос, – на вот, сумку. Осторожней только, краска. Пошлите-пошлите, времени совсем нет.

– Слышишь, я потерял ключи, дружище, послушай же ты, я потерял ключи. Я сегодня переночую у тебя, ладно? А завтра я найду, мне кажется, я обронил их в баре.

Но Карлитос не слышал. Может, и слышал, конечно, потому что Витя не замолкал, и повторял: ключи-ключи. Но, в конце концов, Карлитос заявил:

– Либо ты идешь, либо ночуешь на улице.

И Витя выбрал – идти, сражать этот ненавистный всем, старый забытый танк.

Не знаю, зачем только шел – я. Мне бы приехать домой, лечь уже и отсыпаться, потому что завтра наверняка появятся дела, ведь надо искать работу, надо устраивать свою жизнь после армии, надо, в конце концов, привыкать как-то к прежнему распорядку, желательно мирному, потому что насытила до предела и годовая камуфляжная суета и бывший гражданский круговорот.

Перемен хотелось. И спокойствия. И понимания – все не зря, не зря.

А Карлитос предупреждал, пока шли.

– Вы должны понять одно. Само собой, нас могут забрать мусора, даже если не сейчас, то потом. Они, суки, проворные твари, достанут из любого подполья. Но, помните, друзья мои, любимые, мы совершаем великое дело.

Как-то в армии комроты отправил нас, провинившихся за самовольный перекур солдат, начищать колеса огромных КаМАЗов. То есть, скорее всего, КаМАЗы эти были вполне обычных размеров, но величие их перед нами, никчемной затравленной солдатней, удивляло. Так вот, комроты говорил что-то похожее, будто важная задача – придать блеск и чистоту опоре и основе наших защитных бронемашин.

Но не было никакой брони у этих долбанных КаМАЗов.

И будь возможность, каждый из солдат выцарапал бы на двери или штампанул на том же колесе что-то вроде: «ДМБ-14» или «Армавир – навсегда».

И кто-то даже достал самодельную заточку, без которой передвигаться по части – почти смерть, и стал царапать, и вот появился зародыш буквы. Но нет, никак нет, ни в коем случае.

Не потому что – страшно, что пришлось бы, в случае командирской облавы, умирать в нарядах или вовсе – не приведи Бог – попасть на вахту за причинение ущерба госсобственности. Никто, ни один солдат, самый зашуганный или борзый, старый, молодой,

самый обычный или мазанный капитанскими звездами – не мог потревожить святую воинскую мощь.

И я не мог.

– Я не могу, – говорю, – ребячество какое-то.

Танк, вытянув пушку, смотрел, беззащитный, как довольный Карлитос достает баллончик. Могло показаться, сам танк не против и даже рад подобной забаве. Стоял безропотно на мертвых гусеницах, и ждал. Хоть кто-то, по крайней мере, заметил его старый, обшарпанный вид. Танк, забывший, что вообще такое запах краски, вырванный словно с поля боя, принявший участие – напоминать, но потерявший это внимание, ждал, и вот дождался. Подумаешь, розовый цвет. Какая разница.

– Чего ты не можешь, – грызнул Карлитос, – тебе что, слабо?

Он бросил мне баллончик, я машинально поймал. Стоял, как дурак, не зная, что делать.

– Да ладно, веселуха же, – радовался Витек, распыляя вовсю наполнитель.

– Витек, погнали отсюда. Переночуешь у меня, пошли.

– А как же танк? Смотри, – и Витя оставил мощную розовую полосу, бабий отпечаток на мужественно ржавом панцире танка.

– Что, танк? Что, танк?! – не выдержал я.

Карлитос оглянулся, Витя замолк, и все они ждали, что я скажу. Но нечего было говорить, я швырнул баллон в сумку.

– Харе уже, честное слово.

Я мчал, как трус, сдавленный обидой, растерянный. Как же так, думал, правильно ли сделал, мог ли сделать иначе. Я бежал от новых друзей, от другого Витька, от мутного Бородатого бандюгана, от легких денег и правильной жизни. Все – и великое дело, и борьба за справедливость, вопросы мира и совести, правды и смысла – гнались за мной, а я бежал, бежал, бежал.

Оставив перекресток, обернулся. Появилась откуда-то Мира, он била в бок бесстрашного Карлитоса, тыкала в экран айфона, кричала: «Смотри, думаешь, я не узнаю, где ты? Думаешь, я такая дура, чтобы отпускать тебя одного!»

Карлитос собирал сумку, Витя сидел на бордюре и курил.

А я бежал и бежал. Куда бежать, куда теперь.

Когда прозвенел телефон и я услышал голос Кирюхи, я понял – не нужно никуда бежать. В самом деле, какой к чертям танк – я же собирался набрать ему.

– Кирюха, братан, ты как?

– Да паршиво, если честно...

Боже мой, как я был счастлив. Как счастлив я был.

Наталья ПОЛЯКОВА

Говорят за глаза и вешают за глаза
на нитке от ветки до ветки.
Висишь и сохнешь, и редкая стрекоза
навестит тебя. И дожди редки.

Сохнешь по морю, поджав плавник,
жабры открыв на просушку.
А вечер к пивному бочонку приник,
льёт пену в стеклянную кружку.

Но если представить, что нитки нет,
Нет боли в прошитых глазницах.
И горе – не море. И горя нет.
И рыба немного птица.

Земля погребенная под листвой
Тяжело и медленно дышит,
Как в телефонной трубке знакомый твой
шепчет голос, а я не слышу.
Все подробности осени сметены.
Все сожжено и вырублено под корень.
В этом нет беды и ничьей вины.
Дворник молод, чумаз и проворен.
Но в пространство, освобожденное что Прометей,
Слетятся синицы на ветки рябины.
И мамы, теплее укутав детей,
В санки впрягутся с веревочкой длинной

Дни заносишь в красную книгу –
Тепла исчезающий вид.
Собранную чернику
Свекольный сахар хранит.

Наталья Полякова родилась г. Капустин Яр Астраханской области. Окончила Литературный институт им. А.М. Горького. Автор книг «Клюква слов» (СПб., 2011), «Сага о московском пешеходе» (М., 2012). Лауреат премии им. Риммы Казаковой (2009). Живет в Москве.

Свет узнаёшь по блику,
По привкусу – летние сны
И ночь добавляет чернику
В манную кашу зимы.

На листе альбомном радуга и поляна,
небо синее в белых стриках.
Ждали манну, и привалила манна
в образе манной каши и детских криков.

Скрип качелей и скрип рессоры –
Скрепки, сшивающие пространство.
Отпусти коляску – сама покатится в гору
с пугающим постоянством.

Жизнь – это шликер, а слово – форма.
В небытие выливаешь густые остатки.
На спинке стула синее форма.
И самолет летит, вырванный из тетрадки.

Что если не хватит света нам в лампочке люминесцентной?
Что если погаснет бесценный бесцветно светящийся газ?
Тьма будет расти бесцельно под синюю изолентой
Слоеного низкого неба, темнеющего как раз.

Мы будем слова наощупь искать в онемевших книгах.
Мы будем друг друга по шуму случайных шагов узнавать.
И ветки качаться в окнах, и окна в тревожных бликах.
Деревьев косая пропись ложится в земную тетрадь.

Темно в опустевших гнездах. Скворечников черные дыры.
Лови улетающих порознь в морозную первую стынь.
Бросают на землю розы и вещи несут из квартиры.
И в белый цинковый воздух вливают спокойную синь.

Поднимаешь веки, считаешь до десяти.
В это время катится поле перекасти,
Пустырьник цветет настоящий на высоте,
Лист облетел. Читай по линиям на листе.
Божьей коровки маленький аэродром –
Отпусти ее, как меня отпустил потом:
– Опустевший дом без тебя нелеп,
Принеси мне свет, как приносишь хлеб...

Сергей СЛЕПУХИН

А. Леонтьеву

«Есть странный свет, неяркий и недвижимый,
далекое и тусклое сияние...»
Так символист, прочитанный и книжный,
заводит вновь свое повествование.

Картинность и блаженное виденье –
вот сущностная рифма для поэта,
«жемчужный рай», полуночное бденье –
уже не трогают, не манят вглубь багета.

Так что же отделяет нас от смерти? –
Тьма или Свет? Чувствительная кожа?
На перепутье призрачные черти?
А может, ангелы? Да вроде не похоже.

Кричащее пятно вопит в пейзаже,
звук приглушен иль попросту отключен,
крик чаек омерзительней и гаже
бряцанья размолоченных уключин.

Как луны, светят ангельские лики,
Промерзший тамбур Курского вокзала.
В преддверье смерти – как Бергот великий...
Что, что? Ты, видно, Пруста не читала!

Стая уродливых чаек, чернильные голоса,
с грохотом падают ржавые перья нот,
туч самолётное тело, дряблые телеса,
сладкий душок формалина, морилка, йод.

Сергей Слепухин родился в 1961 году в городе Асбесте Свердловской области. Окончил Свердловский медицинский институт, аспирантуру при кафедре физиологии человека. Публикации в журналах «Звезда», «Уральская новь», «Арион», «Знамя», «Новый берег», «Крещатик», «Волга», «Дети Ра», «Белый ворон», «День и Ночь», «Новый журнал», «Интерпоэзия» и др. Автор семи книг стихов, а также книг эссе совместно с М. Огарковой – «Новые карты Аида» (США, 2009), «Перья и крылья» (США, 2010).

Берег житейского моря, исхоженная тропа,
волны пускают слюни, лязгают пенной губой,
урна с пробитым днищем падает на попа,
крик, уходящий в землю, следом – фальцет, гобой...

Бруно Шульц

Т. Казавчинской

Утиль чернильный, старая газета,
То явь, то мнимость в небосводе век,
Под кучей мусора – ослепшая комета,
На пограничье духа – человек.

Лоснится лысиной небесная посуда,
Колотится в чердачной высоте,
Кишеньке кукол, манекенов, люда –
Затёрты маски, лица в наготу.

Небытие ощупывать глазами,
Зрить визии подзорною трубой –
Как нечисть закопченными слезами
Стекает тараканьей скорлупой.

В карнизы, архивольты, архитравы,
В испод вещей на длинных фитилях –
Мрак пятится натеками отравы,
В дочеловечье ночи сея страх.

И штихель оголяет неофита,
И нечисть убегает па-де-па,
И умирает чудо из графита,
И точен глаз, и молния слепа!..

Лирика

в волнах белого фуляра,
плюшевом тепле
ведьм рабочая отара
рулит на метле
в подчердачье черных елей
лабиринты туч
чужедальний апогелий
непроглядных круч

вредоносное растение
чертов пилотаж

бесов белое роенье
дух заходит аж
громкозвучны трубы плоти
сочен трупный яд
жизнь уносится в полете
к смерти наугад

в черный подпол поднебесий
запад и восток
где течет в густые смеси
белладонный сок
топит робко оробело
влажный оком
где мое живое тело
в неживом твоём

не разлететься не разминуться
ужас в глазах переполнены блюда
крылья не гнутся
конец
так погостило в тебе мое тело
жар погасило сорвалось гостелло
смерть
желторотый птенец

в смертосближенье разбитые птицы
крыльев изломанных острые спицы
лицам не слиться в одно
полное жизни воли и влаги
майского зова напористой тяги
облачное пятно

Было душно, и плакал младенец,
Пахло копотью, жженой звездой,
За стеной простыней, полотенец
Закипал огнедышащий зной.

В голове, как в пустыне, верблюды
Мяли жвачку, блуждали, паслись,
Раскаленной жаровней повсюду
Громыхала чердачная высь.

Шершни, змеи, все бесы броженья
Грозовой разливали металл,

Набухала угроза вторженья,
Черный битум смолою стекал.

Зрела нота тревожной печали,
Беспокойством пылали огни
И пророчеством страшным венчали
Вифлеем в ожиданье резни.

карты святой земли мертвое море в цвете
нудное ремесло снова снимать башмак
сколько тебе говорить ноги за все в ответе
за то что он не приходит а нам не уйти никак

глупые твари люди глупые люди твари
пустошь сухое дерево и ни живой души
мертвое время томится булькает в самоваре
накипь цитатник аввакума житие чан кай ши

нам бы плясать фарандолу альме кадрили фанданго
ноги за все в ответе босые всякий раз
пустошь сухое дерево с неба лендлизом манка
танцы теней в тенетах тела кульбит cool jazz

выход к левой кулисе нервная мимика жесты
изображаем разбойников где вы месье годо
годы мальки плодятся не прекращая инцесты
вот и не рвется а тянется времени мутный гондон

что ты о пыльных картах дагерротипах ветхих
выпей мертвое море иль по нему пройдишь
может и будет спасение если повиснешь на ветке
не упадешь на сцену веревкой затянут ввысь

АЛЕКСЕЙ А. ШЕПЕЛЁВ

ДЕДУШКА DEAD* И АБРЯУТЫ

Рассказ**

Мультфильм про дядюшку Ау мы все смотрели, поэтому и сразу взяли на вооруженье сей образ, а отчасти и само это прозвище...

– Ну что ж вы, эх, – заводил свою привычную пластинку Дядюшка дед, наш квартирохозяин, входя в коридорчик с тазом с помоями, спотыкаясь и чертыхаясь; а тут уж, у стола, он изрекает: – *Не с того вы жизнь начинаете!*

– А мы вот, дядь Володь, вот... так сказать, день рождение у нас... тут... – О.Фертов уж был пьян и по сути мало чем отличался своим цветом и формой от искрошенной кильки, лежавшей у него на брюках.

Или: сидим пьём, все в дулет, и заявляется Дядюшка дед – баклажка с самогоном оперативно убирается под стол, все сразу хватают с холодильника и со шкафа журналы «Нева» и делают вид, что читают... Стыдоба.

Конечно день рож... рождения – уже раз восьмой за полтора месяца, что мы тут живём! Нас обычно четверо, так что на каждого по два уже справили...

А вот и эффект бумеранга – я один сидел как насос, читал по журналу «Защиту Лужина» (одно из двух единственных гениальных набоковских произведений), заваливается дед и давай: ты ж в лоскуты сидишь, вид мне тут воссоздаёшь!

Бывало, спросишь у Дядюшки-дедушки что-нибудь конкретное, например, где взять тряпку для пола, а он отвечает бесплатным философско-историческим экскурсом:

– Мы всё сделаем, погодите, ребята... некогда, а так – *жизнь, её не обманешь!* Я уж пробовал – не получилось. Вовка мой тоже вот женился, а потом вон и пшик... Не тем вы, эх, занимаетесь, не с того жизнь свою начинаете... Я полгорода вон построил, а жизнь, её не износишь, как ту ру...

А то и вообще заносится в самые несусветные дебри, всё на нас, квартирантов, списывая:

– Вы тут, мозгляки, валяется... А бочку-то из двора! алюминивую! по-русски сказать – ... – Вещает он о пропаже двухсотлитровой бочки неподъёмной, врытой в землю, ругая нас абрятами (видимо, искажённое народным обиходом «обэриуты» – весьма по адресу, дидко!). Гвалт стоит на все дворы окрестные, а он, выйдя за ворота и приманивая за собой нас, голосит уже на всю нашу прямую улочку: – Я вам, б..., всё – и то, и то, и сё, а вы... Чтوب у меня порядок был!

При словах «Чтоб у меня порядок был!» или там «Чтоб у меня умывальник был!» (но таз и ныне там, а тряпка позабыта) он жёстко бьёт ребром ладони по другой. Мы всегда ему удивлялись, а напрасно. Как-то раз мы прозрели, что «уважаемая в годах Дядь Володя Макушка» («тон-

* Мёртвый (англ.).

** Полная версия. Первая часть рассказа публиковалась в сборнике «Новые писатели-2014» под названием «Дядюшка дед, морфий и французская революция».

Шепелёв Алексей Александрович родился в 1978 году в селе Сосновка Тамбовской области. Окончил Тамбовский университет, кандидат филологических наук (диссертация по творчеству Достоевского и Набокова). Автор четырех книг прозы и двух книг стихов. Печатался в журналах «Дети Ра», «Дружба народов», «День и ночь», «Волга», «Новый мир», «Нева» и др. Лауреат Международной отметины им. Д. Бурлюка (2003), премии журнала «Север» (2009); лауреат (в составе группы «Общество Зрелища») премии «Нонконформизм» (2013), финалист премии А. Белого (2014). Живет в Москве.

зура» сияет хуже экспоната начищенного, только череп весь красный) всегда при таких пассажах (то есть *всегда, олезйз!*) и сама была, мягко говоря, в подпитии. Ну, благо и мы зачастую...

Впрочем, деда мы всегда побаивались. Не только он Ау дядюшка, но Сэм, как вы догадались. Каждый его приход был маленькой катастрофой. А иногда и довольно большой...

Приехав вечером, зайдя, долив урины для таза, открыв дверь, я обомлел: стоял гроб.

Плотно закрытые двери комнаты со скрипом отверзились, и показался О.Фертов. Он был как бы обдолбан и говорил почти шёпотом.

– Вот, Лёнь, Дядюшка дед-то чё нам подsunул! – сетует О.Фертов. – Сижу вчера вечером, заявляется деда пьянищий, с какими-то мужиками, орёт «Заноси!», вносят гроб с бабушкой, говорит: у вас дня два пусть постоит (это его сестра, что ли), а потом ещё выносить поможете. Поставили на табуретки и смотались. А я остался...

Загипнотизированный присутствием гроба, я застыл на месте и мало понимал, что он говорит.

– Иди, сюда заходи, у меня тут еда... Вот... Я, конечно, человек, ты знаешь, не особо суеверный – подошёл, осмотрел всю бабку – она не страшная и маленькая совсем... Бабушка хорошая... никакого злого умысла в ней нет... никакой жизни... как из воска... как икона какая-то рельефная... лицо, а сама сухая, как из соломы... Я наварил еды, перенёс всё в эту комнату, поел, потом окифирел*, почитал от Спиркина и лёг спать...

– Ну! – вдруг словно проснулся я.

Он внимательно посмотрел на меня: я стоял в каком-то ступоре в центре *другой* комнаты около импровизированного стола и не решался притронуться к пище – рису с тушённой, который аппетитно дымился, остывая.

– Что «ну»? Да ты поешь, Лёнь, не бойся, а то остынет... Я, значит, лёг спать, сам лежу, всё нормально, но ловлю себя на мысли, что думаю всё об одном. Блин! – вскакиваю и туда, включаю свет и смотрю в лицо бабке. Серое какое-то, как каменное, ничем не пахнет, никто не шевелится... Смотрю на часы – без одной двенадцать. Думаю: подожду *эту* минуту. Раз – стрелки вровень – раз – ничего. Скрутил самокрутку, сижу, курю. Только всё как бы кружится – вокруг неё и меня – думаю: откуда такое визуальное ощущение? – и вспомнил наконец: фильм «Вий»! Ну, русский, 68-го, кажется, года... Насмотришься всякой гадости, а потом тебе всё и представляется, тьфу!

– Почему, – возразил я, приступая к еде (а где моя вилка? ненавижу есть чужой или когда он мою хватает!), – фильм хороший... Погоди, схожу за вилкой...

Я быстро прошёл туда, бросив взгляд на бабушку, искал в коридоре вилку, но не нашёл, так же быстро обратно, вновь как бы сфотографировав взглядом.

– Где вилка моя? – в голосе моём уже чувствовались нотки «аристократического» раздражения.

– Да вон моей ешь, какая разница, – отмахнулся О.Фертов.

– Мне нужна моя. Где она?

– Я откуда знаю? Может в столе, в ящике – ты ж туда её стал прятать, забыл?

Стол стоял почти вплотную с гробом – дай бог, чтобы можно было выдвинуть ящичек. Я не стал колебаться пред лицом ОФ и решительно последовал по направлению к мёртвой бабушке.

Да, всё было, как он сказал. Совсем маленькая бабушка в чёрной одежде; казалось, она совсем высохла, не весит ничего, совсем бесплотная, бестелесная, истлевшая, сохранившая только оболочку, но тоже какую-то духовную – невозможно было и подумать о жизненных соках, наполнявших это когда-то молодое тело, буквальных – сексуальных и рабочих соках, например, женском поте, должных частично сохраниться и теперь, но мёртвых, таящихся внутри и ведущих там свою неведомую работу. Морщинистое, отдающее серым лицо, спокойное, кроткое и чуть величественное в неподвижности смерти. Такие же а-ля скульптурные руки, жилистые и морщинистые. Сколько всего они делали, трудно и вообразить – они работали – им не делали маникюры и инъекции герыча, их пальцы не расслюнявливали презервативы, не размазывали кремы, гели,

* Пил крепкий чай, «чифирь».

пенки и скрабы, не наносили на сетчатый тыльник ладони губнушку – для пробы, или маркером одинацатизначный номер – для памяти, не щёлкали пультами и не стачивали клавиши клавиатур, не кидали как в топку чипсы, не мяли под стульями жвачку, не показывали факи... Думаю, не ошибусь, что рождала она семь раз (и ещё два-три аборта), что всех оставшихся в живых она кормила грудью, что эти руки не вылезали из мыльной воды (хоз. мыло, а не крем-бар), очень горячей или очень холодной, дубились и твердели, закалялись, потом мозолились: жали серпом, долбили цепом, молотом, лопатой, ломом, точили напильником, резали резцом, ножом, ножницами, наконец... Боже, всего пятьдесят лет, а какая пропасть! Это суть два разных вида человека – особенно женщины меня интересуют...

Вроде бы всё ничего, всё ясно, ничего не страшно, а всё равно как-то не по себе, как-то страшно...

Я вернулся с вилкой (хотя она и была чистая, я предварительно помыл её в коридоре над тазом).

– Мы, Саша, в школе инсценировали этот фильм, причём уже классе в седьмом – такое сильное впечатление он произвёл на неокрепшее воображение юных советских сельских пионеров! Никто не заставлял! На большой перемене – спонтанно! Этим нельзя было не заняться! Потрясение, катарсис, цепная реакция вдохновения, экспансия искусства в действии! Занят был весь наш класс – все семь человек, даже Колюха! Вот тебе и «Общество Зрелища»! Впрочем, инициатором даже не я был. Но я исполнял главную роль – Хомя, а не Вия, дятел! – и вскоре сам собою сделался режиссёром и художественным руководителем. На главную женскую я, разумеется, как каждый уважающий себя наш брат, взял Яночку... Это единственное моё пересечение с театральным искусством...

– Ну, это не надо – как говорит Коробковец, ты актёр, каких мало!

Я пытался есть; остывший рис с тушёной была уже не столь хорош; а так это довольно неплохое, а главное, простое и дешёвое кушанье: нужно купить пакетик риса (полкило или 0,9) и банку обычной тушёнки (свиной или комбинированной), помыть прямо в бокальчике бокальчика три риса, высыпая из него в кастрюлю, в которой налита в три раза больше воды, чем взяли риса, поставить варить, пока не выпарится вся вода, а самим открыть банку и при готовности добавить её содержимое к горячему рису, хорошенько размешав, рекомендуется посыпать перцем – чёрным или красным, или лучше и тем и другим, можно добавить кетчуп или даже лучше (в сочетании с жестокой смесью перцев) томатную пасту.

– Так вот, когда я, наконец, уснул, я это, естественно, не осознал. Мне представилось, что внутри бабки находится маленькая девочка, и я должен её так сказать...

– Опять! Как ты разнообразен, поражаюсь!

– Мы разнообразны, Олёша, мы. Потом началась такая гадысть, просто не знаю, как это вынести и с ума не сойти!.. Я взял какие-то ножницы, подошёл к бабке, разрезал на ней одежду, вспорол ей брюхо и стал вытаскивать разные осклизлые, вонючие, почти жидкие (разложившиеся, наверно) органы, всё время пытаюсь рукой – мерзкое ощущение, ну, как рыбу потрошишь – нащупать внутри девочку... Я очень нервничал и боялся... Но было и великое презрение ко всей этой никчёмной мертвенной дребедени, а девочка воспринималась как жизнь... как какой-то смысл, что ли...

– Ну и что? – беспристрастным врачебным тоном я пытался скрыть своё нетерпение.

– Ну, я достал ее. Она была очень маленькая – не в смысле там как ребёнок – большая голова, кривые обрубленные ноги и всё такое – а нормальная девочка лет семи, только очень маленькая, как кукла... И неживая, по-моему...

– Ну?! – Я уже ничего не скрывал.

– Ну, я взял её, протёр чуть-чуть и стал думать, как её...

– Что её?!!

– Ну...

Я задумался – вернее, разум мой наполнился не понять чем, как бы затуманился.

– Мне тоже недавно во сне принесли мою мать с отрубленными ступнями... Какие-то люди, и я их знаю, и знаю, что это они и что я должен что-то сделать... Культи в белоснежно-ярких бинтах, залитые тёмно-багровым... А она смотрит и плачет...

И есть уже перестал. Какая тут еда...

Этой ночью было совсем невыносимо; я думал, ужас совсем удушит меня, нас.

Последние метры ОФ буквально дотащил меня. Уже открывали воротину, а мне всё равно казалось, что дом и ворота *там*. Омерзительнейшее ощущение ментального дискомфорта – разные куски реальности из-за нарушения временной субординации действуют одновременно, накладываясь друг на друга. Однако была и мощнейшая радость – как у тонущего в океане, наконец-то вцепившегося в какую-то твердь – всё-таки мы видели свой дом, свою дверь, открыли её, вошли, заперли, включили свет – все эти действия необходимы человеку, как воздух.

Свет казался непривычно ярким. Что-то чёрное – гроб с бабушкой, тоже одетой в чёрное. А мы уж и совсем забыли! Состояние было близким к припадку истерии или бешенства. То, на что мы только что отчаянно вскарабкались, оказалось глыбой льда, которая стремительно растаяла. Мы оба остолбенели, будто погружаясь в пучину бескрайних ледяных вод.

– Надо зайти туда и закрыть двери, а свет пусть горит, – наконец сказал О.Ферттов.

Я сбросил куртку и лёг, накрывшись одеялом, ОФ закрыл двери и тоже лёг.

Я пытался если не заснуть, то сконцентрироваться, но тут пришло иное – при закрытых глазах в темноте представлялись какие-то узоры, предметы, амёбы и рожи – будто разноцветные, светящиеся лазерные проекции – их было множество («как у дурака фантиков»...), они роились и мельтешили, будто специально скопившись сонмом у твоей постели, и не исчезали, когда глаза открывались. Стоило только едва-едва самым краешком мысли подумать о чём-нибудь, как оно – в виде фантомчика – тут же появлялось в центре этой камарильи. Тьфу, сгинь! Я различил удары своего сердца, и мне подумалось, что во мне находится некое подобие барабана-бочки, и кто-то бьёт в него, не поняв кто, а если он перестанет, и что я должен для этого делать... Параллельно с этим я обратил внимание на то, что горло постоянно делает некое движение сглатывания, а также прислушался к звуку своего дыхания, и мне тоже что-то представилось – короче, всё это привело к тому, что у меня совсем пересохло в горле, я перестал дышать, сердце, казалось, тоже остановилось... Я изо всех сил дёрнулся, заорав и треснувшись головой в стенку с железными полками, давшими хороший резонанс.

– Ты что? – сказал ОФ откуда-то издадала.

– Не могу дышать, – выдавил я.

– Думай, что грудь должна подыматься, – равнодушно сказал он.

Я был полностью поглощён этим занятием.

– Хватит сипеть, – сказал он тем же тоном, – дыши животом, надо заснуть.

Я вроде бы и стал засыпать, как слышу: кто-то говорит женским вокалом: «Зд-равс-твуй-те» – смачно, слащавенько, чуть ли не на распев.

«Зд-равс-твуй-те» – произнёс кто-то за дверью. Я проснулся и осознал, что на самом деле это О.Ферттов сказал: «Это я тут».

Я вскочил и распахнул дверь. Он дёрнулся – как будто его застигли за непотребным – и действительно: он стоял над гробом с огромным кухонным ножом.

– На самом деле *это* не то, что ты думаешь, – сказал он со злобной улыбкой помешанного.

– Что? – автоматически сказал я, отступая.

– Ты думаешь, это бабка? – Он ткнул ножом в гроб – в ноги, но кажется, ничего не задев. – Хрен в род! Это *кокон*!

– Саша, – было начал я.

– Все вы ... – внезапно он сделал несколько резких взмахов ножом, от которых я едва сумел увернуться.

– Страшно? – сказал он радостно. – Посмотри мне в глаза: страшно?!

Взгляд его был совсем нездешний. «Вот они, блять!» – вдруг вскрикнул он и бросился ко мне, чуть-чуть не достав – я даже не попытался пошевелиться, а потом сразу в другую сторону, вонзив при этом нож в деревянную стену. Принялся его вытягивать и слегка порезался.

– Саша, успокойся, – снова начал я непонятную ему беседу – я был абсолютно спокоен, хотя спокойствие это нехорошее – оно сродни гипнотическому спокойствию кролика перед удавом.

– ...яша! – взорвался он, напрыгивая на меня, – ты думаешь, «Морфий» кто написал?

– Михаил Афанасьевич – кто же ещё, – ответил я, улыбаясь.

Он весь даже затрясся, заглядывая мне в глаза снизу, – взгляд его был нечеловечески отвратителен.

– Я! – заорал он, хватая меня за рубашку. – Я написал!

Я оттолкнул его, а он, отскочив, схватил с холодильника заварочный чайник и разбил об пол, тут же схватил стакан и запустил в бабку – не попал. Выдрал ножик.

– Я подвержен недугу, но вас-то я исцелю, – заявил он, нацелив взгляд и лезвие ножа сквозь меня *на них*.

Я быстро рассчитал момент – он как раз стоял в аккурат у двери в коридор – бросок к нему с ударом правой в челюсть. Удар был с толчком корпусом, и мы, распахнув дверь, вывалились в коридор. Ещё удар в лицо, удар по руке. Я уже наваливался на него чуть ли не сверху, нанеся несколько жесточайших ударов в голову. Схватил алюминиевый чайник и стал бить им, пока не брызнула кровь – тогда я отпустил хватку бешенства, и он, жалкий и окровавленный, осел, а потом и повалился на пол. Я вытолкал его пинками за дверь и закрыл её на крючок.

Кое-как переведа дух, весь трясясь, я понял, что не ведал, что творил, и сотворил не очень приличное – чайник всмятку, кровь, его кроссовки стоят здесь, а сам он на холоде, одетый в алкоголички и звёздную маечку. Сконцентрировавшись, я припомнил кое-что в виде отдельных кадров – как будто мне показали диафильм или слайды с моими проделками; из анализа отснятого материала следовало, что чайником ему в основном досталось по хребтине, а кровь, вероятно, вытекла из разбитых первыми ударами губы или носа. Дай-то бог, чтоб так, а не хуже, подумал я и открыл дверь.

«Саша, Саша!» – звал я, но его нигде не было. Я облазил весь двор, выбежал на дорогу прямо-езжую, устремился по ней, но тут пришла боязнь, что я не смогу вернуться, и паче того, я ощутил, что замёрз – выскочил-то раздетый. Я вернулся, оделся и продолжил поиски – снова осмотрел двор, забор внутри него и снаружи, дошёл, выкрикивая: «САША!», по улице до магазина, потом до вокзала, покружил там и вернулся чуть ли не бегом.

Делать нечего – я попил воды из чайника, попытался распрямить его молотком, спрятал с глаз долой. Взял тряпку и стал убирать кровь, а потом осколки и заварку, разбросанные по всей комнате с бабушкой.

Выключил свет, лёг. Встал, покурил в коридоре, оставив там свет, а дверь запер. Только я начал засыпать – стук в окно. «Лёнь, это я, открой!» – явился. Я встал, припав к окну: как есть – О.Фертов в носках (благо, он всегда в шерстяных ходит), в отвисших дырявых алкоголичках и своей чудо-маечке, на которой даже незаметна кровь.

– Я осознал, я больше не буду, – сказал он человеческим голосом.

Это было убедительно, я пошёл открывать, но всё равно в глубине души готовясь к худшему – к коварной мести.

– Ты не представляешь, где я побывал! – заявил он с порога, захлёбываясь непонятным мне возбуждением или даже радостью.

– Никак Диснейленд в Тамбове открылся? – остроумничал я.

– Хуже! – сказал он в припадке почти конопельного смеха (так, сейчас начнётся, подумал я, готовясь к худшему), – я попал во Французскую революцию!

– Что значит «попал»? – задал я дежурный вопрос, хотя немного уже представлял, что такое *попасть*.

– Когда я от тебя ушёл, я мало что осознавал – вроде иду по улице и иду – а потом пригляделся: дома какие-то не такие, дальше – костры, гильотины, толпы людей, конные всадники – один и погнался за мной, я бежал по лабиринтам узких улиц, мощёных булыжником, по деревянным тротуарам, всяческим трущобам, по каменному мосту, с краю которого я прыгнул – не в воду, а просто там какая-то насыпь...

Он перевел дыхание, рассматривая меня, как будто ожидая некоего поощрения.

– И что же? – тоном следователя сказал я.

– Всё, – улыбнулся он, – я очнулся под мостом у нас под Студенцом, полчаса вылез из оттуда по помойке, репьям и колючкам.

– И ты этим, как я вижу, доволен?

– Да.

– Хорошо, – сказал я без иронии и даже не тоном психиатра, на всё говорящего «олл кор-рект», а действительно почувствовав какое-то полное умиротворение. – Война, революция, Мед-ный всадник, князь Мышкин, Раскольников, Митя Карамазов – ну да, мой Саша, подсознание человека работает с героическими вещами. Хорошо, когда не страшно. Герой не должен бояться...

Он зевнул.

Был уже пятый час и мы легли спать.

«Как бы он мне глотку не перерезал», – всё-таки мелькнула проклятая мыслишка, и я припод-нялся на локтях посмотреть на него.

– Не бойся, – сказал он, будто прочитав мои мысли, – нормальный О.Фертов.

Верю.

Конечно, поутру мы шли не в школу на практику, как подобало, а в ближайшую «рыгаловку» – на автовокзале. Состояние было отвратное. Даже и пить, даже и пива не хотелось – да и опасно – мало ли что... Всё вокруг было если уж не совсем страшным, как вчера, то неустойчивым, подо-зрительным...

– Вот у Шопенгауэра, – пытался разглагольствовать я, судорожно, но долго подыскивая слова и забегая собеседнику наперёд, – наглядная (в буквальном смысле наглядная!) картинка мира как представления: если все содохнут, останется только одна какая-то одноглазая калека-букажка, то мир будет существовать, не пожухнет, поскольку ею воспринимается, а уж если выколоть, то всё. По мне, реальность – она как абстрактные узоры на обоях – чтобы увидеть в них смысл (напри-мер, зловещий), нужен человек – дядюшка, ау! ищу человека! – да в определённом состоянии – например, с похмелья.

О.Фертов равнодушно хмыкнул.

– У меня так доходило до того, – продолжал неизвестно для кого говоривший оратор, – что я, отливая с будунница в тесном санузле, узрел через клеёнку на стене – посредством не понять откуда возникшего эффекта так называемой 3D-медитации – трёхмерное пространство – ясное, прозрачное и просторное...

– А как лик-то возник! – внезапно оживился и он.

Один раз – как водится, во время похмельной бессонницы – мы смотрели дедов ящичек (у него ещё звука не было), и вдруг на не очень динамичной картинке какого-то фильма я увидел лик – типичный древнерусский Спас – он, естественно, не был явлен по ТВ как таковой, а как бы смутно *проступал*, как будто выключили телевизор – старый советский рыдван, – и на погасшем экране горят рудиментарные цветные пятна. Я хотел сказать О.Фертову, но не стал его пугать – и так было страшновато. «Видишь?» – сказал он. «С прямым тонким носом, почти как у тебя», – сказал я, пытаясь даже пошутить, чтобы не помешаться в этот миг рассудком – взгляд был невы-носим. «Да», – сказал он, и вскоре лик растворился.

«Да...» – повторил я теперешний, вздыхая, и уж в уме клялся себе и товарищу, что никогда больше не притронусь к этой мерзкой... Молоко это варёное с детства ненавижу, а тут ещё пахучее. А свекольный напиток?... – тьфу! И чайник! «Эх, не с того...»

Однако главное, как оказалось, не в воздержании-невоздержании, а в том, что тогда в нас проник сам вирус измены, вселился (или просто проснулся, активизировался внутри) этот мета-

физический страх, и теперь уже нельзя беззаботно наслаждаться ничем, даже вином, нельзя быть уверенным ни в чём, даже в таких обиходно-бытовых вещах, как трёхмерное пространство и линейно текущее время, и, соответственно, даже в собственном существовании в них. Всё какое-то непрочное, неоднозначное, странное и страшное – как для Кастанеды-воина, которого дед Хуан заманил и объегорил, увидевшего и понявшего *другое*, откуда уже возврата нет... Впрочем, тогда мы об том ещё не читали – тут что-то не до чтения...

Полчаса переходили дорогу, взявшись за руки, «как п...ры», пропуская машины, которые ещё метров за сто.

Некий горбатый «москвич», как назло-назло, пересекал дорогу крайне медленно.

«Ну, ты едешь или – за иррумацией заснул?!» – не выдержав, выкрикнул я, даже как-то вместе выкрикнули, а ОФ закрутил риторическую фигуру куда более по-русски. Мы уже видели, что обрашались к лысому, как наш дёда, дедку, восседающему в своём авто с осанкой маршала на параде. Окно было приоткрыто, и хлёткое сравнение его явно заинтересовало. Водитель величественно обернулся, напялив откуда-то взятую ушанку. «Это – он, я узнаю его...» – наш Дядюшка дед!

Дед запоздало затормозил (мы всё дошли, и сразу что-то опять щёлкнуло в черепе и появилась мысль: как прекратить? а если не удастся затормозить?!), сдал назад:

– Э, ребята! поедem со мной, помочь надо.

Мы переглядывались, притормаживая.

– Да не ходите вы уж один день в свою школу – и так не той дорожкой ходите – что я, не знаю, что ль?

Кое-как залезли, сев на железный, грубо сваренный крест, занимающий весь салон седана и даже торчащий сзади из багажника, завязанного на проволоку; едем, молчим, жмёмся.

– Что, ребята, молчите-то как убитые? – казарменным тоном осведомился дед.

– Да хреново как-то, дядь Володь, – еле выдавил за двоих О.Фертов.

– Ничего, щас опохмелимся... Щас схороним, закопаете... закопаем... и нормально... – бурчал дед, протирая запотевшие изнутри стёкла. Мы и дышать боялись.

– А ты, Столовский, – чрезвычайно жёстко вдруг забасил дед, – с ума сойдёшь: так пить нельзя! Как ни приду, он враздуду с дружками, уж еле сидит!.. Длинный у вас там такой есть – уж тоже примелькался – тоже, видно, алкаш... Не с того вы, ребята, жизнь начали – не тем и продолжите... Не дай-то бог!..

– На себя посмотри – как будто ты с того! – тихо высказал О'Фертов мне, а потом громко деду его же текст: – Да, дядь Володь, жизнь-то её не обманешь! Не тем продолжим, и не тем и закончим! Знать судьба наш такой!.. – Я даже удохать не смог – в таком состоянии звучало как настоящий «реквием по мечте». Приехали!

Единственное, что мы осуществили, это вытащили крест из багажника, а потом погрузили туда два табурета. Ещё О.Фертов, который всегда (то есть иногда и не совсем к месту) утверждает, что у него «тонкий художественный вкус» (что тоже весьма спорно), нанялся обкладывать могилу напоминающими саманы пластинами, вырезанными из верхнего слоя земли и скреплёнными вросшей в неё травой. Я просто сидел на лавочке у соседней могилы и наблюдал.

Почему у нас на каждом кладбище, думал я, понаделаны эти железные оградки – тяжелые, громоздкие, грязные и ржавые, то есть практически и эстетически несуразные – будто каждый хочет отгородиться от других, застолбить навечно свой персональный клочок земли – а как же русская соборность и всё прочее? Скорее всего, эта традиция повелась с советских времён, но каковы её психологические причины и значение? – как бессознательное противодействие всеобщему коллективизму-коммунальщине? Хе-хе, как говорит в таких случаях ОФ.

Его, кстати, несколько раз пытались поучать мужики: мол, не так надо класть, и он психанул и всё бросил.

– Что, Столовский, не можешь? – подтрунивал дед.

– Сами не можете, дубы-колдуны! – отмахнулся непризнанный маэстро, подходя ко мне.

– Да, Саша, традиции и новаторство в их единстве и противоречии... – философски заключил я. Дед, кажется, даже расслышал и заключил не менее весомо: «Умный, б...ь, не то что эн-тот». В своей ушанке, не совсем по сентябрю, он опять казался мультиперсонажем – мужичком пластичным прилипчивым: «А может, и ворона...», в руках с арбузом и бутылкой...

Нас не приглашали, и мы держались от мужиков в стороне. Мы смотрели на мусор, навален-ный тут и там – это навевало скачуще-элегическое настроение, и хотелось сквозь тряску и рук, и зубов дегрантно мурлыкать: «Двор-ник, милый дворник, подмети меня с мостовой...» Но тут же в ушах уже стояли и другие песни – с вокалом тем, как будто кошке придавили хвост.

– Подобно тому, яко жизни их были помойками, весьма многие человеци здесь обретаются аще на помойке, – изрёк именующий себя Великим О.Фертов, кое-как стилизуя.

– И зело многие, как и при жизни, – из-за ближнего, близлежащего своего, – дополнил я, кривляясь.

Вспоминалось и своё – кристально, казалось, чистое, без «рокерской лабуды»:

и эта пора сентября –
великолепный осколок лета...
скопление слюней
при мысли о ней...

– Сколько вариантов картины если не «Смерть дегенерата» – нет, это слишком жестоко – картины «Завтрак дегенерата» позволят написать Вам Ваши (всё кривлялся) фантазия и опыт? Телевизор включен или компьютер ентот заморский с порнографией*, а на столе...

ОФ, кажется, кхехекнул, зевая, а сам, как будто по-прежнему меня опасаясь, отошёл и что-то рассматривал поодаль.

– Поди-ка, Олёша, Цезарь, сюда, – ОФ подзывал меня к заросшей могиле, судя по «благо-родному» обращению, с неким умыслом, – видишь цветочки такие, колокольчики – просунь руку и дотронься до цветка.

– Зачем?

– Всё у тебя «зачем»? До абсурда доходит: «О. Шепелёв, дай закурить!» – «Зачем?» – спароди-ровал он меня. – Не хочешь, как хочешь.

Я боязливо потянулся к бутончику и только его коснулся – отдёргнул руку, как током пора-жённый, сердце чуть не разорвалось! – он всего-то резко и со щелчком раскрылся! Довольный О.Фертов вовсю укатывался. После попробовал сам и тоже весь передёрнулся. «Детектор, – ска-зал он, – Отпустила Ли Вас Измена? Олвиз».

Поехали почему-то обратно. Разгрузили табуреты – на них стоял гроб – хорошо хоть не наши – а то как-то... А потом Дядюшка дед и говорит: «Пойдёмте, ребята, выпьем. Вы только не оби-жайтесь». Мы (якобы с похмелья, конечно же) зашли в его нежилую половину – по стакану само-гону. ОФ, не желая подвести, бравадно вытянул весь, но в последний момент поперхнулся, и про-пищав: «Спасибо-ох...», выскочил на порог. Я спросил запить, и дядюшка Володя решился выдать мне какой-то маслянистый кувшин с тёплым маслянисто-тошнотворным компотом – как будто разбавленным рассолом или супом! – я тоже поперхнулся, «Всё», говорю, и тоже быстрее ушёл.

Мы сели у себя, поставив чай и решив спокойно послушать что-нибудь «чуть-чуть опоптими-стичней», и тут подействовал змий. Стали мыгиться, где бы раздобыть выпить – единственный вариант – дед, «поминки» – но ведь стыдно: за кого он нас сочтёт?

Напряжение возрастало – мы нервно ходили туда-сюда, ломая и почему-то потирая руки. Не прошло и десяти минут – хоп! – заваливается деда. «Давайте, ребята, выпивать», – говорит он мягко, выставляя на стол бутылку водки и... банку прозрачной бражки! Тут-то мы и осознали, кто из нас алкаш. Осознали: а есть ли выбор, с чего начать? Есть ли выбор, чему, как дед, учиться?..

2004-2005

* Действие происходит в 1999 году. – Прим. автора.

Сергей БОРОВИКОВ

НЕБУНИН,
или
Россия, которую мы не потеряли

1

Я открыл для себя нового писателя. Мудрено, конечно, под семьдесят, но мудрёнее то, что открыл я его в том периоде русской литературы, который самонадеянно считал более-менее освоенным.

Разумеется, знал, что был такой писатель в начале XX века, что был он крестьянским писателем. И это определение плюс какая-то тоскливая фамилия нагоняли заочную скуку.

Прежде я никогда не заглядывал в сочинения Семёна Подъячева. И, если бы не случай, вряд ли бы заглянул.

В съёмной квартире в Медведково, где жил мой сын, я перебирал книги, оставшиеся от хозяев или от прежних жильцов. Гослитовский том 1955 года издания в коленкоре мышиного, под стать фамилии, цвета. С. Подъячев. Избранное.

Сначала обратил внимание на почти ежестраничное описание русского пьянства, одновременно разнообразное и монотонное в своей кабацкой обречённости. Прекрасный язык, в естественности диалогов разве что Островскому уступит. И – уже не выпускал Подъячева из рук, и увез с собою книгу, оправдываясь тем, что вряд ли кого-нибудь из следующих обитателей московской «однушки» увлекут описания жизни русского социального дна начала прошлого века.

2

Творчество Семёна Павловича вызвало ревность Бунина: «Подъячева я очень мало знаю. Вольный ужасен – груб, преднамерен и т.д. Этих господ, торгующих своим якобы мужицк<им> званием, уже немало, они ездят на гастроли по столицам и ошеломляют интеллигентов – вроде того как, помню, сидел в Москве в Зоологич<еском> саду, прямо на снегу, самоед и весь день насильно жрал сырое мясо, а вечером, вероятно, переодевался и шёл в «Международный ресторан». Письмо Бунина Д. Л. Тальникову, 28 июля 1915, цит. по: И. А. Бунин. Письма 1905–1919 годов. М., 2007. С.345).

А как вспоминал сам Подъячев: «Кормились кое-как картошкой... продавали за бесценок грибы и на эти деньги покупали «чайку, сахарку». Коровы не было. Ее еще весной пришлось продать. В лавке не верили. Отношение ко мне было самое подлое, насмешливо-злое. Кличка «писатель» произносилась с особенным ядом презрения, и ее приходилось молча проглатывать. Дети, жена и сам я были разуты, раздеты и походили на нищих. Мне не в чем было выйти... не было сапог... И вот в это время заболел у меня любимый мой четырехлетний мальчик. Заболел, как выяснилось, скарлатиной.

Болезнь была в легкой форме. Все обошлось благополучно. Отлежался дома и, не заразив других, поправился... Но последствия оказались роковыми: простудили мы его, что ли, еще не успевшего поправиться, или еще что, но только появилось какое-то «осложнение», по выражению фельдшера, где-то в почках, и он помер.

Помню, было это часу в девятом утра. Лежал он на постели и тихонько стонал, глядя на меня испуганными, жалкими глазами. Я не знал, что делать. Земская больница от того места, где я живу, находилась неподалеку в селе, версты за полторы, и я, наконец, видя, что ему все хуже и хуже, решил снести его туда.

– В чем же ты пойдешь-то? На ноги-то что наденешь? – плача, спросила жена и добавила: – Господи, вот до чего дожили – выйти не в чем!.. Хуже последних нищих! У нищего – и у того есть... Эх, ты, а еще писатель называется!..

Я промолчал и велел завернуть больного во что-нибудь потеплее.

– Да во что?.. Нету ничего... О, господи! Помрет... помрет... Вижу уж я, что помрет, простудили... от нас помрет...

Плача и причитая, она укутала его в какое-то одеяло, что ли, и я, всунув ноги в полуразвалившиеся резиновые калоши, понес его на руках в больницу. Убитая горем жена, худая и трясущаяся от слез, нищенски одетая в скривляканых «полсапожках», и старший сынишка пошли со мною.

Итти приходилось через поле. Погода выяснилась. Навстречу нам дул ветер, и из разрозненных облаков проглядывало, но не надолго, и снова пряталось солнце. Идти в калошах по распутившейся грязи было тяжело и неловко.

Я торопился, устал, запыхался и, дойдя до больничного, выходявшего одной стороной в поле, глухого забора, не мог дальше нести его. Меня душили слезы. Какая-то невыразимая словами скорбь терзала душу. Я обессилел и остановился.

– Что ты? – испуганно спросила жена, глядя на меня.

– Не могу, – ответил я. – На... снеси ты... здесь недалеко... не могу.

Я передал ей больного. Он, наклонив как-то на бок голову, глядел на меня большими глазами. Я поцеловал его, и он, потихоньку улыбнувшись пересохшими губенками, сказал мне:

– Устал, тятя?..

Я заплакал и побежал от них прочь через поле домой...» («Про себя», 1915).

3

Тексты Подъячева крепко редактировал и чуть ли не дописывал Короленко, который собственно и открыл его. Но у самого Владимира Галактионовича нет такой концентрации «русскости» в ее бесконечной, безудержной и бессмысленной повторяемости и безнадежности. Даже в знаменитом рассказе «Река играет» герой – пьяница-перевозчик Тюлин, исполненный беспробудной лени, в минуту опасности «группируется», и повествование не удручает, оно пронизано светом. Даже в повести о людях дна – «В дурном обществе» – Короленко не отнимает у героев надежды. У Подъячева же – всё мрак. Неожиданно смелые для «простого» писателя образы исполнены порою мрачного же юмора.

Героя повести «Забытые» (1909) хозяин выталкивает из кабака: «Иван Захарович, растопыря руки, как птица крылья, слетел со ступенек вниз и, уткнувшись лицом в грязь, распростерся на мостовой, похожий на бабу, лежащую на родной могиле и громко голосящую...»

Жена обличает во вчерашних грехах лежащего на полу, притворяясь спящим, мужа, причем делает это, «точно обращаясь еще к какому-то невидимому слушателю» (Там же).

Пьяницу сватают вдове: «На то, что Иванушка выпивает, она заметила, махнув рукой:

– Что уж мне про это говорить! Кто нонче, милая, не пьет?.. Знаю я. Мой покойник, царство небесное, вот пил, вот пил!.. И нагладелась я, меня этим не удивишь...

Но и эта баба, выдавшая на своем веку всякие виды, – ошиблась: Иванушка уже на смотринах доказал, что и ее еще можно удивить» (Там же).

Сын покойного следит, как ройот могилу: « – Поглыбжи ройте, поширши, – сказал Иван Минаич, заглядывая в яму. – Папаша человек большой, грузный. Слободней как можно делайте! – Да уж будьте покойны, как в люльке будет лежать папаша. Ни блошки, ни вошки!» (Рассказ «Для хорошего человека», 1928).

Опытный дядя Юфим учит бабу, как отучить мужа от пьянства. Бутылку водки с приоткрытой пробкой «поставь... в стерву... Издохнет, скажем, лошадь аль там корова, шкуру ейную дерут... дух из нее пойдёт... ты, значит в нутро ей эту спасуду и сунь. И пушай, значит, стоит она в ней, покуда вороньё всю стерву не сожрут... А там вынь и поднеси ему стакашек в те поры, когда он с похмелья... Коли начнет с души рвать, говори: слава Богу!» (Повесть «Среди рабочих», 1904).

«...маленький худой, необыкновенно жалкий человек, похожий на курицу-клушку, которую баба, желая отучить от клоктанья, выкупала несколько раз в луже и, отстегав после этой ванны крапивой, бросила...» (Там же).

В избе читают старую газету, что «ребята вечор дали»:

«– Зубы по-ку-паю, – начал мужик читать объявление каким-то замогильным голосом. Растягивая слова, спотыкаясь, плохо видя и разбирая мелкую печать, – искусственные, ста-ры-е... по высокой цене. Плачу за... челюсти от пяти до ста рублей. Плачу и за поломанные челюсти». Вот штука-то! – вскричал он. <...>

– Ах в рот-те! – воскликнул Агап. – Вот бы, а? Да я, кажись, сейчас провалиться, весь рот отдал бы за сто-то целковых, ей-богу. Жевать-то все одно неча скоро придет... издохнешь и с зубами-то... На сто рублей я бы все кашу ел... ей-богу! Вышибить нешто да послать по почте?..» (Рассказ «Семейное торжество», 1910).

Мужик залучил в крестные благоволившего ему барина:

«...дед торопливо, ногами вперёд, слез с печи и, остановившись перед столом, грязный, шершавый, босой, точно какой-нибудь пещерный человек, отвесил барину поклон в пояс.

– Здравствуй, здравствуй, старик! – возвышая голос, крикнул барин. – Садись... присядь...

– Мы постоим, ваше-ся, – сказал дед и, посмотрев на бутылки, облизнул языком губы.

– Ты, тятя, може, рюмочку пропустишь? – спросил у него Агап. – А? Выкушай!.. Налить?

– Н-н-налей... барина поздравлю... Н-н-налей...

– Да ты сядь, – опять сказал барин, – не бойся... сядь...

Дед послушался и присел на скамью.

Агап, сердясь в душе и стыдясь старика, скрепя сердце, делая вид, что он почтительный сын, налил рюмку водки.

Старик жадно выпил, поперхнулся, вытаращил глаза и харкнул на пол.

– Ты, дедушка, небось старые годы помнишь? – спросил барин, разглядывая его. – Я вот отца своего не помню... А ты помнишь?

– Как нам твоего родителя не помнить?.. Все одно, как вот сейчас на тебя гляжу, так и на него.

– Да?

– Сурьезный был, царство небесное, пресветлый рай. Росту был высокого, большого... нос с горбом... говорить много не любил, только, бывало, и слов у него: «на конюшню!» Это, тоись, драть, гм... стегать. Драли в те поры нас, – пояснил старик.

– Гм!

– Драли страсть как, – продолжал старик, – не жалели... Бывало чуть что, «на конюшню!» На рогожке вытаскивали, бывало... в чем душа... истинный господь!

– Вот теперь этого нет... не дерут, – сказал барин и прикусил нижнюю губу.

– Теперь зато вешают, – сказал вдруг, как-то неожиданно, все время молчавший Василий» (Там же).

Мир героев Подъячева не то что полон насилия, он состоит из насилия. Бьют жен, детей, друг друга, измываются над животными. Не хочу, не буду цитировать эпизод из повести «У староверов» (1907), где сын богатого старообрядца избивает кобылу Таньку и, распалившись, заканчивает тем, что начинает ее живую перепиливать...

При неперемненных мелодраматических сюжетных ходах, однообразии композиции, вылезающем нравоучительстве его повестей и рассказов, Подъячев берет читателя тем, что неотрывно глядит в глаза своим героям, не ожидая ни снисхождения к ним других, ни милости Божьей, словно лишь карауля повороты их печальной, часто мрачной, нередко трагической судьбы. Он относится к ним, как к себе, как равный к равным, как обреченный к обреченным, не желая отворачиваться от чужого убожества или прятать собственное. «Серые мои герои беседуют со мной, и я вижу их и живу с ними», – высказанное писательское кредо.

«В тихом тоне его рассказов я слышал странную беспощадность, в которой однако не чувствовалось жестокосердия. Рассказывая, как честный свидетель, он не берёт на себя роль судьи, но он суровее судьи в упрямой твёрдости, с которой изображает людей так, как видит и чувствует их» (М. Горький).

4

Герои Подъячева преимущественно мужики, и сельские, и бывшие – ставшие городскими мастеровыми, рядом с которыми озлобленные, непрестанно рожающие жёны... А также попы, кабатчики, полицейские, нищие, купцы, сельская интеллигенция, монахи. И все пьют.

Вот мужики:

«Село «гуляло»... На улице толпа девушек в разноцветных платьях водила хоровод, крича дикими голосами что-то непонятное и бесконечно-тягучее... Неподалеку от хорова стояли две палатки, в которых бойко шла торговля «гостинцами».

Пьяные мужики и бабы попадались нам навстречу; толпа человек в пятнадцать молодых ребят, с гармошками и бубнами, неистово крича, разгуливала по дороге среди села из одного конца в другой.

В каждой избе в открытые окна виднелись сидевшие за столами нарядно одетые гости. Они закусывали и пили водку.

Вслед за шедшим впереди Соплей мы направились к трактиру и «винополии», стоявшим рядышком на краю села, немного поодаль от мужичьей стройки.

Около трактира, на вывеске которого были намалеваны чайник на подносе, чашки и надпись: «Не ходи туда, здесь лучше», – было особенно шумно...

Дверь «винополии» не стояла на петлях. Оттуда то и дело выскакивали фигуры с полбутылками, бутылками, сотками в руках и тут же, у крыльца, вышибая пробки ладонью правой руки, пили водку прямо из горлышка или же из заранее приготовленной чайной чашки...

Несколько человек пьяных уже валялось около колоды, где привязывают и кормят лошадей, уткнувшись головами в навоз.

Какой-то малый, здоровый, высокий, с красной шеей и налитыми кровью страшными глазами, засучив рукава красной рубашки, ругался скверными словами, вызывая себе «любака», то есть охотника с ним подраться.

Около этого парня вертелся маленький рыжебородый мужичонко, плача пьяными, обильными слезами, старался ухватить парня за руку и кричал:

– Василь Егорыч, пере-е-е-стань!.. по-о-лно... оставь!.. н-н-н-нехорошо! Василь Егорыч!!! Христо-о-о-м богом прошу...

Из трактира неслись на улицу дикие крики и песни... Напившиеся около «винополии» шли туда пить чай и вообще проводить время... Трактирщик, злобный, уже не молодой мужик, прежде, до казенной продажи, торговавший водкой, вместе со своим «половым» выпроваживал то и дело чересчур пьяных гостей вон за дверь, смазывая предварительно им для потехи затылки горчицей...

– Черти! – орал он. – Какой от вас барыш... чашки только воруете... Сидите за пятачок-то целый день... Канитесь с вами!..

Совсем пьяный, оборванный нищий, точно выкупанный в грязи, с подбитыми глазами и содранной переносицей, с мешком за плечами и корзиной в руках, выпихнутый из трактира, споткнулся и упал навзничь, раскинув руки и крепко ударившись затылком об землю... Корзинка полетела, из нее посыпались в стороны кусочки черного и белого хлеба.

– Во как у нас! – крикнул нищий и стал было подниматься. – Во как! – повторил он и упал снова.

Какая-то краснощекая, обтрепанная, пьяная «гуляющая» бабенка, дико хохоча, подскочила к нищему и села ему на лицо...

Видевшие это загоготали.

– Марфушка, что ты, чорт! Задушишь, дьявол!.. Встань!.. Ах, дуй ты горой!..

Два каких-то парня, по-видимому, из фабричных, в пиджаках, жилетках, «при часах», оба испитые, бледные, как смерть, затеяли ссору, которая перешла в драку... Один из них, потрезвее и посильнее, толкнул другого в грудь... Тот, как сноп, повалился на землю навзничь и со всего маху при падении ударился затылком об острый угол крыльца... Брызнувшая кровь сразу смочила ему волосы и потекла по щекам от висков к страшно кривившемуся в одну сторону рту... Он начал ерзать по земле руками, как заяц, у которого перешибли задние ноги, стараясь подняться... Из перекосившегося рта показалась пена... Он что-то бормотал, и в горле у него булькало, как в бутылке... Один глаз залился кровью, другой, побелевший, дико вращался, бессмысленно и страшно.

Толкнувший его парень нисколько, по-видимому, не испугался, наблюдавшие эту сцену хотя и обратили на нее внимание, но, по-видимому, только с смешной стороны... Один только трактирщик, которому сказали про это, вышел на крыльцо, посмотрел и произнес:

– Убрать бы его, ребята, от греха.

– Кой чорт ему деется... встанет!»

(«Среди рабочих», 1904).

Вот учителя:

«Свет от фонаря падал на лицо пьяного учителя, страшное и вместе жалкое... Глаза были «оловянные», широко открытые, точно у безумного, нижняя челюсть отвисла. Из-под надетой на затылок фуражки падали на лоб и прилипли к нему мокрые, как сосульки, волосы... Он хмурил то и дело брови и кричал осипшим голосом, обращаясь не то к учителю, своему соседу, не то к управляющему.

– Я... я, – кричал он, – сверхчеловек!.. «По ту сторону добра и зла...» Я кто?.. Я сам Нище... Нище – осел... А ты кто?.. А?

– А ты пьяный дурак, – ответил ему второй учитель в поддевке, – сиди уж... ворона!..

<...>

– Что же? Мы, по-твоему, значит, никакой пользы не принесли за восемнадцать лет службы на земской-то ниве? – воскликнул учитель в крылатке.

– А я почему знаю... Да и какая польза-то? Сопливых мальчишек учить... Ха! «Птичка божия не знает ни заботы, ни труда»... Эх-хе-хе!.. Друг, поверь, везде вопиющее противоречие между словом и делом... Что мы можем?.. Польза, польза!.. Вот, пока ты пьян, о

пользе толкуешь, а завтра... Завтра тебе, брат, твой бор, которого, я слышал, хочешь резать, будет дороже, интереснее, милее, так сказать, этих сопливых, паршивых мальчишек, которые надоели мне до смерти, да и тебе тоже... Да и вообще ушел бы я сейчас с этого проклятого места... Будь оно проклято!.. Всю кровь высосали... Польза!.. Тьфу... Наливай водки!..

– Нет, врешь! Я этого не сделаю, – наливая водку в стакан и мрачно хмурясь, сказал учитель в крылатке. – Я своего поста не брошу. За целковым не гонюсь... Нет, врешь! Ты на свой аршин меряешь... Так ведь ты кто, чорт тебя знает! Ты только и думаешь, как бы того, приобрести... Тебе бы торговать, вот что! Вообще ты, брат, гадкий человек, все на чужой счет норовишь... Опошиллся... Нет, ты не учитель! Ты – гад!..

– Ругайся, я не обижусь! – делая вид, что ему все равно, произнес учитель в поддевке и выпил водку. – Вот уж, – продолжал он и как-то скверно подмигнул глазом, – приедем домой, культурные люди... Встретят нас жены... Да, поблагодарит тебя твоя!.. Ты уж лучше и не ходи к ней, а полезай, как в прошлом году, на вербу, да там и сиди, пока дурь не сойдет.

Он обернулся ко мне и, захихикав, скаля черные зубы, продолжал:

– Его жена колотит, ей-богу! Культурного-то, пользу-то который приносит... он от нее на вербу прячется... хи-хи-хи!..

– Молчи! – закричал учитель в крылатке, стукнув кулаком по столу.

– Хи-хи-хи! – снова начал учитель в поддевке. – Не любишь?.. И спросит она у тебя, – смеясь и басом вдруг заговорил он: – «Где взял денег? Ответствуй!..» Что тогда?.. Хи-хи-хи!

Учитель в крылатке молча налил целый стакан и, не отрываясь, выпил.

– По-о-одлец! – проговорил он, переведя дух, и налил еще. – Пей! – обратился он ко мне.

Я отказался и посоветовал ехать дальше.

– Поспеешь! – ответил он и выпил еще... Немного погодя лицо его побелело, глаза как-то остановились и стали страшны... Он начал плакать.

– Убью себя... убью!.. убью!.. у-у-убью!..» (Там же).

Вот монастырь:

Нанявшиеся в монастырь косить, в «странне», доме для странников. Отец Пимен, их опекающий, охотно бежит за водкой. «Он взял половинку, скovyрнул ногтем сургуч и, ударив ладонью по донышку, вышиб пробку...

– Пошла душу в рай. Хвостиком завияля! – сказал он и жадно начал пить прямо из горлышка. <...> – Дайка-сь курнуть, – протянул он ко мне руку... <...>

– Забирает складнее!..» (Там же).

А вот монастырский завтрак:

«В трапезной приготовлен был завтрак: капуста с квасом, картошка со свеклой и оставшаяся от вчерашнего ужина черная каша.

Послушники не садились за стол, ожидая отца Зосиму, который пошел к эконому за водкой.

Вскоре он пришел, весь запыхавшись, неся подмышкой «гудуху», и, кроме того, в карманах подрясника торчали у него еще две бутылки.

Радостный гул голосов встретил его. Лица у всех расцвели, стали радостные, добрые... Отца Зосиму окружили...

У многих из послушников оказалась припасенная заранее посуда: у кого половинка, у кого бутылка. Эти запасливые люди, оказывалось, копили водку, выливая свои «банки» в посуду до тех пор, пока она не наполнялась до краев, и тогда уже водка выпивалась сразу...

– Чего пить стакашиками? Лизнешь – и не пахнет... То ли дело сразу... Пить – так пить, чтобы накачивало!..

Отец Зосима дрожащими от волнения руками открыл пробку и начал небольшим граненым стаканчиком, «семериком», обносить косцов.

Тем, которые отливали, он велел подходить после. Таких оказалось человек восемь. Отец Зосима, наливая им банки, сказал:

– Пьяницы, вы, пьяницы горчайшие!... Зависть у вас... нажраться до бесчувствия... Эх, вы!..» (Там же).

Пьют от нищеты, пьют и от богатства. Вот сельский богатей:

«Третья неделя подходила к концу, как он запил.

Сначала он уходил в трактир, к Чалому и пил там на народе, теперь же ослаб, не мог уходить и «жрал», по выражению жены, у себя дома, валяясь с утра до ночи на грязной постели, страшный, совершенно потерявший «лик» человеческий, и осипшим, глухим, точно в пустую бочку, голосом сквернословил.

Около его «логовища», как говорила жена, стояла табуретка, а на ней бутылка, стаканчик «лафитничек» и соленые огурцы.

Через самые короткие промежутки времени он наполнял «лафитничек», выпивал, жевал огурец, плевался и начинал приставать к жене, служившей мишенью для его ругательств.

Ругались они, собственно говоря, оба (жена тоже не оставалась в долгу) и, ругаясь, называли друг дружку на «вы». «Вы, Семен Филатыч», «Вы, Матрена Васильевна».

Со стороны как-то чудно и смешно было слушать их.

Не успел Иван путем перекреститься в передний угол на висевшую там с четырьмя лампадами «божью благодать», как из спальни раздался знакомый ему голос:

– Матрена Васильевна, встаньте передо мной, как лист перед травой... На-а-е-лейте!..

– Пойдем-кась, – сказала Матрена Васильевна, – погляди, полюбуйся, каков он есть.

– Вот к вам Иван Григорьевич пришел, – сказала она лежавшему на боку Семену Филатычу, войдя вместе с Иваном «в спальню», – с праздником пришел поздравить.

Семен Филатыч выгаращил налитые кровью полоумные «бельмы» на Ивана и, помолчав, зарычал:

– А-а-а, Иван!.. Ванька жулик! Че-е-ерная сотня... а-а-а! Водки хошь?.. Выпей, выпей, жулье!..

– Да будет вам, – начала жена, – что вы над собой делаете-то? Кого вы удивить-то этим хотите? Никого вы этим не удивите, себе только вред. Вы встаньте-ка, поглядите на себя в зеркало... на кого вы похожи стали... на всех зверей похожи стали!..» («Как Иван “провёл время”», 1912).

5

В рассказе «Шпитаты» (1913) герой заночевал в незнакомой бедной избе, полной ребятишек. Хозяин сообщил: «– Своих трое да шпитат вон, дери их дёром, двое... в люльке вон... издыхают, да не издохнут...»

Словечко «шпитаты» обозначало взятых в городе на прокорм брошенных детей, за которых государство платит «по четыре бумажки в месяц».

«– Живут?..

– Нет, у меня, бог миловал, не живут...»

Чтобы беспробудно спали, она поит их водой с растертым маком.

Выпив, баба делится с рассказчиком опытом, как помогает «шпитатам» поскорее убраться с этого света, что ей выгодно: «...одна трое суток только всего и пожила-то, а я под ее билет в лавке опосля этого два месяца забирала, быдто под живую... Мне расчет...»

Муж, или пьяный или страдающий с похмелья, стереотипно грозитя и своим и чужим детям: «Об угол расшибу!»

Жуть?

Жуть.

Но когда я пишу эти заметки, то и дело криминальная хроника сообщает, то как прожорливые рыбаки спасают брата и сестру, ползущих голыми по дороге и поедающих траву, в то время как мать совсем неподалеку возвращается из магазина с бутылкой, то как труп умерщвленного голодом в городской квартире младенца родители сохраняют на балконе, то как убил шестерых детей и беременную жену то ли шизофреник-сектант, то ли просто садист-алкоголик, то как в разборках бывшая супруга «заказывает» (мог ли Подъячев вообразить новый смысл этого глагола?) не только соперницу, но и её деток, то как известная актриса избивает взятого на воспитание мальчика и наконец возвращает его, словно негодную покупку, в супермаркет, и еще, и еще, и еще...

Набирают популярность шоу, где бывшие или настоящие супруги или любовники, выясняя, кто кого от кого родил, охотно проходят тест – анализ на родительство. Зрители в студии и, надо полагать, у телевизоров замирают в любопытстве, ожидая театрально преподносимый результат.

Мак в соске? А чем погружают в беспробудный сон завернутых младенцев, под которых побираются в переходах метро многочисленные нищие?

В рассказе «Папаша хресный» (1924) вполне благополучная мать зовет домой сынишку: «Иди, говорят, чертёнок! Убью поленом!»

А сейчас, в начале XXI века то и дело слышишь на улице: «Иди сюда, сволочь такая! Где извожился весь? Достал меня!», и разумеется старый воспитательный глагол: «Убила бы!» Слышу и вижу: молодая мать в прикиде, ребенок разнаряжен, они вылезли из иномарки, она дергает его что есть силы во все стороны, держа в руке мобильник или сигарету. Еще гаже, когда, и все чаще, так же ведут себя молодые папашаи.

В рассказе «Семейное торжество» сноха, поскандалив со свёкром, убивает его скалкой, а вчера, т.е. 7 сентября 2015 года, на саратовских сайтах сообщение: «Юноша до смерти забил деда и бабушку арматурой за нравоучения». И так ежедневно.

Читая Подъячева, нельзя не подумать о том, как недалеко мы ушли, если вообще ушли – от той России, которую, как скорбно полагают г.г. Говорухин и Михалков, «мы потеряли».

Вот, например, метафизический интерес русских людей к политике, и непременно высокой.

Оборванный нищий пропившийся мужик, испросив у рассказчика хлеба и покурить, первым делом задает вопрос: «– Слышал, Думу-то разогнали?» (Рассказ «Разлад», 1908).

А герой повести «Забывтые», несчастный в семейной жизни, повадился ходить в трактир, где вслух читали газеты, которые «зачитывались, переходя из рук в руки, до того, что под конец превращались в какие-то серые, скомканные тряпки, хотя, собственно говоря, по своему духу они были тоже не лучше тряпчонков...» В сильное возбуждение Иван Захарович приводили думские новости. Особенно он ждал, когда, наконец, в Думе зайдёт речь о мещанском сословии: «...про всех говорят, а пишут, а про нас ничего...» Напившись, он превращается в политического оратора, претерпевая на том даже побои.

...Летом я провожу утро на бетонном кусочке саратовской набережной, где купаются в основном малоимущие, бездачные, безтурко-египетско-крымские пенсионеры, более всего старушки, и в их разговорах у них рядом с ценами на рынке или рецептами варенья, то и дело звучит: «Порошенко... Лавров... Меркель...»

Недавно связывали политизированность наших граждан с перестройкой и реформами 90-х, как бы не так! В неприкосновенности пронес русский человек бессмысленную сосредоточенность на большой политике со времен первых Государственных Дум. При

том, что заняться местной политикой, потревожить близлежащую власть он или побойтся, или поленится, или просто не верит в возможность перемен к лучшему. А вот на «всенародный подъём» всегда готов:

«Надвинулась, между тем, как туча в ведро, японская война, и «всколыхнулось болото стоячее»... По соборам, по монастырям, по церквям начались молебствия. Дьякона гремели «во всю пасть»: «И всероссийскому христоролюбивому победоносному воинству мно-о-о-о-тая лета!..» В газетах, особенно в газетах-портянках, которые слушал Иван Захарыч, завопили о российском могуществе... Патриотизм вдруг обуял всех, точно кто неожиданно взял да и завязал каждому глаза платком. Появились карточки «героев»... Замелькали и запестрели всюду их имена. Замелькали и запестрели мудреные названия мест и местечек, где происходили их «геройские» подвиги...

По церквям начались сборы на раненых, сборы солдатам на махорку, сборы на флот, Куропаткину на икону, и т.д. и т.д. Раздавались громоносные речи... Бывшие до войны просто патриотами во время войны стали сверхпатриотами... Появились в продаже картинки с надлежащими подписями в прозе и стихах... Стали появляться на улицах, должно быть, еще николаевские «калеки»: бритые, старые, страшные... Этим бывшим когда-то воинам охотно подавали... Женский пол вдруг стал выказывать военному сословию необыкновенную симпатию... Даже городовые, именовавшиеся до того в просторечии «сеledками», и те вдруг почувствовали себя не сеledками, а, можно сказать – осетрами... Слово «мы» стояло всюду, как туман над болотом...» (Повесть «Забытые»).

В отличие от горьковских босяков, удел героев Подъячева – униженность, никакой Сатин с его «Человек – это звучит гордо» здесь невозможен. А если кто-нибудь и начнет в пьяном виде орать: «Не имеешь права коснуться... Кто я, а?.. Гражданин!.. Что в милостивом манифесте сказано было... забыл? Неприкосновение к личности, вот что!..» то собутыльник предрекает: «Наставят банок, вот тебе и неприкосновение к личности!» – что вскоре и происходит: оратора, побив, выкидывают вон из трактира.

Странное дело, читая Горького и Бунина, я ощущаю длинную временную дистанцию, отделяющую меня от их героев, а персонажи малоизвестного, забытого Подъячева понятны, словно бы мои современники. Вероятно, потому, что он ничего не выдумывал, а писал «из жизни».

Семён Павлович Подъячев родился в 1866 году в деревне Оболяново-Никольское Дмитровского уезда Московской губернии, где умер в 1934 году. Похоронен там же на деревенском кладбище. В 50-ти верстах от Москвы.

Алсу АКМАЛЬДИНОВА, Олег ЛЕКМАНОВ, Михаил СВЕРДЛОВ

«ЭЙ, ВРАТАРЬ, ГОТОВЬСЯ К БОЮ...»:
*Футбол в советской поэзии 1930-х годов*¹

Два существенных обстоятельства определили тематику стихотворений о футболе этого десятилетия – резкое ужесточение идеологического диктата и мощное нарастание футбольного ажиотажа.

Под воздействием пропагандистской машины почти все футбольные метафоры в 1930-е годы попадают в резонанс одной, безусловно доминирующей, – «футбол – война».

Вольно было третьестепенному московскому поэту (Дмитрию Самойлову), судившему в 1932 году конкурс любительских виршей в газете «Физкультура и спорт», бравировать объективностью и либерализмом:

Нас не удовлетворяет, если описание футбольного матча:

Но вот в цветистых майках неизменных
Они встанут в испытанном порядке –
Одиннадцать бойцов голоколенных.
И пляшет мяч под крепкими ногами
И рвутся ввысь крутые дуги «свечек»...

заканчивается так:

Ну что ж, братва, работай-ка ногами,
Тогда и на всемирном стадионе,
Где уж не мяч – винтовки будут с нами,
В последний бой,
В последний бой вступив с врагами,
Им гол уверенно загоним.
(Черноморцев)

Это и есть та самая «идеологическая выдержанность», которую пришивают белыми нитками ради придания стихам хотя бы некоторой общественной ценности².

Но правда-то состоит в том, что самое известное стихотворение десятилетия о футболе (текст марша из кинофильма «Вратарь» Василия Лебедева-Кумача 1936 года, положенный на музыку Исааком Дунаевским) превратило вариацию военной метафоры («футбольный матч – боевое сражение на границах советской Родины») в лозунг. Этот лозунг («Когда настанет час бить врагов, // От всех границ ты их отбивай!») неслучайно был размещен в припеве песни – чтобы повторяться и лучше заучивался:

Ну-ка, солнце, ярче брызни,
Золотыми лучами обжигай!
Эй, товарищ! Больше жизни!
Поспевай, не задерживай, шагай!

Чтобы тело и душа были молоды,
Были молоды, были молоды,
Ты не бойся ни жары и ни холода,
Закаляйся, как сталь!

Физкульт-ура!
Физкульт-ура-ура-ура! Будь готов!
Когда настанет час бить врагов,
От всех границ ты их отбивай!
Левый край! Правый край! Не зевай!

Ну-ка, ветер, гладь нам кожу,
Освежай нашу голову и грудь!
Каждый может стать моложе,
Если ветра веселого хлебнуть!

Ну-ка, дождик, теплой влагой
Ты умой нас огромною рукой,
Напой нас всех отвагой,
А не в меру горячих успокой!

Эй, вратарь, готовься к бою, –
Часовым ты поставлен у ворот!
Ты представь, что за тобою
Полоса пограничная идет!

Чтобы тело и душа были молоды,
Были молоды, были молоды,
Ты не бойся ни жары и ни холода,
Закаляйся, как сталь!

Физкульт-ура!
Физкульт-ура-ура-ура! Будь готов!
Когда настанет час бить врагов,
От всех границ ты их отбивай!
Левый край! Правый край! Не зевай!³

В этой песне с лозунговой броскостью и отчетливостью выражена одна из основных идей ключевого для 1930-х годов *прозаического* текста о советском футболе – той самой повести Льва Кассиля «Вратарь Республики» (1937), по мотивам которой и был поставлен только что упомянутый фильм, – *борьба игроков на поле как идеологическое противостояние между защитниками и врагами СССР*.

Так, о причинах прибытия в нашу страну некой зарубежной команды со зловещим названием «Черные буйволы» в повести рассказывается следующим образом:

Команда ехала с особого разрешения Международной футбольной лиги. Политические соображения заставили блюстителей международных законов футбола согласиться на матч с командой, не входящей в ассоциацию. Непобедимая команда была послана, чтобы раз навсегда доказать, как отстают советские футболисты от европейского класса игры⁴.

На чествовании советской сборной (естественно, обыгравшей «Черных буйволов») герой повести, Антон Кандидов, выступает с речью, в финале которой он пугает уже не футбольных

соперников, а гипотетических врагов на поле боя: когда «за тобой будет что-нибудь поважнее футбольных ворот, то чесать будем еще не так... Одним словом, я думаю, вам и так понятно...»⁵. Наречием «поважнее» здесь определяется соотношение не только между футбольным матчем и военным сражением, но и между различными эпизодами биографии Кандидова: метафора футбола как защиты в повести многослойна и расходится кругами – от малого к большому. Сначала Кандидов в качестве условного вратаря-ловца арбузов защищает честь небольшой артели грузчиков («Мы по арбузной линии зная имеем»⁶), потом «отыгрывает» у Волги затопленный город и одновременно сражается за него в матче («Каждый мяч, как свая... а сваи вбивали, как голы!»⁷), и, наконец, защищает всю Республику⁸. При этом два первых эпизода тесно связаны с третьим военными мотивами: арбузы сложены «бастионами» и Антона «как бы бомбардируют ими»⁹, Волга «снимает осаду и уходит от земляных стен города»¹⁰. Все футбольные и околофутбольные моменты повести, в том числе эпизод с Маяковским, подобно вратарю, защищающимся от нападков слушателей, являются звеньями одной цепи, все они по-своему важны. Это отличает футбольную игру, ведущуюся во «Вратаре Республики», от упомянутого в нем же дореволюционного футбола.

Я мячом ворота сворачивал к чертям собачьим. Мы на тренировке матчи трамвайные с корнем рвали, пропади я пропадом! Дубы гнули, заборы валили, рельсы узлом вязали, из стенки кирпичи высаживали! ... Я вот раз, помню, навесил в ходу... Гольмана к чертям сшиб, сетку насквозь, окно вдребезги, собаку насмерть...¹¹

– в этих полумифических воспоминаниях болельщика дяди Кеши дореволюционный футбол – лишь совокупность разрушительных и бессмысленных действий, в то время как в игре героев нового поколения особенно важна ее функциональность, то, как она способствует продвижению к итоговой цели – защите СССР. Последнее, несомненно, является сильной стороной советского футбола в противовес «старорежимному», и именно поэтому Крайних, выслушав рассказ увлеченного дяди, «ехидно» спрашивает: «А кто в 1910 году англичанам шестнадцать – ноль продал?»¹².

В смысле использования аналогии «футбол – военное сражение» повесть Кассиля – это еще и шаг вперед по сравнению с 1920-ми гг., когда эта аналогия весьма активно эксплуатировалась, а образ вратаря стремительно милитаризовывался. Кульминация матча между советской сборной и «Черными буйволами» – это момент, когда Антон Кандидов неожиданно покидает пост вратаря и на глазах у изумленной публики сам забивает гол в ворота противника. Несмотря на то, что этот поступок Кандидова оценивается далеко не однозначно (его друг Карасик в отчете о матче ставит вопрос о пределе риска), в метафорическом плане он недвусмысленно сигнализирует о готовности к переходу из обороны в наступление.

Уподобление футбола войне в эпоху «Вратаря республики» искривляет тематическую траекторию многих поэтических текстов эпохи. Например, стихотворный фельетон ленинградца Геннадия Фиша «Матч» (1931), начинающийся как вполне невинный репортаж о футбольной встрече, с пятой строфы перерастает в обличение лицемерия церковников на Западе, с тринадцатой – разворачивается в аналогию «футбольный матч – борьба политических партий» и, наконец, завершается метафорически «футбольными» угрозами идеологическим противникам Советского Союза:

Мяч перехвачен, заверчен с лета,
Мяч беком принят на носок;
Мяч, перелетев через ворота,
Туго надутый шлепает в песок.

Шикарную пасовку форвард правый
Принимает – и снова на левый край.

Мяч запутался в бутсах у оравы,
Обведен
и снова справа игра.

Капли пота, выступая, виснут.
Не один сегодня вырежут карман.
На трибунах публика переполняет диспут
Двух в пыли сошедшихся команд.

Свечка и свечка.

Мяч под облаками –
Точкою мелькает в глазу любом.
Вот он звенит и дрожит как пламя, –
Поддан затылком и вынесен лбом.

Он летит, как с голубем легкая записка,
Он горячими молитвами жив:
Его благословил
сам преподобие епископ,
На поле молебен отслужив.

Он сказал командам напоследок,
Тренированную осеняя плоть:
«Победит лишь тот, кому победу
Присудить захочет сам господь.

Ни пасовки, пенделя, ни свечки,
Ни голкипер, верный у ворот –
Только вера в Сына Человечьего.
Благочестие – победу принесет».

И команды истово молились.
Публика молилась.

– Чорт дери!
Все у господа вымаливали милость,
Заклячая громкие пари.

Мяч подхвачен, выброшен, заверчен,
В бутсы бьется.

Слышен кожи звон.
Переверчен человеческим смерчем
Выброшен и снова поведен.

И на мяч,
распластывая в матче,
Грудь свою и руки расплескав,
Рушится голкипер.

Мяч захвачен.
Хавбек бьет его уже с носка.

И трибуны все остервенели.
Чуть не плача, хохоча, стуча,
Шеи вытянув, и в самом деле
Дышат душной камерой мяча.

Дело благочестия решая,
Пендель бит.

И снова мяч ведут.
И идет, идет игра большая –
Два на три
за тридцать семь минут.

А епископ служит сейчас обедню,
Открывая сессию одной из палат.
Речь о благочестии,
на сегодня последнюю,
Слушает торжественный сенат.

Перелетает билья мяч.
Открыта сессия.
Гремит сенат.

Повели.
Начали новый матч
Республиканец и демократ.

Христианнейший председатель сел за стол.
Докладчик-форвард билья повел.
Бэк-демократ принял лбом с носка –
Аплодисментов бурный раскат.

Капли пота, выступая, виснут.
Не один сегодня вырежут карман.
На трибунах публика переполняет диспут
Двух в грязи сошедшихся команд.

Но в одном они согласны:
в силе божьей.
Безработным сам господь поможет.
Если бог не в силах помощь дать –
Смертным остается лишь молчать.

Металлисты, текстиля, шахтеры,
Плотники, монтеры, батраки,
Мы сорвем игру, в которой
Не с ноги играть нам,
не с руки!

Скоро сорван будет этот диспут.
Рефери полезет окорачь.
Извините, преподобие епископ, –
Без молитв войдем мы в этот матч!

Хавбеки и реформистов свора
По сторонкам!

Наши форварда!
Мы вошли в игру,
в игру, в которой
Побеждает армия труда!¹³

Эта зарифмованная агитка легко и без малейшей смены стилистического регистра переходит в финале в прозаический газетный фельетон. Стихотворение «Матч» завершается таким примечанием-разъяснением:

В САСШ молебны перед футбольными состязаниями, а также освящение мячей – дело обычное. Вот, например, выдержка из рапорта центрального бюро чикагских футболистов: «Студенты так молятся перед состязанием, словно готовы отдать богу за победу все в жизни. И действительно, когда юноша с здравым рассудком и сердцем молится, его молитва должна быть услышана. Трудно врагам побить богобоязненную команду». В городе Инглвуд (Калифорния) пастор Горас Кешинг выступил в своей церкви с целой серией проповедей на тему: «Гольф и бог». Сессии конгресса и сената также открываются богослужением¹⁴.

В пару к фельетону Геннадия Фиша приведем здесь стихотворение москвича Сергея Васильева 1933 года «Церковь Петра и Павла», в котором описание футбольной игры тоже было использовано для разоблачения мракобесия церковников, только на этот раз – отечественных, православных. Эти бездушные церковники разворачивают настоящую «войну» с советскими пионерами, играющими в футбол, едва не закончившуюся жертвенной смертью одного из мальчиков:

Отлично помню я этот вечер...
Она созвездием риз пылала,
На Якиманке, в Замоскворечьи
Святая церковь Петра и Павла.
И будто тени, черны и глухи,
Косноязыки, с кадильной речью,
На Якиманку, в Замоскворечье
Стекались скрюченные старухи.
И мне казалось, что солнце гасло,
Обвито в ключья какой-то шерсти...
И густо пахло от этих шестивий
На всю Москву деревянным маслом.
В нелепом грузе своих увечий
Старухи к паперти подступали –
Они тащили к Петру и Павлу
Свои грехи, костыли и свечи.
И это было совсем недавно.
На хрупкой шее моей плескался
Еще в ту пору, легко и славно,
Трехкрылый мой пионерский галстук!
Нас было много таких глазастых,
Таких горластых Сереж и Колей.
Мы все учились в широких классах,
На Якиманке, в советской школе.
Мы там доказывали теоремы,
Читали Пушкина, пели песни.
А как забудутся перемены!
В широких классах нам было тесно,
И мы, как дождик, шумны и рады
(Без всяких «пропусков», как попало),
Врывались в тихий простор ограды
Угрюмой церкви Петра и Павла.
...Урок не мал, но ведь он не вечен –
Из школы вылетев громким граем,

Мы в этот теплый апрельский вечер
 В футбол в церковном саду играли.
 ... Я помню Ганька инсайдом бегал
 (Не то был левым, не то был правым),
 А я отстаивал место бека,
 Которое я занимал по праву!
 Игра на славу была! Но странно:
 Наш лучший кипер Володька Радлов
 Забухал мячик на крышу прямо
 Святейшей церкви Петра и Павла.
 ... Петрова Ганьку мы в этот вечер
 На крышу с лестницы передали;
 И, наконец, мы его дождались:
 Он был с мячом и бежал навстречу!
 Он был с мячом! Но за ним с лопатой
 Бежал псаломщик (косой и ярый).
 И он догнал его и ударил
 Кленовым чернем между лопаток!
 ...Мы в этот вечер ходили стаей,
 Босых шагов завивая петли;
 И в наступившую ночь не спали,
 Не зная, выживет Ганька, нет ли?
 ...С какой тревогой считали числа
 Мы в этот месяц! Хотя мы знали,
 Что Ганьке легче (хоть он печален),
 И что псаломщик куда-то выслан.

Но время – ветер! – летит карьером.
 Мы все расстались по разным тропам:
 Кто стал поэтом, кто инженером,
 А кто, наверно, кассир в Мостропе.
 И все мы знаем: не умер Ганька!
 Он стал талантливым трактористом.
 Он премирован большой тальянкой,
 Широкой, ладной и голосистой.
 И все мы знаем: на месте голом
 Угрюмой церкви Петра и Павла
 Такая светлая встала школа,
 Которой хмуриться не пристало.
 И что на месте иконной чащи,
 На месте затхлых хранилищ ризных,
 Шумит метелицей настоящей
 Большая молодость нашей жизни¹⁵.

Сопоставление этого опуса С. Васильева с футбольными текстами из предыдущей главы позволяет ясно увидеть, чем стихотворения о спорте 1930-х годов радикально отличались от стихотворений о спорте 1920-х годов. Тогда с подлинной страстью изображалась жестокая, зачастую вызывающая у сегодняшнего читателя резкое отторжение, но, действительно, *захватывающая*, *живая* борьба за новый мир и свое место в нем. А вот из стихотворений, описывающих советские футбольные баталии 1930-х годов, в полном соответствии с общими тенденциями эпохи, живая жизнь была тщательно вытравлена. Победе над «старым миром» было положено свершиться где-то там, в прошлом, сегодняшнему же поэту полагалось ностальгически рассказать об этой победе,

а затем перейти к воспеванию прекрасного и застывшего в своей монументальной неподвижности настоящего.

Парадоксально, но в советских футбольных стихотворениях, создававшихся в годы невиданной в мировой истории борьбы с «внутренними врагами» на всех фронтах, эта тема ни разу не была затронута даже намеком. Вся энергия авторов уходила, что называется, в свисток, в плакатные, словно по одному трафарету написанные тексты о борьбе с внешним врагом – с мировой буржуазией и разжигателями войны.

Среди очень редких исключений – первая часть спортивного стихотворения ленинградца Бориса Корнилова «Физкульт-ура!» (1932), в котором истово обличаются ненавистные поэту литературные критики. Впрочем, во второй части Корнилов соскальзывает на привычное для эпохи 1930-х годов объявление войны Западнему миру:

Как значенье, вызов и победа
нашей славной жизни молодой –
колесо и звон велосипеда
и весла упругая ладонь.

Финиша летящая минута,
молодость легка и горяча –
силою надута, как надута
камера футбольного мяча.

Ветер свищет по морю и по лесу,
солнце кожу красит в новый цвет –
все пригодно, все идет на пользу,
ничего отброшенного нет.

Я не знаю, как сказать об этом
(речь моя корявая бедна), –
что загара красноватым цветом
вся покрыта лучшая страна!

Что моя излюбленная слава –
это не рифмованная цветъ, –
это только званье центра-хава,
о котором следует запеть.

Не введи меня во искушенье,
критик, наставитель вечный мой,
ибо здесь возможно возраженье –
выпад легковесный, но прямой.

Получу критическую порку:
мне заявит критика сперва,
что такие дифирамбы спорту –
общие ненужные слова.

Что от диалектики далеко
пролегает мой прискорбный путь –
классовая спорта подоплека
мною не подмечена ничуть.

Томный критик, ты бессонной ночью
позабыл, что значит красота,

обнаружив собственный воочью
синеватый шарик живота.

Мне опять не впрок уроки эти, –
видно, я вступил в порочный круг, –
пусть грозят мне розовые плети
тоненьких твоих, непрочных рук.

Не тебе скакать блохой по классам
и стараться из последних сил, –
полным голосом, тяжелым басом
я тебе отвечу, мой зоил.

Я показывать наглядно буду –
сила посторонняя жива:
вот они огромные – по пуду –
накачали мышцы, буржуа.

Вот они пошли своим парадом
строю нашему наперекор,
недоросли вечные, а рядом
мировой качается рекорд.

Силы всесторонней не затронув,
нарушая собственный покой,
что их заставляет – чемпионов –
двигать только правою рукой?

Заявляю всем: плохая школа,
если результаты таковы,
что такие боги от футбола
абсолютно все без головы!

Так и получается калека,
словно но несчастью навек –
только четвертинка человека,
а отнюдь не целый человек.

Вот она тебе – основа класса –
заявляет прямо о себе
выставкою пушечного мяса
с ядовитой пеной на губе.

Мясники! И песня ваша спета,
и судьбина ваша нелегка,
и с пяти шестых земного света
вас рванет рабочая рука.

Мы пошли громадою – ограда,
лучшие республики сыны –
Всесоюзная спартакиада –
молодость великая страны.

И летят, развернутые в лаву,
песни молодые оттого,

что гордимся как один по праву
красными значками ГТО.

Это вам не бицепсы по пуду,
не рекордов ленты на виду –
это сила, годная повсюду,
годная к прекрасному труду¹⁶.

Осевая «военная» метафора в предвоенное десятилетие явно или скрыто подчинила себе все другие футбольные формулы и идеологемы. Это происходит, в частности, с такими значимыми мотивами, как «пластический» («Футбол – залог физического и душевного здоровья»; «демонстрация силы и красоты»)¹⁷, «динамический» («Футбол – игровое проявление социальной бодрости и активизма») и «природный» («Футбол – это слияние человека со стихиями»; «союз с солнцем, дождем, ветром и зеленой травой»)¹⁸. В одних стихотворениях прямо декларировалось, а в других с очевидностью подразумевалось, что совершенство тела, порыв, готовность к борьбе и «соляная» энергия стадионов должны обеспечить советскому человеку преимущество в физическом развитии, а следовательно, и безоговорочную победу в будущем и последнем классовом бою.

Связь между гимнами здоровью и «боевой» идеологией в стихотворениях о спорте и футболе 1930-х годов Осип Мандельштам, очень тонко чувствовавший такие вещи, в своей рецензии на книгу стихов Аделины Адалис «Власть» (1934) назвал «социальной спайкой»:

Дорога в Балаклаву на автобусе, столы, накрытые в саду (быть может, на курорте, а быть может, и в совхозе), стеклянные шары нагретого степного воздуха, радость волейбола, радость футбола и радость яблока – получают у Адалис эмоциональную округлость, единство, – внутреннюю форму, социальную спайку¹⁹.

Боевой потенциал «социальной спайки» мог быть демонстративно обнажен, как в повести Кассиля и в марше Лебедева-Кумача, соединяющими восторженные строки о «солнце» и «закалке» с призывами «бить врагов» у «границ», или в финале стихотворения тогдашнего ленинградца Александра Гитовича «Родина» (1936), обращенного к СССР:

И если военный ветер
коснется тебя, неистов,
И трубы оркестров армии
опять призовут к борьбе –
Подымут свои винтовки
боксеры и футболисты,
И вновь принесут победу
тебе – и только тебе²⁰.

Или же в стихотворении московского автора Германа Лапсина «Наша команда» (1937), в котором футбольный коллективизм (культ «команды» и «капитана») готов немедленно перерасти в воинский, совокупно направленный, опять же, против внешнего врага:

Ребята, рассаживайтесь по диванам,
Я прочитаю вам этот листок.
...Прошлой весной Сорокина Валу
Мы провожали на Дальний Восток.

Мы с капитаном простились крепко –
Без пышных речей и без громких слов.

Он махнул на прощание кепкой
И спрятал глаза в букете цветов.

Честное слово, ребята, мне больно
Читать короткое это письмо.
Наш капитан команды футбольной...
Наш капитан не вернется домой.

...Ночью с моря воровским десантом
Через границу ворвались враги.
Пули всаживая в диверсантов,
Валя Сорокин геройски погиб.

В дрогнувших пальцах письмо застыло.
Скупые строчки – тяжелый свинец.
И каждому слышно отчетливо было
Биенье одиннадцати сердец.

И мы написали наркому прошение:
– Климентий Ефремович! Просим о том –
Наше футбольное отделение
Пошлите на Дальний Советский Восток²¹.

В тех же стихотворениях, где описывались футбольные матчи между *своими*, то есть, между *советскими* людьми, «социальная спайка» как всегдашняя готовность к бою уходила в неглубокий, ясно различимый подтекст. Приведем для примера стихотворение вятского поэта Андрея Алдана (Семенова) «Футбол» (1933):

Футбол

Широкой юности подарок,
Такой желанный и тугой,
Свистящий мяч над головой.
Во славу верного удара
Я поднимаю голос мой.

Над тишиной осенних дач,
Над потемневшими садами
Пронзенный жадными глазами
Стремится вверх футбольный мяч.

Борьбой и ловкостью гонимый,
Он возвращается. И вот,
Его опять неумолимо
Вратарь по воздуху берет.

И снова солнечный простор,
Мяча упругое вращенье.
Но соревнуясь, нападение
Ведет стремительный напор.

Похожий, с высоты, на блюде,
Молчит притихший стадион.

Мелькает мяч со всех сторон.
Удар ноги, одетой в буцу,
И наполняет сетку звон!

И гулкий гром над игроками.
Домой! Закончена игра.
Но в каждый дом приходит с нами
Борьбы и ловкости пора.

За мяч, свистящий и тугой,
За свежесть глаз, за крепость плеч,
За красоту футбольных встреч
Я поднимаю голос мой!²²

Еще более откровенно всегдашнюю готовность советского человека к отпору и наскоку демонстрирует стихотворение иркутского поэта Иннокентия Луговского «Другу футболисту» (1937), написанное на вполне мирную и даже идиллическую тему – сладостные воспоминания об утраченном детстве:

Помнишь луг?
На команду крича,
Выжимая десятый пот,
Шапку рыжую вместо мяча
Ты гонял от ворот до ворот?

Капитан!
Ты от ярости выл,
Когда зря пропадал твой пыл,
Когда шапка под адский визг
У ворот разлеталась вдрызг.

Вечно радостные года!
Незабвенной памяти песнь!
Я голкипером, помню, тогда
Защищал нашей улицы честь.

Вихри дней по далеким путям,
По заводам, по школам, полям
Разметали нашу семью,
Разогнали команду твою.

Я с футбольной славой, кажись,
Распрощался на долгую жизнь
И теперь по совету врача
Не хватаю штрафного мяча.

Ну, а ты?
Ты, как видно, пока,
Водишь мяч под конвоем носка
И по-прежнему – весел и зол –
Забиваешь за голом гол.

Я шагаю на стадион.
Полосатая майка – он!

Вот она под трибунный гром
Ястребиным мелькает крылом.

Нападению – всех удач!
Я люблюсь, глаза луча,
Геометрией передач,
Хитроумной орбитой мяча.

Черной молнией падает он.
И голкипер атакой смущен.
Нет, не зря, ты, пленив молодежь,
Знаменитым «центром» слывешь.

Твоей славою окружен,
Покидаю я стадион.
Помнишь, помнишь,
Как гнали, крича,
Шапку рыжую вместо мяча?

Вечно радостные года!
Незабвенной памяти песнь!
Я голкипером, помню, тогда
Защищал нашей улицы честь.

Нашей улицы...
Много ль годов!
А теперь на парадах весны
Защищаешь ты честь городов,
Защищаешь ты честь страны!²³

В глаза бросаются многочисленные агрессивные метафоры и сравнения, использованные в этом стихотворении: «адский визг» юных игроков, «мяч под конвоем носка» и мяч, падающий «черной молнией», майка – «ястребиное крыло» и, как апофеоз – военные «парады весны»...²⁴

Другое направление в развертывании «военно-футбольной» метафоры связано прежде всего с нарастанием футбольного бума в 1930-е годы: отчасти в продолжение идеологического мейн-стрима, а отчасти на противоходе ему – все больше набирает силу метафорический оксюморон – «футбол как дружеское сражение»; «как потешный бой». Метафорическая «война понарошку» должна была удовлетворить народную потребности, помимо хлеба, еще и в зрелище, придать мас-сам «заряд» бодрости и оптимизма.

Вот и в стихотворении «Заманчивый маршрут» (1940) того самого Дмитрия Самойлова, высказыванием которого мы открыли эту главу, уподобление мяча снаряду должно усилить ощущение двойного праздника, ассоциирующегося с победой весны над зимой и возрождением природы²⁵, – Первомая и начала футбольного сезона. И в этом стихотворении описание подлинной борьбы подменяется сусальным и бесконфликтным изображением того, как «эх, хорошо в стране советской жить»:

На старте – май! Навстречу ливень света,
Разлив тепла, земли цветущий сад.
Ширококрылый, как мечта поэта,
На яхтах ветер поднял паруса.

На старте – май! Растаявшею льдиной
Окончена дистанция зимы.
За летний приз отважный поединок
За первенство начнем сегодня мы.

На старте – май! Трибунам станет жарко,
Футбольной эры близится заря,
И мяч, набитый порохом азарта,
Как бомба! В сетку! Мимо вратаря!

На старте май и синяя погода.
Сверкают рельсы, реки вдаль зовут.
Романтика туристского похода,
Заманчивый заоблачный маршрут.

На старте – май! Стоногий топот кросса,
Встревожив рощу, замер вдалеке.
Шуршанье шин, блестящие колеса,
И взмах весла, и тонкий звон ракет

На матче – вымпел. Медленное солнце,
Атласной бронзой плечи покрывай!
Мечтатели, кроссмены, марафонцы,
На старте – май!²⁶

Два великих футбольных события инициировали победное шествие этой метафоры. Прежде всего это легендарный визит команды Страны басков в СССР (лето 1937 года).

«Дружеские баталии» с иностранными командами и до этого становились предметом газетных стихотворений. Так, в октябре 1935 года был опубликован поэтический репортаж москвича В. Медведева, написанный в преддверии серии матчей, которую игроки сборной СССР должны были провести с футбольными клубами Турции:

Отъезд

Там, за сетью солнечной завесы,
Вечер созревает – тих и сер.
Покидают шумную Одессу
Футболисты сборной СССР.

В дальний рейс уходят теплоходы,
Дым по дебаркадеру стеля,
И за солнцем, и за непогодой
Скроется советская земля.

И когда их жаркой позолотой
Встретят и Стамбул, и Анкара,
Заволнуются в своих воротах
Замечательные кипера.

Встряхивая утреннюю негу,
Шли мы и на поле, и на старт –
И на пятки Жюлю Лядумегу
Наступала молодость ребят.

Хорошо нам! – зная, предreshая,
Ставим за рекордами рекорд –
Родина богатая, большая,
За плечами каждого встает...

В грозах шестибального разгула
Путь лежит советских кораблей.
Встретят нас в Измире и Стамбуле
Как своих испытанных друзей!²⁷

Но серия из девяти матчей московских, ленинградских, грузинских, украинских и белорусских команд со сборной Страны басков, состоявшаяся летом 1937 года, не идет ни в какое сравнение с прежними международными встречами: по словам Н. Старостина, это было в истории советского футбола «событие необычайное»; он уверял, что «ни до, ни после тех дней» не помнит «такого футбольного ажиотажа»²⁸. Что говорить, если на первые встречи с басками московский стадион «Динамо» принял более двух миллионов (!) заявок из разных городов СССР. Некоторые игроки баскской сборной, первой команды мирового уровня, посетившей советские стадионы, к тому же участвовали в гражданской войне в Испании, чем привычно не преминули воспользоваться авторы газетных отчетов о матчах советских и баскских футболистов. В частности, вездесущий Лев Кассиль в репортаже об игре сборная Страны басков – «Локомотив» развернул уже привычный для нас ряд метафор:

У наших гостей двойная слава. Восемь из них были игроками знаменитой национальной сборной команды, защищавшей цвета Испании в самых ответственных международных матчах. Но есть еще одно обстоятельство, и вот оно-то делает баскских товарищей близкими, родными, знакомыми нам, – все они дрались на фронтах республики. И если в команде Страны басков не хватает 2-3 прославленных игроков, то это потому, что славные бойцы футбольного зеленого поля сложили свои смелые головы на поле битвы²⁹.

О приезде баскских футболистов в Советский Союз как о знаковом событии упомянул и Осип Мандельштам во второй строфе своего, наверное, самого просоветского стихотворения «Стансы», датированного 4-5 июля 1937:

Дорога к Сталину – не сказка,
Но только – жизнь без укоризн:
Футбол – для молодого баска,
Мадрида пламенная жизнь³⁰.

Но еще за день до первой игры сборной Страны басков с советской командой (встреча с «Локомотивом» состоялась 24 июня) газета «Красный спорт» опубликовала стихотворение бывшего североморца Александра Ойслендера, поспешившего воспеть... еще не состоявшийся матч. Так было вольно или невольно подчеркнуто не спортивное, а общественно-политическое, пропагандистское значение предстоящей игры: будущий счет оказывался абсолютно не важным, а важным становилось нечто совершенно другое – дружеская солидарность советского народа с испанцами-республиканцами³¹. Отсюда композиция стихотворения, реализующая метафору «дружеского сражения»; в первой-второй строфах матч увиден как «бой», а ворота – как «крепость», в последних же двух строфах битва разрешается «дружбы ароматом» и провозглашением обоюдной победы:

Футбол

Рукопожатье капитанов,
Свисток – и начат первый бой,

Две хитрых тактики, два плана –
Оставить поле за собой.

Пробить встающие напротив,
Сильнее крепости любой,
Несокрушимые ворота.
Свисток – и начат первый бой!

О, учащенное дыханье,
Вздымающее стадион
На цыпочки... лишь ног мельканье –
И мяч гоним со всех сторон.

Куда ему уйти из сети
Бегущих стойкой форвардов?
О, как шумят мои соседи
С трибуны северных рядов!

...Но стадиону не до счета.
Вдыхая дружбы аромат,
Два полных юности народа
Очередной играют матч.

И чья бы ни была победа
На этот и в грядущий раз –
Крепки рукопожатья: это –
Победа каждого из нас!³²

Неудивительно, что в этом стихотворении акцент сделан не на игре футболистов, а на реакции зрителей – ее описать было гораздо важнее. Автор ставил своей целью изобразить, как «все пять-десять тысяч футбольных зрителей приподнимаются» «на цыпочки в решающую минуту матча» (цитируем пересказ Осипом Мандельштамом футбольного стихотворения еще одного поэта)³³.

Другим определяющим событием в истории советского футбола и, соответственно, в истории советской поэзии о футболе стало начало проведения футбольных первенств СССР весной 1836 года и разрастание первого клубного «великого противостояния»³⁴ – «Спартак» и «Динамо»³⁵. Все способствовало ожесточенности этого противостояния: и соперничество стоящих за ними ведомств (самого богатого – Промкооперации за «Спартак» и самого могущественного – НКВД за «Динамо»), и социальные посылки клубных предпочтений (за «Спартак», например, болели многие представители творческой интеллигенции, композиторы, актеры, писатели – среди них авторы главных футбольных книг Ю. Олеша и Л. Кассиль), и чередующиеся победы в чемпионатах СССР и, наконец, контраст результатов игры с басками («Динамо» два раза проиграло – 1:2 и 4:7, а спартаковцы сенсационно выиграли – 6:2, чем во многом и заслужили статус «народной команды»).

Своего рода прологом к истории футбольных первенств СССР стал легендарный матч, разграниченный московским «Спартак» на Красной площади во время парада физкультурников. Когда мы читаем финал «Вратаря Республики», он воспринимается как своего рода футбольная утопия, прямолинейно разворачивающая метафорическое превращение в футбольное поле главной площади Страны Советов:

...от Лобного места покатился огромный зеленый вал во всю ширину площади.

Спортсмены разматывали гигантскую скатку. Толстый зеленый войлок лег посередине площади, прикрыв камни.

На обоих краях этого зеленого ковра появились белые футбольные ворота с сетками <...>

Антон стоял в воротах. За спиной, за футбольной сеткой с крупными ячейками, витой, старый, мозаичный, высился Василий Блаженный. Солнце висело над шпилями Исторического музея и било прямо в глаза. Судья поднес свисток к губам.

Но в эту минуту куранты Спасской башни стали бить время. Они проиграли вступление, потом стали отвешивать мерные удары счета. На последнем ударе судья просвистел.

Матч начался³⁶.

Но метафора-то эта еще до появления романа реализовалась в действительном ритуале. Скамочное преображение Красной площади в футбольное поле, зеленый ковер, сшитый спартаковскими футболистами почти как в сказке – если не за одну ночь, то все же за самый короткий срок, Сталин на трибуне Мавзолея и рядом первый секретарь ВЛКСМ Косарев с белым платком наготове, чтобы в случае недовольства вождя спешно сигнализировать отбой – об этом как о воплощении утопии в реальность пишет один из организаторов выставочного матча Н. Старостин:

По моему сигналу сотни рук взялись за 120-метровый войлочный рулон и быстро покатали его. Через несколько минут перед глазами зрителей предстала унылая картина. Площадь оказалась покрытой сморщенной, грязно-зеленой хламидой. Но в тот же миг по взмаху моей руки ковер вместе со мной взмыл в воздух, а через секунду от храма Василия Блаженного до Исторического музея, от гостевых трибун до ГУМа раскинулся стадион с изумрудно-зеленым полем, размеченным белоснежными линиями, с черной гаревой беговой дорожкой и золотистым легкоатлетическим сектором³⁷.

После 1936 года, отмеченного началом первенства СССР и матчем на Красной площади, мирно-ожесточенная борьба советских команд и прежде всего двух равновеликих сил – «Спартак» и «Динамо», с ее «антагонистической непредрежденностью»³⁸, захватила самые широкие массы с невиданной силой, что так или иначе отразилось в стихах второй половины 1930-х годов. На страницах «Красного спорта» разворачивается хроника этого и других «сражений», как в стихотворении москвича Валентина Дурова «Матч» (1938), детально рассказывающего об игре киевского «Динамо» с московским «Спартаком»:

Зеленый стадион динамовский открыт,
И в сердце – вновь знакомое волненье.
Попробуй усиди, когда звенит
Проворный мяч футбольного сраженья.

Гудит пред матчем шумный стадион,
Пылают майки радуги цветистей.
Склоняем мы созвездия имен
И обсуждаем шансы футболистов.

Но вот свисток. И тишина
Накрыла стадион в мгновение.
«Спартак» в защите. Как точно
У киевлян пятерка нападения!

И тут бессильны все слова,
И сердце замирает снова:
Плетет Щегоцкий «кружева»,
Пока не встретит Соколова.

– Вот это Вася! – мой сосед
Кричит. – Надежный центр защиты!..
Но Киев жмет. Препятствий нет,
Стена ворот спартаковских пробита.

И тут же – мощь стремительных атак,
И, цепь хавбеков смело разрывая,
Проводит комбинацию «Спартак»,
И бьет под штангу Николай Исаев.

Какое слово крепкое: футбол!
Оно не испытает старости.
И я кричу: «Как мальчиков обвел,
Трех форвардов Андрияша Старостин».

...Вот Гончаренко мяч ведет,
Его движенья выверены, ловки.
Он в угол бьет. Но мяч берет
Вратарь спартаковцев Головкин.

И снова красные теснят,
Их форварды неотразимы,
Но, быстро вырвавшись, подряд
Два раза мимо бьет Касимов.

Свисток судьи. И застывает мяч,
Изведавший порядочно нагрузок.
И шли «болельщики». И обсуждали матч
На первенство Советского Союза³⁹.

Жесткая футбольная стычка и здесь показательно представлена едва ли не как изящный балет: футболист плетет кружева, «пока не встретит» (мягче просто не скажешь!) соперника. Показательно, что момент физического контакта между игроками разных команд просто-напросто выпущен, элиминирован.

Дуров, кажется, был тайным болельщиком «Спартака» (явно отдавать предпочтение тому или иному клубу спортивному поэту не полагалось). Он с видимым удовольствием, хотя и с подчеркнутой объективностью, рассказал в специальном стихотворении-репортаже о победе любимой команды в кубке СССР 1938 года над ленинградским «Электриком»:

В последний раз судьи свисток
Раздался властно. Это значит,
Что можно подвести итог
Борьбы упорной и горячей.

Утих сто первый вал атак,
Отхлынув от стены защиты.
И кубок получил «Спартак»
Трудом и потом им добытый.

Была победа нелегка,
И надо было крепко драться:
Не раз ворота «Спартака»
Атаковали ленинградцы.

Но от ворот оставшись в метре,
«Пятерка» заводилась зря.
И бил под облако «Электрик»,
Смутившись явно вратаря...

Атак стремителен был шквал,
И в вихре сложных комбинаций
«Спартак» напористо играл,
И были смелы ленинградцы.

Могу сказать я от души:
– Сражались резко, но не грубо,
Команды обе хороши,
И честно завоеван кубок!⁴⁰

Дуров здесь хотя и констатирует, что соперникам «надо было крепко драться», но самого описания «драки» в его тексте нет, стихотворение ни капельки не похоже на кровожадные советские вирши о футболе 1920-х годов.

В стихотворениях-репортажах и своего рода эпиникиях того времени раз за разом «склоняются созвездия имен» – героизируются любимые народом «бойцы». Так, как воспетый Дуровым Андрей и его два знаменитых брата Старостины становятся героями восторженной эпиграммы старого юмориста Михаил Пустынина (1937) – с той же напрашивающейся рифмой и с той же гиперболой побежденного времени:

Мы помним о вас каждый час,
Но нет, не забыть и до старости нам,
Прекрасной игры вашей класс.
Привет, вечно юным, всем Старостиным!⁴¹

Мифологизируются и сами команды, как, например, московское «Динамо» после чемпионского для него весеннего первенства СССР 1936 года; в стихотворении Бориса Корнилова «Молодость» «солярному» сравнению («мяч как солнце») метонимически соответствует небесно-голубой цвет динамовской формы, «голубое» и «золотое» также связаны многозначительной метонимией. При этом футбольная эпидейктика одним, но эмфатически выделенным местоимением («спорта *нашего* мастера») указывает на «социальную спайку» и «боевой» подтекст, который, впрочем, снова не реализуется:

Друг за другом,
по ниточке,
прямо –
гром приветствий со всех сторон –
выбегает команда «Динамо»
голубая
на стадион.
Солнца лучики золотые...
начинать бы уже пора,
встали ловкие, молодые
спорта нашего мастера.
Может, рано еще?
не рано,
и судья просвистел: – Играй...
Мяч стремительно от капитана

улетает на правый край.
И рванулась к воротам лавина,
все сильнее, сильнее, сильнее,
вьется ровная луговина –
мяч, как солнце, летит над ней⁴².

А вот горьковский поэт Михаил Шестериков явно болел против московского «Динамо». В его стихотворении «Вратарь» 1937 года с чемпионом этого сезона успешно справляется лишь один (но какой!) игрок неназываемого клуба (по-видимому, великий голкипер московского «Спартак» Анатолий Акимов):

Мяч у динамовцев опять, –
Его инсайд ведет, –
Им надо здорово играть
У них позорный счет.

Они с расчетом мяч дают –
Не легких ждут удач;
Они опять по голу бьют..
Но кипер ловит мяч.

И снова левый край дошел
До самых до ворот.
Сейчас они сквитают гол..
Но кипер мяч берет.

Они дают на правый край
(Теперь, голкипер, плачь!).
Бьет по воротам правый край,
Но кипер ловит мяч.

И не спуская глаз с ворот,
Цветы бросая вниз,
В восторге публика ревет:
– Бис, bravo, кипер, бис!

А нападение, осмелев,
Еще сильнее жмет,
Но кипер прыгает, как лев,
Он все мячи берет.

Он достает из-под штанги,
Берет с любых подач,
У центрафорварда с ноги
Снимает мертвый мяч.

И этот класс игры зато
Такой вздымает рев,
Такую бурю, что никто
Своих не слышит слов.

И только девушка одна
Не разжимает рук.

Ужасно сердится она
На шум и рев вокруг.

Она измучилась душой:
К чему и шум и смех?
Ведь этот кипер не чужой,
Он ей дороже всех.

И с губ слетает потому
Мольба, досада, плач:
– Да не мешайте вы ему
Ловить противный мяч!⁴³

Неистовству «агонистов» футбольного поля соответствует «патос» трибун. Когда стихотворные фельетоны 1930-х годов дают болельщика крупным планом, тот предстает «воюющим» или с собой (во власти навязчивых идей), или с воображаемым врагом (в состоянии маниакальной одержимости). Первый тип находим в стихотворении А. Ойслендера «Мой сосед» (1939); здесь выведен этакий безобидный чудак (ходовое амплуа в тогдашних советских кинокомедиях), чье сознание как бы расколото на две половинки – «Спартак» или «Динамо»⁴⁴:

Кто сильней: «Спартак» или «Динамо»?
Кто возьмет: «Динамо» или «Спартак»?
Целый день гадает все упрямей
Мой сосед, милейший мой чудак!

Он вдогонку мчался за трамваем,
Он хватал билеты на лету.
В октябре дождливом или в мае
Все равно, – он на своем посту.

Он сидит, толкая всех соседей,
К полю прорываясь напрямик.
Что сказать такому непоседе,
Чтобы успокоить хоть на миг?

Не найти такого человека,
Доктора такого, чтобы мог
Вылечить однажды и навеки
Тех, кто этой страстью занемог.

Вариацию этой темы видим в стихотворении Валентина Дурова «Каверзный вопрос», на дату напечатания которого (10 июня 1941 года) невольно обращаешь особое внимание:

Утро серо, утро сыро,
И мечту о солнце брось!
Но с утра в любой квартире
Обсуждается все шире
Очень каверзный вопрос.

И в метро, в кино, в трамвае,
Где бы быть нам ни пришлось, –
Слышим – люди обсуждают,

От волнения замирая,
Тот же каверзный вопрос.

Значит, надо торопиться,
Это значит – началось!
Завожу свою таблицу,
Но придется согласиться –
Труден каверзный вопрос.

Сто статей прочел в газетах,
Их пять пачек набралось.
В них советы и приветия,
Но остался без ответа
Этот каверзный вопрос.

Кто ж сильнее? – ответьте, что ли,
Мне запутаться пришлось:
О сезоне, о футболе
Этот каверзный вопрос⁴⁵.

Как пример второго типа можно привести персонажа фельетона «Сосед» (1933) москвича Андрея Иркутова (Каррика), который тоже рвется «к полю... напрямик», но с другими целями – словно «Аника-воин» из русской поговорки:

Купаясь в море бранных слов,
Крича, ругаясь вволю,
Сосед мой ринуться готов
С трибуны прямо в поле.

Придя в невероятный раж,
Потея, словно в бане,
Он лезет на седьмой этаж
Неповторимой брани.

Его не понимаю я
Смотрю в недоумении:
Как... этот вот?.. вон тот?.. судья
Его привел в волнение?

Тот, что свистит сквозь крик и вой,
Внося в сражение ясность?
Тот, что рискуя головой
Бросается в опасность?

Тот, чьим свистком заверен гол,
Прорвавший оборону,
Кто тщетно подчинить футбол
Пытается закону?..

Он оскорбил вас, мой сосед,
Игру следящий зорко?
Ему вы грозно шлете вслед
И «жулик» и «касторка»?

Вы... Стоп! А где я видел вас?
Я помню вас, не зная...
Ах, да... Вечерний поздний час...
Какая-то пивная...

Вы выходили из дверей
Походкою нетвердой,
И в ярком свете фонарей
Кому-то лезли «в морду».

Дрались, кусаясь и рыча,
Людей сбивали с ног,
Пока у вашего плеча
Не прозвучал свисток.

Вас увели. Ночной туман
Скрыл от меня ваш след...

Ну, да!.. Вы – просто хулиган.
Я вас узнал, сосед!⁴⁶

Такова низшая точка метафорической траектории «футбол – война». Высшую точку попытался обозначить в своем стихотворении 1939 года рано умерший сталинградец Николай Отрада (псевдоним Николая Турочкина). Метафора здесь стремиться дорасти до мирового, универсального принципа: футбол предстает чуть ли не священным воплощением жизни как диалектической борьбы сущего с сущим, что-то вроде гераклитовского «война есть царь вещей, отец вещей». Читателя, пожалуй, может смутить неуклюжесть стихотворения Отрады, но как разительно оно и в этом отличается от большинства гладких и выхолащенных футбольных опытов современников молодого поэта:

Футбол

И ты войдешь. И голос твой потонет
в толпе людей, кричащих вразнобой.
Ты сядешь. И как будто на ладони
большое поле ляжет пред тобой.

И то мгновенье, верь, неуловимо,
когда замрет восторженный народ, –
удар в ворота! Мяч стрелой и... мимо.
Мяч пролетит стрелой мимо ворот.
И, на трибунах крик души исторгнув,
вновь ход игры необычайно строг...

Я сам не раз бывал в таком восторге,
что у соседа пропадал восторг,
но на футбол меня влекло другое,
иные чувства были у меня:
футбол не миг, не зрелище благое,
футбол другое мне напоминал.

Он был похож на то, как ходят тени
по стенам изб вечерней тишиной.
На быстрое движение растений,
сцепление деревьев, переплетенье
ветвей и листьев с беглою луной.

Я находил в нем маленькое сходство
с тем в жизни человеческой, когда
идет борьба прекрасного с уродством
и мыслящего здраво – с сумасбродством.
Борьба меня волнует, как всегда.

Она живет настойчиво и грубо
в полете птиц, в журчании ручья,
определенна,
как игра на кубок,
где никогда не может быть ничья⁴⁷.

Это впечатление усиливается благодаря легко считываемому сходству стихотворения, особенно его четвертой строфы, с поэмой Николая Заболоцкого «Лодейников»⁴⁸ – первоначальный ее вариант Отрада, следивший за современной поэзией, мог прочесть, в частности, в сборнике Заболоцкого «Вторая книга» (1937). Но если в «Лодейникове» растения ведут между собой настоящий бой, то в четвертой строфе «Футбола» противостояние как таковое уходит на второй план, смещается. Борьба на поверку оказывается обратной стороной царящей в природе гармонии: напряженно-динамическая «сердцевина» строфы («движение растений, // сплетение деревьев») обрамлена гораздо более мирными картинами вечерних теней и лунного сияния сливается с ними в одно целое. В результате и футбол начинает восприниматься как предельно возвышенное занятие, достойное стать темой «высокой» поэзии.

Товарищи вспоминали про Николая Отраду как про фанатика футбола, видевшего в этой игре «уладу человечества»⁴⁹ и буквально разрывавшегося «на части между поэзией и футболом»⁵⁰. Может быть, поэтому Отрада, хотя и числился в обойме комсомольских авторов, не захотел ограничить футбольную метафору набором идеологических клише, более того – даже подразумеваемое в последней строке стихотворения слово «победа» он решил истолковать не в пропагандистском, а в философском смысле.

А как же сама собой разумеющаяся формула «футбол – игра»? В своем чистом, не замутненном идеологией виде она уходит на дальнюю периферию, в поэтические катакомбы или в эмиграцию. Характерно, что «свободная стихия» в стихотворении уроженца Одессы Аркадия Штейнберга «Взморье» (1932) сравнивается именно с «забытой футбольной площадкой»:

Кто б мог его от жизни развязать?..
Оно лежит внушительно и шатко,
Большое, старое, – ни дать ни взять,
Забытая футбольная площадка⁵¹.

Это лишний раз указывает, что такие значения, как «футбол – игра стихий», «футбол – игровой прорыв в свободу», являются скорее выпадениями из принятой системы значений. Об этом в подцензурной поэзии теперь можно только обмолвиться, как свердловчанин Константин Реут во «Вступлении в поэму» (1934), описывающем окончание рабочего дня:

Но вдруг (так грузят в склады жечь и цинк)
Внезапный всплеск, как гол в шальном футболе:

Звонок! День израсходовал часы,
Шагами заполняется линолеум⁵².

Дальше уже идет та сфера значений, обратиться к которой в советской печати уже не представлялось возможным. Взять хотя бы метафорический вариант «футбол – игра животных сил», как по волшебству превращающая нужные и ненужные предметы в мяч. Его мы находим, конечно, вне советского контекста, у тогдашнего парижанина Саши Черного в стихотворении «Футбол» (1932), вошедшем в его цикл «На пустыре». В этом стихотворении идеология отсутствует начисто, зато еще одной реалией пополнен реестр предметов, которыми можно играть в футбол, с 1910-х годов составлявшийся русскими поэтами:

Три подмастерья, –
Волосы, как перья,
Руки глистами,
Ноги хлыстами
То в глину, то в ствол, –
Играют в футбол.

Вместо мяча
Бак из-под дегтя...
Скачут, рыча,
Вскинувши когти,
Лупят копытом, –
Визгом сердитым
Тявкает жесь:
Есть!!!

Тихий малыш
В халатике рваном
Притаился, какмышь,
Под старым бурьяном.
Зябкие ручки
В восторге сжимает,
Гладит колючки,
Рот раскрывает,
Гнется налево-направо:
Какая забава!⁵³

То же значение метафоры развернуто в шуточном стихотворении москвича Николая Глазкова «Про футбол» (1939), дополнившем к тому же упомянутый реестр еще одним предметом. Футбол здесь перемещается из сферы целесообразности в сферу свободы – но и пишется это стихотворение заведомо не для печати:

А вот младенца два
Бегут, по лужам мчась.
Все в мире трын-трава,
А шапка – это мяч.
Им она на кой?
Они ее ногой.
Их головы обнажены,
Навыкате безумные глаза.
Бегут те юноши без друга, без жены...
Но все равно: да здравствует азарт!⁵⁴

Единственное известное нам советское стихотворение 1930-х годов о спорте, в котором «социальная спайка» была демонстративно разомкнута, – это «Футбол» харьковчанина Владислава Эллиса. Футбол тут становится лирической темой, метафорически истолкованный как «игровая отдушина», «лечебный бальзам». Характерно, что в этом стихотворении воскрешена и ключевая для 1920-х годов тема футбола, как «злой» и беспощадной борьбы за первенствование:

Футбол

Мне больше всех земных утех
Бальзам, от боли и урона,
С мячом законченный пробег,
Ковром зеленым стадиона.

В кругу несчастий и удач,
Вперед толкающие бури.
Там у ворот, в борьбе за мяч,
Большая жизнь в миниатюре.

Ребят здоровая гурьба,
И мышцы в бронзовом порядке.
На поле честная борьба,
Без политической подкладки.

Она ушла, ее любил,
Страдания временно забыты.
Чудесно горечь растворил,
Забитый мяч, и плач защиты.

Был в комсомоле, – я не вру.
Обрел в борьбе мечту желаний;
За результатную игру,
Освобожденье от собраний!

Но как бы не был зло-упрям,
Огонь горячего подростка.
Была бушующим страстям
Границей, белая полоска!⁵⁵

Но ведь и напечатать свой «Футбол» автору удалось лишь много лет спустя после написания – и в Лос-Анджелесе; да и неизвестно, таков ли был вариант 1930-х годов.

В завершении этой главы обратимся к стихотворению Даниила Хармса «Андор», датированному самым началом интересующего нас сейчас десятилетия – 13-14 января 1931 года, – как к примеру смещения футбольной метафоры поздним поэтическим авангардом. Футбол у Хармса – не просто игра, а *игра саморазворачивающаяся*, вырывающаяся за пределы человеческой воли; от игроков поэтический фокус сдвигается к мячу, именно мяч становится субъектом стихотворения, и люди не состоянии ему помешать. Почему совершается футбол как событие? – потому что так хочет мяч; такова алогическая логика хармсовской футбольной метафоры:

Мяч летел с тремя крестами
быстро люди все местами
поменялись и галдя
устремились дабы мяч

под калитку не проник
устремились напрямик
эка вылезла пружина
из собачей конуры
вышиною в пол аршина
и залаяла кры-кры
одну минуту все стояли
тикал в роще метроном
потом все снова поскакали
важно нюхая долото
пришивая отлетевшие пуговицы
но это было все не то
когда сам сын, вернее мяч
летел красивый импопутный
подпрыгнет около румяч
руками сплещет у ворот
воздушный голубец
потом совсем наоборот
ложится во дворец
и медленно стонет
шатая словарь
и думы палкой гонит:
прочь прочь бродяги
ступайте в гости к Анне Коряге
и думы глотая живого леща
топчет ногами колоши ища
волшебная ночь наступает
волшебная ночь наступает
волшебная кошка съедает сметану
волшебный старик долго кашляя дремлет
волшебный стоит под воротами дворник
волшебная шишка рисует картину:
волшебную лошадь с волшебной уздечкой
волшебная птичка глотает свистульку
и сев на цветочек волшебю свистит
ах девочки куколки где ваши ленточки
у няни в переднике острые щепочки
ах девочки дурочки
полно тужить
холодные снегурочки
будут землю сторожить⁵⁶.

Пусть все приведенные выше тексты 1930-х годов послужат для хармсовского стихотворения контрастным фоном. В отличие даже от Николая Заболоцкого, Хармс как поэт ни на йоту не был ангажирован советской эпохой; его стихотворения (как и Александра Введенского) язык не поворачивается назвать *советскими* или, скажем, *антисоветскими*. Они были *несоветскими*, вписывающимися в контекст мирового авангарда куда органичнее, чем в поэтический советский контекст 1930-х годов⁵⁷.

¹ Статья представляет собой третью главу из подготавливаемой нами монографии-антологии «Футбол в русской поэзии». Первую главу (о футболе в отечественной поэзии 1910-х гг.) см.: Новый

мир. 2014. № 7. С. 156–174; вторую главу (о футболе в отечественной поэзии 1920-х гг.) см.: Новое литературное обозрение. 2015. № 133. С. 112–165.

² С<амойлов> Д. Стихотворные итоги литконкурса // Физкультура и спорт. 1932. № 14. Ср., впрочем, в собственном стихотворении Самойлова: «Фашистскому миру // могилу вырыть // Придется // последней войной беспощадной, – // Так двинь, // молодежь, // по стрелковым тирам, // Лети, молодежь, // на спортплощадки!» (Самойлов Д. Физкультурные рифмы. М.–Л., 1931. С. 5).

³ Коммунист. Череповец. 1937. 27 августа.

⁴ Здесь и далее цитируем по первому книжному изданию: *Кассиль Лев*. Вратарь республики. М., 1939. С. 170–171.

⁵ *Кассиль Л.* Вратарь республики. С. 189.

⁶ Там же. С. 183.

⁷ Там же. С. 183.

⁸ В повести намечен и четвертый, наиболее глобальный уровень защиты: в общезнании гидразировцев Антон профессионально ловит глобус и держит эту «модель планеты» над головой.

⁹ Там же. С. 117.

¹⁰ Там же. С. 131. См. на той же стр. речь председателя: «...каждый из нас сегодня должен стать голкипером, чтобы ворота нашего любимого города остались сухими».

¹¹ Там же. С. 247.

¹² Там же. С. 247.

¹³ *Фиш Г.* Уральский блокнот. М.–Л., 1931. С. 74–78.

¹⁴ Там же. С. 78. Сравним с одним из примечаний в повести Кассиля: «Церковники за границей часто используют приверженность к футболу своих верующих. Не так давно в английском городе Кингстоне, в церкви Св. Павла, для привлечения публики алтарь был заменен футбольными воротами, а попы служили в майках и трусах» (*Кассиль Л.* Вратарь Республики. С. 227).

¹⁵ *Васильев С.* Вторая книга стихов. М., 1936. С. 14–16. Сравним в повести Л. Кассиля, в одном из эпизодов которой в качестве футбольных ворот используются... церковные Царские врата: «Антон стоял в царских вратах. Не целиком покрашенные угодники плавали за его плечами на взбитых облаках» (*Кассиль Л.* Вратарь Республики. С. 227).

¹⁶ Красная газета. 1932. 23 августа. Вечерний выпуск.

¹⁷ Мотив крепости тела советского человека – один из самых частотных в повести Л. Кассиля и вообще ключевой для 1930-х гг.: если 1920-е проходили под знаком борьбы с последствиями массового недоедания и физического истощения во время голода и Гражданской войны, то культура следующего десятилетия работала на закрепление нового физического идеала – избыточно могучего, здорового тела в расцвете сил. В образе Кандидова этот идеал находит свое высшее выражение; приведем только одну цитату из множества напрашивающихся: «Полураздетый, Антон стоял у зеркала. Он поглаживал выпуклую свою грудь, мям бицепсы: – Здоровый я, Карасик! Ох, здоров, как бугай!» (*Кассиль Л.* Вратарь республики. С. 145). См. формулы А. Гольдштейна, интерпретирующие «Вратаря республики»: «Утопия идеального тела, помогающегося совершеннейшей нравственности»; «невинная народная телесность»; «Футбол – это эмблема революционной универсальной культуры, атлетизм и фабула ее духа, сам этот дух, явленный в телесных ритмах агона» (*Гольдштейн А.* Расставание с Нарциссом. Опыты поминальной риторики. М., 1997. С. 206, 210, 212).

¹⁸ А. Гольдштейн выделяет «солярное искусство футбола» как одну из основных формул «Вратаря республики» и смежных текстов (Там же. С. 212).

¹⁹ *Мандельштам О.* Собрание сочинений: в 4-х тт. Т. 3. М., 1994. С. 277. В этом пассаже имеются в виду следующие строки из длинного стихотворения Адалис «Мы город выстроим в степи...»: «Хороший, сильный человек, // Который любит свет и снег, // Или стеклянные шары // Степной лазури и жары, // Бассейны, горные ключи, // Большие яблоки, мячи, // Столы, накрытые в саду, // Большую, чистую еду, // Дорогу в гору, гул морей, // Людей, моторы и зверей!» (*Адалис А.* Власть. М., 1934. С. 43). См. также прямое высказывание о футболе (в паре с хоккеем) в позднейшей «Не поэме» Адалис: «Только футбол и хоккей, – // Спорта святая проповедь – // Ныне и присно // Страсти для новых людей!»

(Адалис А. До начала. М., 1966. С. 44). О советской «социальной спайке» см. отклик Г. Федотова об одной из гастрольных поездок советских футболистов: «Как хороша русская спортивная молодежь в массовых спортивных состязаниях. Какая слаженность, какое единство координационных движений и усилий. Люди, смотревшие русские футбольные команды за границей, отмечал, что сила русской игры не в отдельных достижениях, не в атлетических талантах, а в согласованности и дисциплине» (Федотов Г. П. Полное собрание статей: В 4 т. Т. 3. Paris, 1982. С. 296).

²⁰ Гитович А. Стихи. Л., 1937. С. 93.

²¹ Красный спорт. 1937. 5 ноября. Строка «Он махнул на прощание кепкой» из этого стихотворения напрашивается на сравнение со знаменитыми строками «Он кепчонку, как корону, // Набекрень и пошел на войну» из позднейшей песни Булата Окуджавы «Ленька Королев».

²² Алдан А. Книга стихов. Казань, 1935. С. 23–25.

²³ Луговской И. Россыпи: Стихи. Иркутск, 1937. С. 10–12.

²⁴ Характерно, что, перепечатывая это стихотворение в своей «оттепельной» книжке, Луговской многие агрессивные метафоры и сравнения снял. См.: Луговской И. Шагаю по нашему краю. Новосибирск, 1960. С. 54–55.

²⁵ Об ассоциативной связи открытия футбольного сезона с победой весны и футболе как празднике возрожденной природы см.: Edelman R. Serious Fun. A History of Spectator Sports in the USSR. N.Y. – Oxford, 1993. P. 44–45.

²⁶ Красный спорт. 1940. 1 мая.

²⁷ Красный спорт. 1935. 7 октября. Жюль Лядумег (1906–1973), прославленный французский бегун, серебряный призер Олимпийских игр 1928 года. Первый матч между нашей сборной и футбольной командой Стамбула состоялся 13 октября 1935 года. Сборная СССР победила со счетом 2:1. Вторым матчем (15 октября) закончился ничей (2: 2). Первый матч сборной СССР со сборной народных домов Турции (20 октября) также завершился ничейным результатом (3: 3). Во втором матче сборная СССР победила со счетом 3: 2. 27 октября сборная СССР сыграла с командой Измира вничью (3: 3).

²⁸ Старостин Н. Футбол сквозь годы. М., 1989. С. 32.

²⁹ Кассиль Л. Матч с басками // Известия. 1937. 26 июня.

³⁰ Мандельштам О. Полное собрание стихотворений. СПб., 1995. С. 364.

³¹ Следует заметить, что стихотворение Ойслендера, по-видимому, отражает весьма идеализированное представление о восприятии предстоящего матча. Более правдоподобную картину происходящего дает в своих мемуарах Н. Старостин: «Тогда у начальства широко было распространено мнение, что в международных матчах даже против друзей-соперников советские спортсмены обязаны побеждать. Любое поражение расценивалось как подрыв авторитета социалистической Родины. Высокопоставленными чиновниками овладевало маниакальное желание не отпускать басков, не обыграв их» (Старостин Н. Футбол сквозь годы. С. 34).

³² Красный спорт. 1937. 23 июня.

³³ Мандельштам О. <А. Коваленков. Зеленый берег (1935)> // Мандельштам О. Собрание сочинений: в 4-х тт. Т. 3. С. 412.

³⁴ Слова Н. Старостина (Старостин Н. Футбол сквозь годы. С. 29).

³⁵ О приезде баскских футболистов в СССР и о чемпионатах Советского Союза 1930-х гг. см. увлекательные страницы в книге: Нилин А. Век футбола. М., 1998.

³⁶ Кассиль Л. Вратарь республики. С. 250.

³⁷ Старостин Н. Футбол сквозь годы. С. 31–32.

³⁸ Гольдштейн А. Расставание с Нарциссом. С. 212–213.

³⁹ Красный спорт. 1938. 3 июня.

⁴⁰ Красный спорт. 1938. 15 сентября. Описывается матч за кубок СССР, состоявшийся 14 сентября 1938 года между московским «Спартаком» и ленинградским «Электриком». «Спартак» победил со счетом 3: 2.

⁴¹ Красный спорт. 1937. 25 июля.

⁴² Красный спорт. 1936. 23 июня.

⁴³ Шестериков М. Стихи. Горький, 1937. С. 51–53.

⁴⁴ Разумеется, описывается такой чудак (слесарь-болельщик дядя Кеша) и в повести Л. Кассиля «Вратарь Республики».

⁴⁵ Красный спорт. 1941. 10 июня. Пройдут считанные дни и всех советских людей, включая и футболистов, начнут волновать совсем другие «каверзные вопросы». Приведем еще одно «погодное» стихотворение-шутку о футболе (из «Красного спорта» от 11 августа 1935 года), автором которого был Р. Роман:

В футбол играли летом мы везде:
На суше, в воздухе, в грязи, в воде...
Коль осень угостит погодою такой,
В футбол играть мы будем... под водой.

...О жизни судей беспокоясь,
Дадим ходули им или пробковый пояс!

⁴⁶ Красный спорт. 1933. 30 октября.

⁴⁷ *Отрада Н.* Кочуют зеленые звезды. Волгоград, 1965. С. 9–10.

⁴⁸ Ср.: «...Трава пред ним предстала // стеной сосудов. И любой сосуд // светился жилками и плотью. Трепетала // вся эта плоть и вверх росла, и гул // шел по земле. Прищелкивая по суставам, // прищлепивая, странно шевелясь, // огромный лес травы вытягивался вправо – // туда, где солнце падало, светясь. // И то был бой травы, растений молчаливый бой.» (*Заболоцкий Н.* Вторая книга. Л., 1937. С. 10).

⁴⁹ Из стихотворения Юрия Окунева «Николай Отрада». См.: Николай Отрада: стихи и письма, воспоминания о поэте, посвящения. Волгоград, 2008. С. 114.

⁵⁰ Из стихотворения Виталия Балабина «Улица Николая Отрады» (Там же. С. 116).

⁵¹ *Штейнберг А.* К верховьям. М., 1997. С. 34.

⁵² *Реут К.* Убеждение. Свердловск, 1934. С. 52.

⁵³ *Черный С.* Полное собрание стихотворений и поэм в одном томе. М., 2012. С. 669.

⁵⁴ *Глазков Н.* Хихимора. М., 2007. С. 376.

⁵⁵ *Эллис В.* Избранное. Лос-Анджелес, 1968. С. 60.

⁵⁶ *Хармс Д.* Дней катыбр. Избранные стихотворения. Поэмы. Драматические произведения. М., 1999. С. 172–173.

⁵⁷ Таким взглядом на творчество Хармса мы обязаны М. О. Чудаковой.

Инна ДОМРАЧЕВА

Это даже не то что печаль светла –
Это просто стоит скала,
И из ссадины мёдом течет смола,
Из кедровой сосны ствола.

Это кровь горит, говорит янтарь –
Мухолов, и лукав, и карь.
Замороженный круг молока – январь –
На прилавке лежит, как встарь.

Это суетный правильный слог убог,
Но аккордами я не смог,
Не перчатка в губы – в скулу сапог,
Отвечай и шагай, стрелок.

Позывной бирючий на диво свыт
И бесстрашен как детский стыд.
В немоте по плечи стоишь, укрыт,
Анекдоты трaviшь навзрыд.

Позвоночные сожрут нас, головохордовых,
Нет, чтобы в известняк, и – окаменели,
И любить еще страшно, но уже холодно,
Ты же знаешь, что там, в конце тоннеля.
Болевые окончания стачиваются,
Из Леты в коллектор проникает вода,
И то, что жизнь, в общем-то, не заканчивается,
Понимаешь, когда она заканчивается навсегда.

Внезапное, саднящее родство.
Ты говоришь – «не идеализируй!»
Ой, господи, да было бы кого...
Четырнадцатилетнею задирой

Инна Домрачева родилась в 1977 году в Свердловске. В 2001 году закончила журфак УрГУ (ныне - УрФУ). Живёт и работает в Екатеринбурге. Публикации в журналах «Урал», «Волга», «День и ночь», «Новая реальность», «Белый ворон», в изданиях «Лучшие стихи 2011 года. Антология» и «Антология современной уральской поэзии».

Я становлюсь, беседа с тобой,
Разумным и немного угловатым,
Ты знаешь – целен шарик голубой,
А я отдельно вижу каждый атом.

Вон, баснями вскормили соловья,
И то он знает, что на солнце – пятна.
...И тут я понимаю, что тебя
Уже никак не выдумать обратно.

Иван ВОЛОСЮК

Снег сам собой не образует мифа:
мы бабу снежную лепили – дети скифов,
сакральный смысл оставив на потом,
с кургана покатались кувырком.

А зимы были страшные: страшнее,
чем ночь в бомбоубежище. Дощечки
привязывали вместо лыж к ногам;
и даже если дом не уцелеет,
то в кухне летней как-нибудь у печки
перезимуем и хвалу богам

весной, когда снега сойдут с курганов,
мы выразим посредством истуканов.

Я землю рыл, когда был на мели:
двор почернел, и покосилась хата,
пока меня к утру не увели
какие-то веселые ребята.

Я им твердил: мне золото милей,
и минералов всех оно весомей,

Иван Волосюк родился в 1983 году в г. Дзержинске Донецкой области в семье шахтера. Выпускник русского отделения филологического факультета Донецкого национального университета. Автор 6 сборников стихов. Публикации в журналах «Знамя», «Воздух», «Юность», «Литературная учеба», «Союз писателей», «Крещатик», «Слово/Word». Участник 12 Форума молодых писателей России, СНГ и зарубежья (Липки, 2012).

но лица окружающих людей
сменились чередой физиономий.

И все-таки, когда не бьет медбрат
и кормит санитар без отвращения,
я так хочу пойти в больничный сад
и чем-нибудь попробовать рыть землю.

Диптих

Нет, не надо было ходить слоном...

Игорь Сид

1.

Я был рожден в СССР,
где деготь с медом фифти-фифти,
и ел конфеты «Гулливвер»,
читая Джонатана Свифта.

Другое место на земле
себе мы смутно представляли,
и городами на шкале
остались Хельсинки и Таллинн.

Я больше в городе моем
себя никак не обнаружу,
а мог бы сделать ход конем
и ночью вылезти наружу.

Из несвободного вчера
во вседозволенное завтра
ведет мышинная нора,
куда не втиснешь аргонавта.

2.

Обжарить рыбу с двух сторон,
чтоб масло тоже порыжело,
когда пришел Наполеон
меня убили подо Ржевом.

Хотят ли русские войны
отсюда мне не доглядеться,
а нам снега затем даны,
чтоб никуда от пуль не деться.

Сегодня снова не усну,
но, если что, в подвале свечка,
а дальше будет как в Крыму,
где люди есть и человечки.

София АМИРОВА

Дальний предел зажигал кофейный зрачок,
расширенный до пределов жука.
Железобетонный монстр вязам противостоял.
Деревья, держа оборону, не забывали о смысле.

Смысл – сгорание клейкой листвы в пронзительно желтом,
и снова рождение.

Смерти нет.

На заводе железобетонных конструкций не суждено
девочкам кукол терять.
Только нервы дядям большим
и не только.
Те, кто берут тебя за руки, никогда не возьмут себя в руки.
Зонтики, ручки держа.
В чашку с цветком голубые глаза опрокинутся.
Чуть слеза из небесной норы – и разбита керамика.

Дальний предел зажигает окна сторожки,
вот проходная. И очень холодные стены.
Я пишу на стене (а вот тут осторожно)
Все бессмысленно, кроме тебя и деревьев

Посмотри, прошли все праздники –
Сначала красноречивые,
Потом день банковского работника,
Потом день Святителя Николая,
Потом испанско-мандариновые.

Форма одежды нарядная – белые ленты.
Белые бинты промокают от бурой крови.
Стоим с воздушными шариками в руках,
Праздничная одежда на нас замерзла колом.

Наши друзья тоже пришли на праздник,
Заледевшими елками рядом стоят.
Дедушка Мороз, скажи, а где мой подарок?
Ну че ты, а стихотворение рассказать?

«Тятя, тятя наши сети притащили мертвеца»
И больше не помню ни одного стиха.

Еще Николая Звягинцева «Маяковскую-3».
«Значит лето в Крыму», – поэт говорит.

За эти стихи не дадут даже елочную игрушку,
Что и говорить о пожарной машине, кожаных сапогах.
Снег ложится на головы нам кокосовой стружкой,
Шоколадные зайцы хороводы водят на площадях.

Почему мы не царапали наши имена на деревьях
Не выводили ножом дату и время
На желтых партах, на сиденьях автобусов
На пластиковой столешнице в макдональдсе
Почему не оставили сами себе короткое смс

Узелки развязываются, крестики на руках стираются
Поэтому, мы все нуждаемся в акте разрушения
Ломать не строить! Бывшие злопамятные любовники!
Если что-то давать на память, все равно ничего не останется
Лучше вместо того чтобы плакать я сломала бы тебе ключицу
А лечение требовало хирургического вмешательства

Сейчас, пожалуй, все это стоило записать или снять на видео
Книжка Алексея Парщикова в твердом переплете,
Посуда из нержавеющей стали.
Из колонок плачущий Таривердиев оглушающий Таривердиев
Как будто все было продумано заранее
И теперь никакого вокзала прощания, только встреча в кафе Элефант

Илья СЕМЕНЕНКО-БАСИН

интуитивно постигаемая реальность

жизнь*

*в ней многим цветам негде приткнуться свои ноги
не могу проткнуть своё небо и двинуться дальше
(после сего – имена друзей твоих)

Илья Семененко-Басин родился в 1966 году в Москве. Окончил исторический факультет МГУ им. М.В. Ломоносова. Член Союза писателей Москвы. Доктор исторических наук. Автор поэтических книг: «Ручьевинами серебра» (М.: Время, 2012) и «Мои стихи: В память 100-летия кубофутуризма» (М.: издание автора, 2012). Работы в жанре визуальной поэзии находятся в Собрании конкретной и визуальной поэзии супругов Сакнеров (The Sackner Archive of Concrete and Visual Poetry; Miami) и в архиве Исследовательского центра Восточной Европы (Forschungsstelle Osteuropa; Bremen). Финалист Поэтической премии «Русского Гулливера» 2014 в номинации «поэтическая книга».

контурный рисунок

некий взял всё
поделил надвое
всё, за что сажают – категория А
то, за что теперь не сажают – категория Б

категорию Б презирует он
величайшим презрением
отдув нижнюю губу

в движении: движение не ограничено

SMOKE это не смог
так именуем пейзаж
СОЛЬ это не соль, а художественные материалы
однажды дарили калмыцкий хадаг
бахрома золотая
я его спрятал, не потерял

в сиреновом халате посреди своих вёдер
и мётел
и разглагольствует: может быть
тридцать четвёртый – иностранцы стреляли, хотя
думает, всё же свои

не хватает на всё
выдать бы замуж её за издёвщика
восхищаюсь
бахромкой и мехом, шёрсткой-призраком
мысью
мысью – по смогу из соли

АНДРЕЙ ФАМИЦКИЙ

муравьиную дорожку
я переступлю.

Андрей Фамицкий - поэт, переводчик, критик. Родился и живет в Минске. Публиковался в журналах «Волга», «Неман», «Новая Немига Литературная», альманахе «Минская школа», электронных журналах «Сетевая Словесность», «Новая Реальность», «ЛітРАЖ», коллективном сборнике «Скрипторий». Автор книг стихов «Звезды для одного» (2015), «Хворост» (2015). Главный редактор литературного интернет-портала »Textura.by», куратор проекта «Литературная среда в музее Петруся Бровки». Лонг-лист поэтической «Премии Русского Гулливера» (2014).

вот они таранят мошку,
как простую тлю.

и влачат ее мурашки
за свои холмы.
человечки, умирашки,
чем они – не мы?

В. Ф.

спой мне колыбельную о боли
и укутай в мешковину, что ли.

обмани какой-нибудь уловкой,
обними пеньковою веревкой.

чтобы я ни капельки не плакал,
колесуй, а то и сразу на кол.

если в ласке ты не мастерица,
прояви хоть как-то материнство.

время газонокоса,
злая бензокоса
так, что бензин из носа,
пьет его за глаза.

время быть наготове
мученикам травы,
время зеленой крови,
пролитой зря, увы.

для записных летуний,
самозабвенных пчел,
время вернуться в улей
и не узреть шеол.

Михаил ОКУНЬ

Граффити

Ужели осень?.. В скуке праздной
аллеей желтой прохожу,
и на беседке безобразной
такие перлы нахожу:

«Ich will dich ficken!», «Ich bin Homo-
sexueller...»

Но среди дня,
на языке, до слёз знакомом, –
«Наташка, полижи меня!»

Лижи, лижи его, Наташа!
Над нами кружит вороньё,
чужая речь, земля не наша.
(А может, не его, – её...)

Садовая ловушка для улиток,
оригинальная конструкция,
всего полтора евро.
Мизерная цена
за превращение совершенных созданий
в комок живой слизи...

Звучит так гордо – человеки!
Мой друг, отчизне посвятим!...
Твои – леса, поля и реки,
Ты – слововержец и мейнстрим.

Но вот уж катимся под горку...
Ай Пушкин, ай да сукин сын! –
Как говорил писатель Горький.
Не всяк читал тебя, Максим.

Михаил Окунь родился в 1951 году в Ленинграде. Окончил ЛЭТИ им. В.И.Ульянова (Ленина). Работал радиоинженером, литературным консультантом в ленинградской писательской организации СП СССР, редактором. Автор семи сборников стихов и двух книг прозы. Публикации в журналах «Волга», «Звезда», «Урал», «Нева», «Крещатик», «Интерпоэзия», «Зинзивер», а также в альманахах, антологиях в России, Германии, США, Финляндии. Лауреат премии журнала «Урал» (2006) в номинации «Поэзия». Золотая медаль конкурса «Лучшая книга года – 2010» (Берлин) в номинации «Малая проза», премия журнала «Зинзивер» за 2014г. в номинации «Проза». С 2002 года живет в Германии.

Амир НОЕПАРАСТ

РУССКАЯ СВЯТАЯ В ТЕГЕРАНЕ

Рассказ

Перевод с английского Ольги Новиковой

Мы ехали на вечеринку. Мне нравилось место, которое для нее выбрали – подворье русской православной церкви. Я и прежде много раз бывал там – встречался с грузинскими друзьями. Фарзам (Амир Фарзам) подъехал к двери моего дома, чтобы мы вместе смогли добраться до церкви. Нас обоих пригласили. С Фарзамом мы были близкими друзьями. Почему? Я и сам не знал, как ответить на этот вопрос, и он, по всей видимости, тоже. Мы знали друг друга со старших классов, но поначалу были всего лишь знакомыми, не более. После вступительных экзаменов в университет, во время совместной поездки, мы вдруг обнаружили, что любим одну и ту же музыку, и с тех пор стали близкими друзьями. Настоящими друзьями. Музыка стала поводом для начала дружбы, которая длится до сих пор, а нам уже по двадцать семь. Фарзам говорит, что двадцать семь лет – это возраст метаморфоз. Джим Моррисон внутри вас умирает, вы и сами можете вскоре умереть, но если останетесь живы, то уже никогда не будете прежними. Мы оба переживали личностный кризис. Фарзам был неразговорчив, в отличие от меня. Но всегда наступал такой момент, когда мы оба начинали молчать. Обычно это случалось в автомобиле. Со многими моими друзьями поездка на автомобиле не доставляла удовольствия: во время движения они выключали музыку, чтобы поговорить о каких-то важных вещах. Фарзам был не такой. Мы с удовольствием слушали музыку, с удовольствием пили и едва ли не с большим удовольствием ели. То есть все начиналось с верхушки пирамиды Маслоу, но на более низких уровнях градус веселья только возрастал. Так и в этот вечер мы, как обычно слушая музыку, мчали на машине по Модаррес-хайвей, до площади Хафте-тир в центре города. Мы молчали, музыка гремела, и это было особенно круто еще и потому, что на дороге абсолютно не было машин – редкий случай в Тегеране. Когда мы доехали до площади, Фарзам спросил:

– Интересно, там кормить хорошо будут?

– Конечно, – ответил я. – Не помнишь разве? Тамила и ее друзья классно готовят.

Но он ничего не помнил, потому что на прошлой вечеринке, когда Тамила и ее друзья готовили, жутко напился. А когда он так напивался, то уже не мог ничего помнить. А еще, когда он так напивался, то становился похож на орла, который выследил жертву. Его глаза фокусировались на одной точке, и я, пожалуй, был единственным человеком, который знал, что этой точки не существует вовсе. А некоторые считали, что он становился похож на извращенца, – вот какие у него были глаза.

Мы продолжали ехать вниз по проспекту Мофаттах и добрались до Атарод-аллеи, где в 1941 году русский архитектор Марков начал возводить православную церковь. Советы не приветство-

Амир Ноепараст родился в 1980 году в Тегеране. Работал провизором в Иране; в 2008 году переехал в Брюссель и стал исследователем в области биомедицины (канцерология). Публиковался в иранских журналах, в журнале «Крещатики» и «Новый берег». Живет в Брюсселе.

вали это строительство, поэтому его финансировали русские иммигранты Ирана – те, что бежали из страны во время революции 1917 года. Во всяком случае, это была официальная версия. Хотя, возможно, бывшие резиденты здания напротив, когда-то значимые, а теперь уже изгнанные, испытывали чувство духовного и религиозного удовлетворения, помогая противникам советского режима, славянам той же плоти и крови, строить церковь, просто церковь, перед своим зданием. И это не пустые слова, учитывая то, что русская церковь построена перед бывшим американским посольством. И поскольку я иранец, даже знание того факта, что церковь была построена на этом месте еще до возникновения американского посольства, не поколебало моей твердой уверенности в теории заговора.

Мы с Фарзамом, немного размякшие от выпитого еще у меня дома алкоголя, в приподнятом настроении от хорошей музыки и быстрой езды, добрались, наконец, до «логовища шпионов»^{*} и припарковали автомобиль в конце Атарод-аллеи.

Развязной походкой ковбоев мы подошли к двери Свято-Николаевского собора и позвонили в дверь. Тамила, дружелюбная грузинка, состоящая при храме добровольцем, спросила на персидском и русском, кто пришел, и я ответил по-русски: «Это мы, Амиры». Когда дверь открылась, Фарзам произнес:

– Ну ты и придурок, она же ответила на персидском, зачем тебе понадобилось говорить по-русски?

Я только взглянул на него со злостью и ничего не ответил на этот выпад. Мы вошли в коридор стоявшего особняком административного здания церкви. Когда дверь закрылась, мы очутились где-то за пределами Тегерана. Не исключено, что главной причиной, по которой мы туда пришли, и был этот побег в другой мир. Пожалуй, это и есть та самая причина, по которой многие современные иранцы принимают наркотики или напиваются. Мы прошли мимо полок со старыми книгами, написанными еще дореволюционным шрифтом, и как всегда взглянули на портрет царя-страстотерпца Николая II, висевший рядом с книжными полками в холле. Мне захотелось сказать Фарзаму, что если восстановить цепочку причинно-следственных связей, то невразумительное и слабое сопротивление назревавшей революции со стороны Николая II явилось одной из главных причин, по которой в тот момент мы могли находиться в этой самой церкви, но он мог высмеять меня и выставить полным дураком, так что я не рискнул поднимать эту тему. Но вдруг он сказал очень странную вещь:

– Если бы иранский шах более решительно и жестко противостоял бы иранской революции в 1979 году, мы бы, скорее всего, не находились сейчас здесь, нам бы это просто не понадобилось.

Я почти убил его наповал своим ответом:

– Это, наверное, единственная причина, которая примиряет меня с иранской революцией.

В другом конце коридора появилась наша славная Тамила. Мы с ней поздоровались, и она провела нас в большой зал, располагавшийся в том же административном здании. Остальные гости были уже там. Вечеринка, хоть и в отдельном здании, но все-таки при русской православной церкви, была событием, мягко говоря, нечастым. И хотя закрытость и полулегальность всяческих общественных событий в Иране отчасти объясняли разрешение на проведение вечеринки при православной церкви, но это все равно было довольно чудно. Отца Александра, что не удивительно, на встрече не было, но, по словам Тамилы, на юбилей церкви пришло много известных русских и грузин, проживавших в Иране. Были приглашены и некоторые иранские специалисты в области кино, музыки и права. Мы, конечно, не входили ни в одну из этих категорий, и единствен-

^{*} Так исламистские фанатики в Иране называли американское посольство, когда 33 года назад взяли в заложники американских дипломатов (Прим. автора).

ной причиной нашего присутствия здесь была дружба с грузинскими девчонками, помогавшими в свободное время в церкви.

Как только мы пришли и Тамила налила нам красного вина, мой нос уловил запах капусты из кухни. Когда она подавала мне бокал с вином, я спросил:

– На ужин будут голубцы?

Она ответила: «Да», но на самом деле мой вопрос являлся лишь введением ко второму, главному вопросу, читавшемуся также в глазах Фарзама: «Дорогая, а нет ли у вас жареной семги?» Тамила ответила со своим милым грузинским акцентом:

– Да, мы еще будем подавать жареную семгу и жареного барашка. Немного терпения, пока еще рано жарить рыбу.

Этот ответ вернул нам душевное спокойствие, и, умиротворенные, мы принялись разглядывать других гостей.

Мы стали похожи на голодных волков: не сердцем – взглядом. Наши глаза машинально отфильтровывали мужчин и в доли секунд сканировали женщин. В какой-то момент эти рышущие лучи пересеклись и сосредоточились на одной точке недалеко от кухни. Там стояла женщина лет тридцати пяти или тридцати шести, и глаза ее сверкали, как у кролика в темноте, в свете охотничьих прожекторов. Это, конечно, мое личное впечатление, и неизвестно еще, кто был настоящим охотником. Мы оба с Фарзамом двинулись к источнику света – одна рука в кармане, а вторая с бокалом вина (мы думали, что похожи на Фрэнка Синатру и Дина Мартина). По ходу движения наши угрюмые лица оживлялись. Когда мы подошли, источник света, высокая стройная блондинка, не дав нам сказать ни слова, заговорила на персидском с явным русским акцентом:

– Ничего себе, так значит, возникают случаи, когда иранцы забывают об известной иранской галантности и оба хотят быть первыми.

Она сказала так потому, что мы обгоняли друг друга, пытаясь быстрее подойти к ней. Когда мы услышали ее слова, то поняли, что столкнулись с непростым случаем. Пока мозг отказывался подавать какие-либо команды и мы молча рассматривали наш источник света, который был одет в черную мини-юбку, чулки того же цвета и белую шелковую блузку с воротничком-бантом, она указала на дверь и громко произнесла:

– О, мистер Фарманара.

Мы обернулись в ту сторону. Да, она была права: это действительно был мистер Фарманара. Бахман Фарманара. Высокий, немного грузный человек, в длинном черном пальто, сером шелковым шарфе, элегантно обернутом вокруг шеи, и стильной черной шляпе на голове. Тамила взяла у него пальто, шляпу и длинный шарф сразу на входе. Я знал, что ему уже за семьдесят, но он до сих пор выглядел стильно и привлекательно.

Источник света направился к Фарманаре, фокус наших взглядов тут же сместился с Фарманары на ее ноги, обтянутые черной сеткой чулок, и мы застыли на месте, не в состоянии пошевелиться.

– Кто такой этот Фарманара, ее бойфренд? – спросил Фарзам.

– Ты чего, это же режиссер, не помнишь, мы вместе смотрели его трилогию о смерти?

Фарзам сразил меня своим впечатляющим ответом:

– А, ага, – сказал он.

Приход Фарманары совпал с мелодией вальса Шостаковича номер два, звучащей из магнитолы в холле – какое идеальное совпадение.

Мы с Фарзамом опять двинулись в одном направлении, но на этот раз с разными намерениями. Мы подошли к тому месту, где источник света и Бахман Фарманара приветствовали друг друга. Встали неподалеку, раздумывая, как бы присоединиться, но внезапно наш источник света сама помогла нам. Она поманила нас пальцем, приглашая в свою компанию. Мы встали рядом, и источник света, указав на Фарманару, представила его:

– Мистер Бахман Фарманара.

Фарзам, потеснив меня, шагнул вперед. В то время как Фарманара протягивал ему руку, чтобы поздороваться, Фарзам протянул свою к источнику света. Душераздирающая сцена. Мне пришлось буквально выпрыгнуть между ними и пожать Фарманаре руку от лица Амира Фарзама.

– Амир, – представился я. То же самое сказал и Фарзам, знакомясь с источником света. Фарманара, растянув губы в широкой ухмылке, так что одним уголком они почти коснулись левого глаза, тоже представился:

– Фарманара, Бахман Фарманара.

так и не услышал ответ, предназначавшийся Фарзаму, а потому нетерпеливо отвел глаза от Фарманары и с любопытством уставился на источник света.

– Елена. Но вы можете называть меня Леночка, – ответила она. Я протянул ей руку, но не затем, чтобы пожать ее ладонь: видимо, вино, которое налила нам Тамила, было действительно хорошим, и я отважился поцеловать протянутую мне руку – «маленький поцелуй» в духе старого русского дворянства.

Когда я поднял голову, то увидел, что с левой половины лица Фарманары все еще не сходила усмешка. Леночка, спасительница неловких моментов, спросила, глядя на нас с Фарзамом:

– Чем вы занимаетесь по жизни?

– Мы бизнесмены, партнеры по бизнесу, – ответили мы.

Вообще, Фарзам не из тех, кто любит много говорить, а потому он поторопился задать встречный вопрос:

– А вы, Леночка, кем работаете?

Детская, неподдельная радость озарила ее лицо, и она ответила:

– Я журналистка.

Она хотела добавить что-то еще, но я начал беспокоиться, что Фарзам может задать аналогичный вопрос Фарманаре: «О, а вы кем работаете, мистер Фарманара?», так что пришлось перебить Леночку:

– Да, а вот мистера Фарманару можно и не представлять. Все знают, что он великий режиссер. Не обратив внимания на мое замечание, Леночка продолжила говорить:

– Да, я сказала, что я журналистка, но это ненастоящая моя работа. Это просто прикрытие моей настоящей деятельности.

Тем не менее, Фарзам, без злого умысла, подобно змею, жалящей просто по своей природе, выпалил один из тех двух бредовых стереотипов, вероятнее всего неверных, о русских женщинах.

– Неужели вы шпионка? – спросил он у Леночки.

В тот момент я испытал смешанные чувства – что-то вроде стыда и одновременно облегчения, что он хотя бы не сболтнул другой, худший стереотип, который мог бы испортить весь вечер.

– Нет, – очень серьезно ответила Леночка, – моя настоящая работа – быть святой. Я действительно святая.

Мы с Фарзамом удивленно переглянулись.

– А, понятно, – сказал я. – Вы сестра, сестра в монастыре – вы это имеете в виду?

– Нет, нет, я святая. Разве может сестра носить такое? – ответила Леночка, засмеявшись.

– Она не лжет, она святая, – сказал Фарманара.

– Ну да, а мы тогда два дурака, – ответил Фарзам Фарманаре.

– Вы поверите мне сегодня вечером, – сказала Леночка. – Если хотите, мы спустимся в подвал церкви, и я покажу вам. А после выпьем домашнего вина.

Фарманара сказал, что не будет сегодня пить, а потом внезапно отошел в другой угол.

Я не мог понять, почему он ушел, и мне было жаль, что мы упустили возможность пообщаться с этим человеком. Фарзам тоже выглядел разочарованным, и, скорее всего, он думал о том же, о чем и я: что Леночка может оказаться банальной шизофреничкой или ей просто захотелось

нас подурочить. Станным было и то, что Фарманара подтвердил ее слова. Я не уловил ни капли юмора в его словах. Леночка тоже куда-то ушла от нас. Но нам уже было все равно. Мы подошли к длинному столу, заставленному разными закусками и напитками. Мое внимание привлек большой бронзовый самовар, стоявший в углу стола. К моему удивлению, он нормально работал, причем не от электричества, а на углях, и это меня очень впечатлило. Грузинские девчонки сделали все возможное, чтобы этим вечером оживить некоторые старые русские традиции. Невозможно было сопротивляться желанию попить чаю из самовара, и мы с Фарзамом как раз собирались это сделать. Пока я наливал чай, Фарзам сообщил мне, что в другой стороне зала готовится живой концерт. Входя в зал, я видел рояль, но даже не мог предположить, что сегодня кто-то собирался на нем играть. Виолончель, гитары и бас-гитары, кларнеты и трубы – различные инструменты, которые я знал, и те, о которых даже не подозревал, настраивались музыкантами. Намечался грандиозный концерт!

Настала очередь Фарзама наливать чай. Когда он дотронулся до самовара, послышался чопорный женский голос:

– Вы, мужчины! Иранские мужчины, вы даже не хотите видеть нас, вы игнорируете нас, женщин, мы – забытая часть общества!

Фарзам неотреагировал – он даже не услышал ее. Она была права: когда Фарзам намеревался что-то сделать, он забывал не то что о женской части общества, а об обеих его частях, но обладательница голоса не знала этого. Я повернул голову, чтобы посмотреть, кто говорит. Ничего себе, да это же Шади Бадр, я встречал ее фотографии в газетах, она была защитницей прав женщин, очень известным иранским адвокатом и феминисткой. У нее были короткие волосы, модные очки и немного лишнего веса. Я спросил:

– Это вы? Мисс Шади Бадр, приятно вас здесь видеть.

– Неправильный ответ, – грубо выплюнула она.

Я был удивлен: конфликтует с Фарзамом, а досталось мне. Я посмотрел на Фарзама: тот самозабвенно сражался с краником – это было очевидно, он никак не мог добиться от самовара того, чего хотел. Шади Бадр посмотрела на меня и с еще большим раздражением сказала:

– Почему вы не соблюдаете очередь? Сейчас была моя очередь, а вы тут ломаете кран самовара!

Я был в шоке, это просто невероятно: вместо того, чтобы высказать свои претензии Фарзаму, она говорила все это мне. С какой стати? В замешательстве я даже дар речи потерял. Возможно, я ошибся, и это была не Шади Бадр, а, к примеру, одна из пациенток с умственным расстройством, которые жили в соседнем доме, где располагался христианский дом престарелых. Но нет, она вовсе не была старой, она была молодой. Фарзам все еще не обращал на нас никакого внимания. О Господи, он дергал кран самовара вверх и вниз с такой силой, будто это был кофейный автомат. В этот момент Шади Бадр набросилась на кран самовара и закричала:

– Прекратите немедленно, у него есть кнопка!

Я знал, что скоро она разъярит Фарзама. Какую кнопку она имела в виду? Мы с Фарзамом посмотрели друг на друга, и я спросил:

– Какая кнопка? На самоваре нет никакой кнопки. Но она снова закричала:

– Вы, мужчины, ничего не слышите и совершенно ничего не понимаете.

– Покажите нам эту кнопку и научите, как этим пользоваться, – сказал я.

– Показать вам? – снова закричала она. – Я здесь для того, чтобы вас учить? Ну уж нет, извините, это не моя работа. Да и слишком поздно вас учить, раз ваша мамочка не научила вас этому в детстве.

Я был взбешен: с какой стати она высказывала все эти грубости мне? На мгновение я бросил взгляд на большой китайский чайник, стоявший на самоваре, и со злостью представил, с каким бы удовольствием ударил ее по голове этим чайником и заставил ее заткнуться – по крайней мере, на сегодняшний вечер. Как Раскольников – только с чайником вместо топора.

Фарзам наконец-то обратил на нее внимание и начал хоть что-то говорить. Он сказал:

– Мисс, где же эта кнопка, о которой вы ведете речь?

– Пропустите меня, я буду наливать себе чай, а вы смотрите и учитесь, – возбужденно ответила Шади.

Фарзам отошел в сторону и не удержался, чтобы не сказать:

– Хорошо, краник только ваш, сделайте, как нужно, вы же эксперт в этом деле.

Я думал, начнется большой скандал, ведь в словах Фарзама чувствовался неприкрытый сексизм, но, к моему удивлению, она не обратила никакого внимания на его слова и стала просто искать придуманную ею кнопку.

Шади портила мне чаепитие. Фарзаму не удалось справиться даже с самоварным краном. Тамила подошла к нам и спросила, не хотим ли мы еще вина.

– Французского или грузинского? – спросила она. Так как вначале мы пили французское, то теперь оба заказали грузинское. Она сказала, что принесет нам особое грузинское вино «Саперави». Шади, все еще искавшая несуществующую кнопку, перебила Тамилу:

– Мисс Тамила, подскажите, пожалуйста, где на этом самоваре кнопка?

– На нем нет кнопок, – ответила Тамила.

Шади очень удивилась и, опять вернувшись к своей чопорной манере, произнесла:

– Как это? Такого просто не может быть.

– Почему же не может быть? – с улыбкой ответила Тамила. – Это обычный самовар, не электрический, у него нет кнопок. Разве у иранских самоваров они есть?

– Не будем разводить дискуссию, – ответила Шади. – Я спросила, где кнопка, не нужно умничать, Тамила.

Все еще улыбаясь, Тамила сказала:

– Какая дискуссия, дорогая? Давайте мне ваш стакан – я налью вам чая.

Шади крайне невежливо ответила:

– Кто просит вас наливать мне чай? Разве я просила об этом? Я не просила давать мне рыбу, я просила научить ее ловить. Не нужно делать вид, что вы такая добрая...

Мы с Фарзамом и Тамилой поняли, что стоять рядом с самоваром больше нет смысла, так что оставили Шади и дальше искать несуществующую кнопку и пошли за грузинским вином.

Тамила налила нам «Саперави». У него был глубокий темный цвет, цвет ночи, и неповторимый вкус. Казалось, вся грузинская история сосредоточилась в одной бутылке, и каждый глоток передавал частичку истории этого народа. Мы наслаждались вином и совсем забыли о присутствии Шади Бадр и о том, что она вытворяла. Магия грузинского вина затуманила и влечение к русской красавице. Казалось, все, что было вокруг нас, вдруг потеряло свои очертания, и единственным, что осталось четким, был стакан с «Саперави».

Подобно древним цивилизациям, рухнувшим от натиска захватчиков, великолепное настроение, созданное вином, рухнуло от грубого голоса, кричавшего в микрофон:

– Дамы и господа, имею честь представить вам доктора, доктора, доктора... – Словно игла старого граммофона, язык конференсье зацепился за слово «доктор», и голос повторял его снова и снова – возможно, для того, чтобы заставить аудиторию замолчать, – ...доктора Уберменша* Шахкара. Вы все знаете доктора Шахкара, он не нуждается в представлении, но я хочу напомнить вам, что через несколько минут нам выпадет честь присутствовать при его выступлении. Симфонический оркестр Киева и музыканты симфонического оркестра Барселоны будут ему аккомпанировать.

* *Übermensch* (сверхчеловек, нем.) – образ, введенный философом Фридрихом Ницше в произведении «Так говорил Заратустра» для обозначения существа, которое по своему могуществу должно превзойти современного человека настолько, насколько последний превзошел обезьяну (Википедия)

Мужчина средних лет с грубым, агрессивным голосом элегантно сочетал в своем облачении золотистый жилет с темно-желтой рубашкой и темно-оранжевый галстук! Он весь был средоточием зрительной и слуховой агрессии и напомнил мне поддельных профессоров и иллюзионистов на Диком Западе. Типа профессора Марвела. Таких, которые бродили из города в город, показывая и продавая волшебные снадобья и микстуры. Обычно у таких профессоров были тайные помощники среди зрителей, что делало шоу более достоверным и помогало убедить людей покупать их товар. Возможно, профессор Марвел был сообщником доктора. Я взглянул на членов Киевского симфонического оркестра. Жалкая кучка пожилых иностранцев, явно приехавших из разных стран. Кто его знает, за какую сумму они продали свое искусство Шахкару. Рядом с ними стояла группка людей, похожих на цыган. Можно было сказать, что они приехали откуда-нибудь вроде Перу или Боливии, но их почему-то представляли как Барселонский симфонический оркестр. При этом у них не было той жизнерадостности, присущей цыганам, – все они имели вид мрачный и подавленный.

Любитель микрофона после такого скромного представления музыкантов попросил публику позволить ему кратко представить доктора Уберменша Шахкара. Иранский способ привлечь внимание присутствующих. Начали с имени доктора.

– Уберменш его име, фамилие, «Шахкар», по-русски значит «шедевр».

Эту часть он сказал на русском. Мой русский не так уж хорош, но, когда я услышал его жалкую попытку сказать предложение по-русски, у меня возникло чувство, что в микрофон говорил немой иммигрант, работавший в Москве таксистом. Ну, во всяком случае, теперь каждый знал, что «Шахкар» означает «шедевр».

Продолжил он на персидском. С этого момента его речь стали сопровождать слайды на русском и английском языках, на которых Шахкар был изображен во всем своем блеске. Вот как выглядели некоторые из его героических деяний, запечатленных на фото:

– Уберменш, получающий степень бакалавра по экономической географии в 1994 году...

– Ведущий и исполнитель самого первого гитарного перформанса со времен исламской революции в Иране в 1994 году...

– Первый музыкант, основавший в Иране объединенный оркестр путем слияния иранской и западной музыки в 1995 году...

– Начавший писать докторскую диссертацию в области градостроительства в 1996 году...

– Признанный иранским министерством науки официально как самый молодой соискатель докторской степени в Иране...

Каждая из этих фраз будто молотком била по головам присутствующих. Любой из этих пассажей касался не только доктора Шахкара и его легендарной личности. На самом деле, его «заслуги» выглядели довольно унижительно для иранцев. Например, не означает ли появление с подачи Шахкара первого смешанного оркестра только лишь в 1994 году исключительной примитивности иранского народа, не додумавшегося до этого раньше? Возможно, они страдают отсутствием или изъязном мозговых долей, отвечающих за творчество и умение мыслить нестандартно. Но, наконец-то, Уберменш стал тем единственным, кто в 1994 году смог показать, что существует-таки и в этой отсталой нации исключительный случай (угадайте, кто), с более сложной и утонченной структурой мозга, чем у остальных членов общества. Утверждение, что он является самым молодым доктором наук, тоже казалось странным. В нынешнем 2013 году Шахкару сорок один. Сколько же лет ему было в 1996 году, что его признали самым молодым докторантом в истории образования нашей страны? Это было оскорблением интеллектуальных способностей всех, кто был в состоянии вычесть одно число из другого, произведя тем самым элементарную математическую операцию.

Постепенно несчастные музыканты собрались вместе и заняли свои места, и я смог легко догадаться, что для прожектора наступило время освещать только лишь доктора Шахкара – «шедевра». И именно это и произошло.

Шахкар победоносно ступил на авансцену. Оркестр начал играть. Величественная и славная классика завораживала слух. Кружащаяся и порхающая над сценой балерина, танцующая великолепно, была единственной, помимо Шахкара, кто удостоился света прожекторов. И все же главное внимание было сосредоточено на этом нарциссе: лучи света никогда его не оставляли, и в то же время на экране позади него постоянно мелькали его фотографии. Вдруг классическая музыка сменилась популярной песней. Под мелодию Дина Мартина «Sway» Шахкар начал петь, правда, на персидском: «Твое место здесь, здесь, в моем сердце, прямо здесь, именно здесь...» Мы с Фарзамом, оба мрачнее тучи, посмотрели друг на друга. Затем взглянули на Фарманару: он выглядел как человек, который только что выпил полный стакан горького миндального масла после нескольких часов острого кишечного расстройства. О Господи, что же ты, Уберменш, сделал с настроением от «Саперави»? Все рушилось и исчезало. Великолепие классической музыки, очаровательная балерина, музыканты – все было подчинено лишь одному: гнусавому голосу Шахкара и его глупым плоским шуткам, которые казались забавными только грузинам. Я не понимал, что именно в этих шутках так забавляло грузин.

Мы с Фарзамом всегда были против крепких алкогольных напитков. Но, что удивительно, постоянно находятся убедительные причины отказать от самоограничения. Голос и движения Шахкара отгеснили нас в самую дальнюю от сцены сторону, уголок, где несколько немолодых русских, уже изрядно принявших, налегали на водку. В наши дни русская водка не так уж популярна среди молодежи в больших городах. Это не модно и может быть расценено как деревенская привычка, что совсем не круто. Виски считается стильной альтернативой, тогда как водка сохраняет свои позиции среди людей среднего возраста. Но именно настоящая русская водка. Как калифорнийское вино может оскорбить французов, настоящих ценителей французских вин, так и водка «Абсолют» или «Смирнофф», разливаемая за границей, не очень ценится русскими. К счастью, когда русские напиваются, они становятся ультращедрыми, и мы были приглашены выпить водки «Стандарт» вместе с ними.

Благодаря «Стандарту» мы даже и не заметили, как Шахкар закончил свое выступление. Он поклонился аудитории, но люди, занятые собственными разговорами, даже не обратили на это внимания. Он послал воздушный поцелуй, и Фарзам сказал:

– Вот черт, после водки было так хорошо, а он взял и все испортил.

Группа жалких музыкантов внезапно исчезла, но балерина, к счастью, осталась. Она направилась к нашему углу.

Мы с Фарзамом посмотрели друг на друга. Я пораился. Его глаза просто засверкали. Порхающая балерина, оказавшаяся украинкой, по сведениям хозяев нашей водки, подошла к нам. Она искала чего-нибудь выпить. В тот момент, когда балерина, или, лучше сказать, добыча, подошла к нам, во всех нас проснулась волчья натура. Волк – признанное в славянской культуре животное. Фарзам, продемонстрировавший блиц-релиз своего внутреннего волка, не знал ни слова по-русски, но, опередив всех нас, неожиданно и совершенно спокойно сказал на беглом русском:

– Вина? Французского или грузинского? Можете выпить с нами водки.

Я сильно удивился. Ищущая водопою усталым, но теплым голосом, немного приправленным кокетством, ответила вполне однозначно:

– Водку.

Глядя на ее невинное лицо, светлые волосы, стянутые сзади в тугий узел, и красивые длинные голые ноги, покрытые испариной, можно было подумать, что это невинный ангел, только-только вернувшийся со сложной божественной миссии. Но все, что создало воображение в тот волшебный момент, было разрушено, когда она произнесла слово «водка» так самоуверенно и весело. Так невинный ангел, вернувшийся с божественной миссии, превратился в очаровательного чертенка, который мог бы заставить вас следовать за ним до последнего круга ада.

Не сладкий ангел, но обворожительный чертенок заставил меня протянуть руки за нераспечатанной бутылкой водки, принадлежавшей щедрым русским парням, немедленно распечатать ее и налить танцовщице стакан «Стандарта». Пока другие волки, включая Фарзама, остолбенело наблюдали за моими манипуляциями, послышался голос Тамилы, говорившей в микрофон:

– Дамы и господа, сейчас мы послушаем короткое выступление мисс Шади Бадр, известной иранской журналистки, адвоката, федералистки и феминистки. Она выступит с речью «Территориальная неприкосновенность, обоснованная значимость или историческое господство мужских прав?».

Шади Бадр вышла на сцену и с чувством дотронулась до микрофона, как делают все те, кто любит трибуны, микрофоны и публичные выступления. Она начала так:

– Когда меня представляли, то немного ошиблись. Я не федералист. Федерализм – уловка, позволяющая удерживать под одной крышей тех, кто хочет разделиться, я же поддерживаю разделение и развод, неважно – в семье или на так называемом национальном уровне. О, я только что сказала «национальный» – ненавижу это слово. Поймите меня правильно: я поддерживаю разделение не потому, что уважаю разделение как таковое, а потому что разделение – это единственный вариант освобождения. Я хочу попросить уважаемых иранцев и русских откинуть предубеждения и не испытывать сильных эмоций по поводу слова «разделение». Посмотрите на независимую часть мира, например, на Евросоюз, разделение там – рутинное дело.

Я задумался, почему она не попросила грузин не испытывать сильных эмоций. Еще я вспомнил, как однажды она назвала всех иранских мужчин сексистами. Из этого, а также из теперешней ее речи следовало, что она поддерживала как минимум развод всех иранцев.

Ее речь напомнила мне о моем хроническом умственном расстройстве – запойном, но беспорядочном и бессистемном чтении. Я всегда считал: если чтение не сфокусировано на одной теме или области, то даже если не вчитываться, все равно повышаешь шанс пострадать глубже и болезненней при столкновении с теми, кто порет всякую чушь. Такую чушь сейчас порола Шади Бадр. На самом деле федерализм, или, лучше сказать, навязанный федерализм, неизбежно вел к процессу разделения. Ввести федерализм в мультиязычных странах означает толкнуть первую костяшку домино в выстроенной фигуре разделения. Ее пример с Евросоюзом – чистой воды популизм. В лучшем случае, Евросоюз можно назвать *надгосударством*, и разделение в рамках Евросоюза было больше похоже на деление иранских или русских земель на более мелкие, но в рамках одной страны, а никак не разделение отечества на другие, меньшие страны. Как она могла быть настолько невежественной, чтобы не знать, что специалисты и теоретики Евросоюза, такие как Ги Верхофстадт, мудро предчувствовали опасность в концепте унитарности, так что они начали говорить о новой платформе под названием «объединенные штаты Европы».

Она просила русских не испытывать сильных эмоций по отношению к разделению. Видимо, она имела в виду такую часть их родной страны, как Чечня, собиравшуюся отделиться. Но она не говорила о частях бывших республик вроде Абхазии, которые несколько лет назад голосовали за присоединение к России, но которые запад не поддержал. На самом деле, Шади Бадр была права. Она была категорически против разделения, в то же время радикально поддерживая его, в зависимости от того, кто и от кого хочет отделиться. В этом аспекте ее воззрения были вполне в духе американской и российской политики.

Поучительные нотки пропали из ее голоса, теперь она придала своей речи поэтичности:

– Мне бы хотелось покорно попросить вас выразить свое уважение радикалам минутой молчания.

Я не понял, какой в этом смысл, и, кажется, другие тоже не очень поняли, так что она оказалась единственной, кто молчал в течение минуты, чтобы выразить радикалам уважение. Я подумал, что она, возможно, пытается применить одну из речевых техник, чтобы привлечь внимание аудитории к теме радикализма, ведь его возрождение становится одной из основных угроз безопасности в мире. Но как только она заговорила, я понял, что ошибся. Она продолжила:

– Радикалы – одни из самых порядочных членов общества, и я уверена, что они должны быть реабилитированы. Они – сокровище иранского общества, и их голос должен быть услышан и подхвачен любыми способами. Слово «радикалист» не должно быть оскорблением, мы должны переосмыслить эти термины, потому что все изменения в нашем обществе – в руках радикализма. Радикалы – самая нестигаемая, непреклонная и самая идеалистическая сила общества, а без радикальных настроений у общества не будет способа противостоять тем, кто не дает этому обществу развиваться собственным путем.

Но вскоре после того, как Шади Бадр назвала себя идеалисткой, она привела весьма прагматический и даже макиавеллевский аргумент, подтвердивший ее идеалистический радикализм: без радикалов центристы и умеренные группы не смогут вести переговоры, только в пугающем присутствии радикалов те, кто у власти, согласятся на переговоры с менее пугающими и умеренными группами.

Потом она выступала за радикализм и против всепрощения. Русский мужчина средних лет, сидевший рядом со мной, сказал мне на фарси:

– Насколько я знаю, эта леди стала известна благодаря своей деятельности против насилия в обществе, особенно что касается жестокости в отношении женщин и детей, так почему же сейчас она восхваляет и теоретизирует радикализм, выливающийся в конечном счете в массовое насилие?

– Верно, сэр, – ответил я. – На самом деле, еще до этой леди тем же самым путем шли сирийские оппозиционеры.

Я всегда с трудом верил тем, кто произносит слова так, будто читает поэму. Я даже побаивался их. Я вспомнил турецкого торговца антиквариатом, к которому мы ходили вместе с отцом, когда я был маленьким. Он всегда представлял свой антиквариат декламирующим голосом. У меня складывалось впечатление, что чем больше он надувал нас и жульничал, тем более поэтичной и раздутой становилась его декламация. И он всегда заканчивал заунывным «О!». Позже я заметил ту же манеру у девушек, которые, заскучав в своих стабильных отношениях, решают немного разнообразить жизнь, изменяя своим парням. Они никогда не говорят, что хотят что-то перестроить, но зато долго вешают об огромных «силах», которые они кладут на алтарь отношений, ничего не получая взамен. Некоторые убийцы, которых показывают по телевидению, тоже демонстрируют перед камерой эту загадочную поэтическую манеру, когда их спрашивают о ночи убийства. От этой трагичности меня начинает тошнить. Вероятнее всего, это не только восточная особенность, но мне кажется, что для востока это должно быть более характерным, что-то вроде способа показать себя. На востоке слабость и убогость до сих пор путают с невинностью.

Я отвлекся и несколько минут не воспринимал ее, как вдруг услышал:

– Эта чертова территориальная целостность, эта чертова Россия, чертов Иран. Давайте же отбросим эти прогнившие догмы...

Некоторые русские прошептали «сука». «Сука» в русском имеет много значений. Это слово обозначает что-то вроде *bitch* на английском. Русские не терпят даже шуток о собственной государственности. Шади не представляла, что это значит – суверенитет – для тех людей, на чьей земле во время Второй мировой войны каждый четвертый лишился жизни. Даже если бы она знала, о чем смеет говорить, то все равно до нее не дошло бы, где она говорит об этом. Думаю, она представляла себя такой храброй и нестандартно мыслящей, раз осмелилась произнести подобное вслух, переступив через все границы, догмы и стереотипы. Хотя очевидно, что представление о храбрости и идиотизме у нее было довольно смешанное...

Бахман Фарманара встал со стула и, подойдя к нам, взволнованно сказал:

– Пойдемте в подвал, как Леночка предложила, я не могу здесь больше находиться. Леночка, сидевшая через несколько стульев от нас, заметила желание Фарманары пойти в подвал и жестом

показала Тамиле, что мы уходим. Мы согласились с Фарманарой и вчетвером направились к выходу. Уже выходя, я слышал, как Шади Бадр говорила:

– Рассматривание суверенитета как приоритетного направления в политике на самом деле интересует не все общество (под обществом я понимаю сообщество мужчин и женщин), в действительности же это только мужской интерес. Это пример сексизма в крупном масштабе. И все из-за доминирования мужчин в нашей так называемой истории.

Мы даже остановились на секунду, когда услышали это ее «так называемой истории». Она продолжала:

– Выдвижение правительствами на первый план суверенитета как важного политического аспекта происходит от патологической неполноценности мужской психологии и системы мышления, которая в примитивных формах проявляется в ревности мужчин в отношении своих жен, а в более развитых формах выражается как суверенитет...

К счастью, мы уже вышли в длинный коридор и не могли отчетливо слышать ее голос.

Вероятно, семидесятичетырехлетний иранский режиссер, находясь там, почувствовал себя плохо, так что, несмотря на свой первоначальный отказ, даже предложил пойти в подвал. Ирония судьбы заключалась в том, что Шади и Шахкар, благодаря своей ограниченности и недалекости, могли оставаться наверху, и их голоса усиливались микрофоном, а настоящий мастер иранского кино, человек, чье сердце билось для своей страны, сделавший что-то стоящее для своей родины, предпочел уйти в подполье. И это был очередной пример современной иранской андеграундизации всего лучшего.

Может быть, за это стоит корить не только правительство, но, в данном случае, не подлежало сомнению – гениальные иранские консультанты организаторов сегодняшнего праздника посчитали, что у Шади Бадр и Уберменша Шахкара найдется больше достойных слов для публики, чем у иранского режиссера. Кинодеятеля, чей дом, после запрета независимых литературных премий в пост-ахмадинежадскую эру, был предоставлен им самим для проведения церемоний награждения. Но сейчас из-за постоянных бомбардировок искусства и логики со стороны Уберменша и Шади, он предпочел предначавшееся для хранения домашнего церковного вина подполье Свято-Николаевского собора.

Нам надо было пройти тем же коридором, через который мы вошли. Мы вновь прошествовали мимо старых русских книг и мимо портрета страстотерпца Николая II, канонизированного русским патриархом в 2000 году. Наш разномастный четырехглавый легион взглядом салютовал царю и приблизился к входной двери.

Как объяснила нам Леночка, рядом со стеклянной входной дверью располагалась другая – деревянная, которая должна была вывести нас к основанию главного здания церкви. Похоже, ей не хотелось, чтобы мы проходили через главное здание. Не знаю причины. Возможно, это было связано с тем, что мы не христиане, или с тем, что мы шли туда не за молитвой, а может, таким образом мы просто сократили себе путь. В общем, не знаю почему.

Фарманара тяжело дышал. Леночка прошла первой. Режиссер, растягивая рот в своей характерной улыбке, почти приближавшей уголки его губ к зеленым глазам, учтиво произнес:

– Только после вас.

Не в силах противостоять его обаянию, мы молча прошли вслед за Леночкой, а Фарманара последовал за нами. Лампа не горела, и Леночка стала освещать дорогу своим смартфоном. Мы спускались по узким кирпичным ступенькам, следуя за русской святой, выступавшей в роли нашей путеводной звезды, пока не достигли цокольного этажа. Здесь горел свет. Винные бочки стройными рядами стояли вдоль стен. Мы с Фарзамом уже не обращали внимания на Леночкины ноги; теперь мы пилились на винные бочонки. Они могли упоить наши мучимые жаждой души на недели, а то и на месяцы вперед.

Фарманара с небольшой задержкой нагнал нас в самом низу лестницы. Из-за своего высокого роста ему пришлось проделать весь этот путь, согнувшись в три погибели. Леночка напугала нас, крикнув:

– Идите сюда, я налью вам вина в большом зале.

Мы прошли вдоль винных бочек к деревянной двери. Фарманара спросил не без доли иронии:

– Мадам, вы заставили нас пройти весь этот лабиринт, вы хотя бы найдете дорогу назад?

– Да, – ответила Леночка и открыла дверь ключом, висевшим на ее шее. Она первой вошла в зал, включила лампы и сказала:

– Здесь есть кондиционер, сейчас я его включу. Пожалуйста, господа, проходите.

Мы прошли в зал. Внутри было необычно. В отличие от остальной части подвала, стены были не кирпичные, а белые и оштукатуренные. Со сводчатого потолка, перекрытия которого были выполнены в византийском стиле, свисала люстра богемского стекла. Прямо под люстрой находился круглый деревянный стол, покрытый толстотканым иранским ковриком, коричнево-карминным *термехом**. Стол окружало шесть высоких и прямых деревянных стульев, такого же жжено-коричневого окраса. Блюдо с фруктами, пустая бутылка из-под вина, также богемского стекла, с хрустальным колпачком, и несколько перевернутых сверкающих стаканчиков возвышались на столе. В углу, на высоком деревянном столике, также покрытом термехом, помещался большой бронзовый самовар. В другом углу стояла консоль с массивным бронзовым крестом. Все элементы декора и общее убранство этого просторного зала дышало стариной. Это вполне соответствовало образу типично русского аристократического дизайнера интерьера конца девятнадцатого века – по крайней мере, как я его себе представлял. Если бы не один бросающийся в глаза элемент, явно контрастирующий с остальной обстановкой.

На фронтальной стене висела большая картина в деревянной раме. Довольно странная картина. Охотник, одетый в традиционные охотничью куртку и шляпу, целился из двустволки в некие летающие объекты. И это были отнюдь не утки или другие какие птицы, а эскадрилья винтовых самолетов времен Второй мировой войны. Хотя относительно охотника они были размером именно с утку. Их застали недалеко от озера, и теперь они пытались улететь, чтобы выжить. Мы втроем изумленно разглядывали картину.

– Какая ночь! Отличная была идея прийти сюда, – сказал Фарманара.

Фарзам, со времени дискуссии с Шади Бадр пребывавший в созерцательной фазе, заметил:

– Что за иллюзия... Прямо улетаешь, глядя на эту картину.

Леночка выдвинула стулья, взяла со стола пустую бутылку и сказала:

– Присаживайтесь, пожалуйста, я налью для вас вина и вернусь.

Фарзам, чья творческая мысль, наконец, заработала, задал мне вопрос, совершенно не связанный с обстановкой, в которой мы находились. Он спросил:

– Почему русские называют Горжестан** Грузией, а по-английски так вообще Джорджия?

Я не знал почему. Фарманара отозвался:

– Все это не грузинские названия, и их происхождение – это отдельная тема для обсуждения.

Некоторые считают, что название происходит от слова «горг», волк на фарси, потому что древние персы называли здешние места Землей Волков. Иные видят связь с именем Святого Георгия. Сами же грузины называют свою землю Сакартвело, но почему-то другие нации игнорируют настоящие название...

Фарзам, сам задавший этот вопрос, теперь явно заскучал, так как терпеть не мог пространных ответов.

* *Termeh* (иран.) – иранская ткань ручной работы; кашемир.

** *Gorjestan* – транслитерация иранского произношения.

Тем временем вернулась Леночка. С полной бутылкой вина и мужчиной, шедшим позади. Это был относительно молодой человек, со скуластым лицом, коротко постриженными светлыми волосами, зачесанными набок, и узкой полоской светлых усов.

Ни одна из этих деталей его образа не должна была бы вызвать удивление в наших глазах, даже в пьяных глазах Фарзама. И все же молодой человек, маячивший за Леночкиной спиной, казался сумасшедшим. Он был одет в старомодный белый парадный мундир, с медалями на груди, в синие кавалерийские брюки и высокие черные сапоги. В руках он держал скрипку и смычок. Леночка кокетливо указала на мужчину:

– Полковник Илья Филиппович Афанасьев, военно-воздушные силы.

Мы по очереди пожали полковнику руку. Фарманара сказал Леночке с натянутой улыбкой:

– Вы отнимаете мой хлеб, Леночка, кино должен создавать я, а не вы.

Я спросил:

– Это что, маскарадный костюм? – на что полковник ответил на чистом персидском:

– Нет, нет, никакого маскарада, я только что вернулся с дружеской встречи.

– Что же в этом такого? – вмешалась Леночка. – Если ты актер театра, или, как сказал Амир, пришел с маскарада, или служишь в военном флоте. В чем проблема?

Речь вышла, несомненно, очень убедительной. Вероятно, они оба были душевнобольными: и Леночка, и этот так называемый полковник, а может, они просто смеялись над нами, наслаждаясь нашей глупостью. Но стаканы с вином, поданные Леночкой, сгладили этот момент и предотвратили дальнейшие расспросы. Фарманара шутливо выкрикнул, в духе старых армейских традиций:

– Au regiment!*

Афанасьев довольно заметил:

– По вашей одежде я сразу понял, что вы буржуа. За Красную армию и за Иран, ха-ха.

Каждый выпил свое вино, мы с Фарзамом все еще были несколько ошеломлены, а Фарманара, казалось, совсем свыкся с ситуацией. Илья Филиппович повелительным тоном сказал Леночке:

– Лена, налей еще, сегодня мы не будем пить, как буржуа, сегодня мы пьем, как цыгане, ха-ха.

Леночка вновь наполнила наши бокалы, мы залпом их осушили, она снова их наполнила, и мы опять их мгновенно осушили.

Леночка сказала, что должна оставить нас, чтобы вновь наполнить бутылку. Илья Филиппович начал настраивать свою скрипку.

Я спросил его:

– Чем вы занимаетесь, господин Афанасьев?

– Как видите, я настраиваю свою скрипку, – ответил он.

– Нет, я имел в виду не сейчас, а...

Он прервал меня:

– Я играю на музыкальных инструментах: пианино, скрипка, гитара. Я пою, рисую... Посмотрите туда! Эта картина на стене написана мной. Я читаю книги, я изучаю языки, я пью, встречаюсь с новоприбывшими, в особенности с женщинами – ну, вы понимаете, о чем я, ха-ха – в общем, прожигаю жизнь.

– Нет, нет, – сказал я. – Я имел в виду вашу работу, ну, профессию, кто вы по профессии? Вы пилотируете Туполев Суперджет? Если так, то, должно быть, это очень опасная и рискованная деятельность, не правда ли?

– Я был пилотом, но только на военных самолетах, сейчас уже нет. Моя новая работа заключается в ностальгии, профессиональной ностальгии, я тоскую на профессиональном уровне, – ответил Афанасьев.

Фарманара игриво заметил:

* (фр.) «За армию».

– Ничего себе, какой поэтичный настрой. Видно, дела в Иране идут хорошо, господин полковник, если вся ваша работа заключается в ностальгии.

Афанасьев отреагировал мгновенно:

– Отнюдь, дела в Иране не столь хороши. Наш друг спросил о моей работе, моей профессии, и я ответил, я – тоскую, ностальгирую на полную ставку, мне платят за ностальгию и засчитывают пенсионный стаж, я высококлассный специалист в области скучания по дому и тоскования по Родине; завершив авиационную карьеру, я прошел интенсивную подготовку, чтобы стать ностальгантом, это и есть моя теперешняя работа, и я уже рассказал вам, как провожу свободное время, и за сим, господа, сообщаю вам, что я отнюдь не заинтересован в определении вашей профессиональной деятельности, и мы не в Гестапо, чтобы устраивать здесь допросы.

Улыбка Фарманары застыла, мы с Фарзамом, потрясенные, молчали. Но, как бы то ни было, находиться рядом с одним или даже двумя маньяками в подвале было приятнее, чем оставаться наверху и слушать речь королевы радикализма Шади Бадр. Леночка вернулась с полной бутылкой и, вновь наполнив наши бокалы, спросила Илью Филипповича, на этот раз по-русски:

– Илья Филиппович, что вы нам сыграете?

– «Две гитары» и еще парочку, – ответил полковник Афанасьев, – а вы нам станцуете.

Леночка кокетливо и с притворной скромностью ответила:

– О, нет-нет, мне неловко перед господином Фарманарой, да и с обоими Амирами я вижу впервые.

Есть такие моменты в нашей жизни, которые совершенно неожиданно, незапланированно входят в наше сознание. Это нечто такое, что может изменить целый день или предстоящую ночь. Порой это день или ночь, которые могут изменить даже всю жизнь в целом. Откликнуться на эту спонтанную вспышку в сознании в такой переломный момент можно по-разному. Большинство из нас просто сдерживают ее, запирают внутри, но некоторые осмеливаются выразить ее в тот волшебный момент. Пока Леночка была занята тем, что изображала скромность и кокетничала с Афанасьевым, я обратился к нему напрямую:

– Господин полковник, могу я кое-что предложить?

Полковник воздушных сил (или сумасшедший, который думал, что он полковник), ответил:

– Конечно, но только если ваше предложение добавит удовольствий нашему вечеру.

Я был доволен его реакцией и, пока Фарманара и Фарзам с удивлением смотрели на меня, сказал:

– Мое предложение как раз об этом: чтобы добавить немного перчинки к нашей ночи, я хотел попросить госпожу Леночку подняться наверх и пригласить ту изумительную украинскую балерину... – Фарзам, прочитавший ее имя на экране и хорошо его запомнивший, подсказал мне: «Таню Степанко», и я продолжил: – Да, Таню Степанко, пусть госпожа Леночка пригласит ее присоединиться к нам.

Глаза Ильи Филипповича заблестели, и он радостно ответил:

– Да, Леночка, пожалуйста, поднимитесь и попросите ту молоденькую балерину присоединиться к нам и, конечно, обрисуйте ей обстановку.

– Илья Филиппович, – перебила его Леночка, – я не могу, просто я не настолько хорошо ее знаю. Кроме того, она с Западной Украины, и когда я говорю с ней по-русски, она с большой неохотой отвечает мне, к тому же она очень надменная и...

Полковник Афанасьев, не дав ей закончить, чеканя каждое слово, сказал:

– Леночка, выпейте этот бокал вина вместе с нами, а потом поднимитесь и пригласите госпожу Степанко присоединиться к нам. Спасибо.

Он налил Леночке вина. Та выпила его, как цыганка, с гневом взирая на меня и Фарзама. Тяжелый взгляд. Направившись к деревянной двери, она сказала:

– У Тани Степанко есть жених. Возможно, ей будет некомфортно находиться в подвале с тремя мужчинами.

– Она будет не единственной прелестной дамой в нашей компании, – ответил Афанасьев, – вас станет двое, так что она не будет чувствовать себя одиноко.

Уже выходя из комнаты, Леночка повернулась с таким радостным видом, какой бывает разве что у маленького ребенка, только что получившего новогодний подарок.

Когда Леночка покинула комнату, Фарманара и Афанасьев завели беседу. О Тегеране. Они сошлись на том, что в городе осталось еще несколько привлекательных местечек. Старые кафешки для местной богемы. Они все еще существуют, однако новое поколение их уже забыло. Последние двадцать лет для большинства жителей Тегеран означает лишь его северную часть, и это значит, что многие места хотя и существуют в действительности, но в сознании людей давно отсутствуют. Афанасьев сказал, что он до сих пор любит гулять около Санаи и Каим-Макам и ему очень жаль, что многие книжные магазины на улице Карим-Хан закрылись. Он назвал античные магазины Манучехри фундаментом памяти Тегерана.

Фарманара высказал интересную мысль: чтобы выжить в таком поляризованном городе, жители Тегерана овладели характерными навыками. Способность фильтровать все нежелательное. В действительности мы не видим того, чего мы не хотим видеть, даже если смотрим на это. Например, те прогрессивные, или так называемые прозападные (как их называют верующие), люди не принимают в расчет верующих. Даже если они соседи. Для религиозной части общества нерелигиозной его части также не существует. Эти два полюса начинают осознавать друг друга только при определенных обстоятельствах, которые зачастую вызывают не самые приятные чувства. Мы часто замечаем религиозную часть общества и начинаем взаимодействовать с ней в контрольных пунктах, где полиция нравов останавливает нас за распитие алкоголя или запрещенную законом одежду. Религиозный сосед также заметит нерелигиозных соседей, только если его потревожат крики и визги с подростковой вечеринки из их дома. Фарманара был уверен, что то же самое применимо и к мысленному образу Ирана в целом. К примеру, иранские эмигранты в Лос-Анджелесе создают какое-то представление об Иране среди своих американских друзей или коллег. В таком случае чаще всего картинка складывается из конкретного набора фотографий и воспоминаний, ситуативная информация будет также привязана к данному конкретному субъекту, делящемуся своим личным опытом. Иран, представленный таким образом, это прелестная девушка в бикини, с бокалом вина в одной руке и длинной сигаретой – в другой, принимающая солнечные ванны и рассуждающая о цилиндре Кира*.

Образ Ирана, данный религиозным человеком, будет так же искажен, как и образ сексуальной девушки в бикини.

Фарманара полагал, что, вероятно, именно это неприятие объективного образа реальности нашим сознанием и является одной из основных причин, по которой демократия никак не может укорениться в Иране. И как же истово мы верим в придуманные нами же самими образы. Он сказал, что в таком случае несколько не удивительно, что при расхождении реальности и картинки в нашем сознании, мы спешим осудить за это противоречие некоего стороннего врага. Когда леди в бикини заставляют носить хиджаб, мы обвиняем Джимми Картера и весь западный мир в том, что мы называем государственным переворотом 1979 года, который устроили, чтобы остановить наше развитие.

* Цилиндр Кира – глиняный цилиндр, на котором Кир Великий (персидский царь, правил в 559 – 530 годах до н.э.) повелел выбить клинописью список своих побед и милостивых поступков, а также перечисление предков. Цилиндр получил широкую известность после того, как последний шах Ирана в 1960-е годы провозгласил нанесенный на него текст первой в истории декларацией прав человека: Кир высказывался за отмену рабства и свободу вероисповедания.

Аналогичным образом, когда верующий иранец противостоит девушке, которая совсем не носит хиджаб, он обвиняет запад, и Америку в первую очередь, за культурное вторжение, обобщающее иранцев на борьбу против славной Иранской революции 1979 года. Так реальность сама по себе, в данном случае, революция 1979 года и девушка на улице, отказывающаяся носить хиджаб, приносятся в жертву и игнорируются в пользу того образа, который хранится в нашем сознании.

Афанасьев жил совершенно в другом мире. Он был уверен, что империализм под предводительством Америки пытается ввести вирус потребительства и ограниченности в кровь таких обществ, как Иран. Примеры потребительского общества и западной культуры должны быть мишенью, и мы должны создавать реальность, опираясь на идеологию. Мне казалось, что Фарманара и Афанасьев принадлежали к двум разным эрам. Фарманара сказал Афанасьеву, что, естественно, иранцу никогда не стать западным человеком, к примеру, американцем, потому что корни нашей культуры изначально другого типа, и тот, кто думает, что может превратиться в американца или европейца, подобен тому, кто строит дом на воде. Но в то же время он был уверен, что в случае призыва, даже скрытого, к вестернизации применение силы и принуждение людей отказаться от западных ценностей лишь способствует их распространению.

Фарманара считал, что нам следует избегать расчленения аксиом и общих вопросов на про-восточные и прозападные, что это критическая ошибка, совершаемая идеологами и идеалистами.

Афанасьев, покраснев, сказал:

– Сэр, почему вы не понимаете, что мы должны сопротивляться тем, кто хочет поработить нас?

С истерической улыбкой Фарманара ответил:

– Вы знаете, сэр, в этой стране нас уже до смерти заучили.

К счастью, в самый нужный момент их прервал Фарзам:

– Господа, алкоголь уже не действует.

Полковник Афанасьев, будто услышав приказ своего начальника, немедленно ответил:

– Да, сэр, будет сделано! – и наполнил бокалы.

Я как раз собирался спросить Фарзама, нет ли у него сигарет, как пришли Леночка и Татьяна Степанко, давешняя балерина. Из нас четверых только Фарманара улыбнулся фальшиво. Улыбки остальных исходили из сердца и еще из одного места. Это были улыбки коварных персонажей из японских аниме. Поднимаясь со своего места, Афанасьев хлопнул по столу и громко поздоровался с Татьяной по-русски:

– Полковник Афанасьев, приятно познакомиться.

Фарзам кивнул головой так, будто всю свою жизнь был настоящим аристократом. А я, как третий участник желающего произвести на нее впечатление триумvirата, добавил:

– Мы имеем честь познакомиться с госпожой Степанко с верхнего этажа. И этой честью мы обязаны водке.

Не успела Таня ответить, как Леночка, подражая Афанасьеву, стукнула по столу и сказала:

– Наша любимая Таня спокойно говорит на фарси, нет необходимости общаться по-русски. Мистер Фарманара начнет скучать. Кстати, наверху был небольшой хаос, я слышала, что какой-то господин забрался на стену церкви снаружи и кричал: «Долой Россию!», но никто не заметил его, кроме консьержа, который и рассказал мне об этом. Таня утверждает, что знает его лично.

Леночка продолжала:

– Консьерж заинтересовался у него, зачем он это делает и почему ненавидит Россию, а тот, кажется, признался, что причина в том, что на вечеринку пригласили его коллегу, а его самого – нет. А потом он сказал, что еще не поздно пригласить его выступить с речью, в качестве главного иранского художника-мультипликатора, и тогда он наденет российский флаг на плечи и войдет в здание, но только через главный вход, а не через тот, где стоит. Мультипликатор сказал, что если

они откажутся предоставить ему слово, то он немедленно сожжет российский флаг. Консьерж пытался объяснить ему, что он всего лишь консьерж и не в праве приглашать кого бы то ни было, но даже если бы он мог, то не стал бы этого делать, потому как уже поздно. Сумасшедший художник разделся и вылил на одежду бензин, а потом попытался сжечь ее вместе с флагом, но, как сказал консьерж, поджечь флаг не удалось, тот упал к подножию церкви, а помешанный художник загорелся вместе с одеждой и вынужден был сам спрыгнуть вниз. Консьерж немедленно бросился к нему с огнетушителем, спас беднягу и вызвал скорую помощь.

Афанасьев очень занимательно прокомментировал этот случай:

– Ну что ж, таким образом, он заявил о своем существовании консьержу и бригаде скорой помощи, благодаря чему Леночка, да и мы тоже о нем узнали, ведь среди нас всех лишь Таня Степанко знакома с ним лично.

Таня подтвердила, что знает художника, но в этот раз она сказала, что знает его через друзей из Германии, от которых о нем и слышала. Видимо, она забыла, что изначально говорила о личном знакомстве с ним. Она объяснила, что у нее есть иранский друг, который живет в Лейпциге. Его зовут Шахрам Тикеш. Он возглавляет оппозиционную партию под названием «Иранские трудящиеся Лейпцига». Они выступают против иранского режима. Таня сказала, что товарищ Шахрам всегда рассказывал ей об этом художнике. Он также утверждал, что иранский писатель Ибрагим Набави и этот художник, как Маяковский и Есенин, всегда затевают интеллектуальные споры. Мы знали Набави, но никогда не слышали о сумасбродном художнике.

Тем временем Фарзам начал что-то искать в своем смартфоне. У меня смартфона не было. Я всегда боялся новых зависимостей. Все что угодно, за исключением женщин, может сделать зависимым. Он положил телефон передо мной, не привлекая внимания других. Википедия сообщала: Партия «Иранские трудящиеся Лейпцига» состояла из трех человек. Основателем и представителем партии был Фетхуллах Манучехри, под псевдонимом Шахрам Тай Кеш («тай кеш» на фарси означает того, кто участвует в уличной поножовщине). Шахрам Тай Кеш (или, как произносила Таня, Тикеш) разыскивался иранской полицией за хулиганство и учинение беспорядков, и, так как ему грозила смертная казнь в Иране, немцы предоставили ему убежище в своей стране. С того времени он начал политическую деятельность как оппозиционер, и ему даже удалось расширить свою деятельность, после того как он смог получить стипендии от некоторых европейских организаций, связанных с продвижением демократизации. Он опубликовал множество статей на иранском оппозиционном сайте под названием «Перо». Себя он считал нелиберальным сталинистом! Когда я дошел до этих слов, я еле сдержался, чтобы не разломать смартфон, но успокоился и продолжил читать. Он был арестован немецкой полицией за сутенерство, кражи у работающих на него проституток и неуплату налогов. После суда его посадили в тюрьму. На поверку Шахрам Тикеш, нелиберальный сталинист, оказался всего лишь сутенером и хулиганом, который теперь решил обдурить европейские институты демократизации.

Казалось, Фарманара догадался, что мы нашли что-то интересное о том, что рассказывала Таня, это было видно по улыбке на его лице.

Мне всегда нравились умные женщины, но Таня была одной из тех, с кем мне просто хотелось потанцевать. Ее точеное, совершенное тело вызвало к жизни философский парадокс в сознании таких людей, как я. К примеру, я думал: что лучше – знание или богатство? В моем сознании это проявлялось особенно ярко, так как я недавно начал впутывать нечувственные факторы в чувственные дела. Духовные, интеллектуальные или, возможно, псевдоинтеллектуальные факторы, которые оскорбляли чувственное наслаждение.

Оторвавшись от тех людей, что сидели вокруг стола, и уйдя в свои философские рассуждения, уставившись на грудь Тани Степанко, я вдруг внезапно осознал, что Леночка стоит рядом и наполняет мой бокал, шепча при этом:

– Как говорит Вуди Аллен, твой кумир: секс без любви – напрасный опыт, но в качестве напрасного этот опыт один из лучших.

Затем она кокетливо улыбнулась.

Эта фраза Вуди Аллена, сказанная в момент моих философских терзаний, навела меня на мысль, а может, Леночка и вправду святая, которая вдобавок умеет читать мысли других людей. Но в данный момент, к несчастью, ее кокетливая улыбочка только усугубила мои философские сомнения, поставив перед новым нелегким выбором – Таня или Леночка.

Таня как раз рассуждала о позитивном сознании и юге*, когда полковник Афанасьев перебил ее, окликнув командным голосом Леночку и указав на скрипку, которая лежала рядом с бронзовым крестом на консоли позади нее.

Направившись к скрипке, Леночка ядовито сказала Тане:

– Может, ты pomoжешь немного? Не могла бы ты наполнить бутылку? Я думаю, ты должна помнить, где я это делала.

Таня была из тех, кого голыми руками не возьмешь, она взяла реванш всего лишь одним движением, выпрямившись и оправив юбку, чем привлекла внимание всех мужчин, за исключением Бахмана Фарманары.

Леночка, несколько нервно, передала скрипку и смычок полковнику, и тот начал настраивать инструмент. Фарзам вновь принялся разглядывать загадочную картину, Фарманара молчал, а я начал постукивать по бокалу, издавая легкий звон, похожий на звон колокольчика, и тереть его сверху, чтобы получился звук определенной высоты, и надо сказать, бокал справился со своей задачей на отлично. Да, великолепный богемский бокал в пору той богемной жизни, которую я и Фарзам вели в последнее время.

Таня возвратилась. Мы с Фарзамом отвернулись от бокалов и картины и стали пристально смотреть на «центр тяжести» того шедевра, который не смог бы создать даже Микеланджело, – Танину попку.

И она явно доказывала, что разумный создатель существует.

Фарманара напрочь отказался еще от одного бокала, напомнив мне известный агитплакат, на котором молодой человек спортивного вида отодвигал рукой рюмку, а на самом плакате было написано «Нет».

Так как Фарзам собирался отвезти нас обратно домой, он, само собой, мог пить и дальше. В те дни пьяное вождение было основным развлечением иранцев. По последним данным, объявленным шефом иранской полиции, тридцать три процента тестов на алкоголь оказывались положительными. Одному Богу известно, какой процент людей из оставшихся шестидесяти семи принимал другие запрещенные препараты.

Скрипка полковника, наконец, была готова. Он подмигнул Леночке и сказал по-русски:

– Гори, гори, моя звезда.

Фарзам шепнул мне на ухо:

– Придурок. Почему я должен стоять здесь и слушать русскую песню?

Методом кнута и пряника я убедил его остаться, ответив на ухо:

– Идиот, ты действительно хочешь наверх к Шади или все-таки предпочтешь остаться с Таней?

Илья Филиппович начал играть, и тогда русская святая запела «Гори, гори, моя звезда...». Кем бы ни была Леночка, но вокал у нее был сильный. Когда она запела, я наконец понял, что значит «божественный голос».

Мы все были очарованы ее пением. Никто больше не обращал внимания на Таню Степанко. Наши взгляды отлипли от Таниной фигуры, чтобы приковаться к поющим Леночкиным губам.

* Юга – в космологии индуизма – мировой век.

Даже полиция нравов не сделала бы это эффективнее, чем Леночкин голос. Я, Фарзам и мастер иранского кино сидели вокруг стола в таинственном подвале русской церкви в Тегеране. Полковник Красной армии, который будто на машине времени перенесся сюда из далекого прошлого, играл на скрипке, а настоящая русская святая, возродившаяся в Тегеране, пела для нас русский романс. Даже Фарзам, не понимавший по-русски, да и вообще не любивший пения, наслаждался не меньше нас. Вдобавок украинская балерина, продавшая великолепие своего искусства иранскому поп-певцу, сидела на середине стола, сцепив руки на согнутых коленях.

Первая песня закончилась, и Афанасьев сразу же начал играть следующую, перебирая короткими пальцами струны и постукивая ногой по полу. Затем он подмигнул Тане. Таня встала на стол и начала стучать по нему ногами в такт скрипки Афанасьева.

В душе полковника Афанасьева проснулся цыган, а Таня Степанко, наверное, решила отплатить за все те моменты этого вечера, когда в центре внимания была не она. И у нее это здорово получилось! Она задрала свое узкое, короткое платье, которое надела после выступления с Шах-каром, и начала босиком танцевать прямо на столе.

Танины танцы поглотили все наше внимание, и ее присутствие здесь было сейчас для нас самым важным. Каждым своим притопом на столе она как бы подтверждала свое существование. Через каждые четыре-пять притопов, когда она делала мах ногой, как танцовщицы Мулен Руж, я видел ее белье. Темно-синее, с блестящими серебряными звездочками. Вульгарно, но очаровательно. Мое внимание привлек синяк на ее правой лодыжке, так что каждый второй раз, когда она поднимала ногу, я смотрел на этот синяк и думал, что, по стечению обстоятельств, синяк и темно-синее белье удивительно сочетаются друг с другом. Вскоре я заметил, что Леночка подошла к Фарманаре и пригласила его на танец. Ни я, ни Фарзам совершенно не хотели танцевать, так как нам пришлось бы покинуть насиженные места, но, как бы там ни было, нас даже не пригласили. Фарзам прошептал мне на ухо:

– Не очень мне нравится эта Леночка. Люди, считающие себя ангелами, всегда меня пугали.

Я ответил, что она считает себя святой, а не ангелом, а это разные вещи.

Музыка сменилась. Я не знал звучавшей песни, но это было последнее, что меня волновало в тот момент. Играла какая-то быстрая цыганская мелодия. Великолепная, на мой взгляд. Таня прыгнула со стола и взяла нас за руки. Вот теперь уже не было причин сидеть и не танцевать: она ведь больше не танцевала на столе. Во время игры на скрипке Афанасьев приплясывал. Я и не заметил, когда он скинул свой пиджак. Теперь на нем была лишь белая майка. Он громко кричал: «Хей!», и мы, как заправские цыгане, тоже кричали: «Хей, хей!». Леночка с Таней тоже кричали, а Фарманара явно давал понять, что фильмы – не единственный его конек. Мы танцевали вокруг стола. Мы будто превратились в цыган. С последним глотком спиртного прошлое и будущее исчезло, осталось лишь настоящее. Мы плавали в море настоящего, мы были свободны. Жаль, что это не могло длиться вечно, но, как сказал Господь, удовольствия мира мимолетны, – и песня с танцами закончилась. Цыган внутри Афанасьева исчез, он положил скрипку на стол и надел пиджак.

Фарманара тяжело дышал, Фарзам и Таня чуть ли не приклеились друг другу и, казалось, были довольны таким положением дел. Леночка направилась к Афанасьеву. Афанасьев пожал руки мужчинам и расцеловал Леночку и Таню. Он сказал, что очень устал и, несмотря на то что он очень хотел бы сыграть для нас одну иранскую песню, песню его друга, он не сможет сделать этого из-за усталости, к тому же у него не было с собой гитары. Я захотел узнать подробнее о его друге и этой песне. Он ответил:

– «Prison of the heart» Ферейдуна Форуги.

Ферейдун Форуги был известным иранским музыкантом, покинувшим этот мир много лет назад. И эта песня была моей любимой. Услышав это от Афанасьева, мы с Фарзамом удивленно посмотрели друг на друга. Стало ясно, что пора было уходить. И чем скорее, тем лучше...

Афанасьев попрощался и вышел из комнаты. Фарманара сказал, что тоже устал и собирается уходить. Таня прикипела к Фарзаму, как лишайник к дереву. Я понял, что вечер проведу в одиночестве, что, собственно, не было проблемой, главной проблемой было добраться до дома самостоятельно. Пришлось вызывать такси.

Леночка тоже собралась выходить с Фарманарой, чтобы помочь выгнать автомобиль со стоянки, так как там было нагрождено много машин. Фарманара сказал, что если мы собираемся уходить, то лучше пойти вместе с ними, потому что Леночка хорошо знает непростой путь наверх. Таня начала ворчать, что она знает путь не хуже и ей не нужно Леночкино руководство. Леночка, в свою очередь, ответила:

– О, мистер Фарманара прав, мне еще нужно запереть двери, так что будет лучше, если мы пойдем все вместе.

Затем, отдав мне несколько бокалов, чтобы я захватил их собой на кухню, Леночка сказала:

– Ты не поверил, что я святая, так пожелай что-нибудь сейчас.

– Да, я не верю, – ответил я не раздумывая. – Но хорошо: если вы можете, поверните время вспять и перенесите нас в те часы, когда нам было по восемнадцать, а Али Бешарат еще был с нами.

Али Бешарат был нашим лучшим другом со старших классов, а дни, проведенные с ним, были прекраснейшими в моей жизни. Он первым из нас смог убежать от тиранического правления Ахмадинежада, уехав в США в качестве иностранного студента. США были похожи на большую тюрьму для иранских студентов. С одноразовой въездной визой можно было въехать только единожды, так что студенты предпочитали запереться там до конца обучения. Можно себе представить, что для аспирантов режим был еще строже.

– Нет, это слишком, – сказала Леночка, – я только недавно стала святой, у меня еще нет такой силы, пожелай что-нибудь простое на вечер.

Фарзам и Таня начали шептаться и ворчать, смешивая фарси и украинский. Я подумал, что за ненормальная эта Леночка. Я не знал, что ответить. И сказал только:

– Ладно, раз мы идем наверх, хочу, чтобы Шади уже ушла и Уберменш больше не пел, а если они все еще там, то пусть не действуют нам на нервы, а по дороге домой пусть нам не встретится басидж*.

– Это я могу устроить, – обрадовалась Леночка, – и у меня есть для тебя сюрприз.

Мы вышли из подвала, поднялись по ступенькам и снова оказались над землей. К сожалению, земная поверхность в эти дни могла предложить меньше, чем подполье. Слышен был звук барабана. Наверное, люди танцевали. Это не могла быть живая музыка, так как Уберменш уже закончил свое выступление еще до речи Шади. Мы открыли дверь, и – о Господи! – я не мог поверить увиденному, Фарманара задержал дыхание, Леночка ухмыльнулась, Таня казалась рассерженной, а Фарзам после большого количества выпитого удивленно таращил глаза. Уберменш пел:

– «Я влюбился в тебя, крошка. Ты как хрустящий фруктик, крошка. Я постоянно твержу, что люблю тебя, а ты все время прогоняешь меня. Ну, иди же ко мне, моя горячая пухляшка, и позволь тебя крепко обнять».

Это пел Уберменш. Строчки из песни известного иранского дуэта Энди и Куруш. Если честно, он исполнял эту песню хорошо, хотя и не дотягивал до оригинала, но больше всего нас удивила даже не сама песня. Шади Бадр, иранская экстремистская феминистка, теоретик неорадикализма, танцевала, трясла попой и бюстом, на сцене рядом с Уберменшем, перед десятками зрителей, очень вульгарным образом, настолько же вульгарным, насколько была сама песня.

* Басидж – иранская полувоенная милиция из добровольцев, основанная аятоллой Хомейни в ноябре 1979 года. Басидж имеет право останавливать автомобили, чтобы проверить водителя на алкоголь, или арестовывать людей, имеющих свободные сексуальные отношения.

И Шади, и Уберменш в тот момент были именно «самими собой». И то, какими они были в действительности, выглядело гораздо более очаровательным, чем когда они пытались изобразить из себя кого-то другого.

Один из русских гостей рассказал Тане, что два часа назад здесь начали происходить странные вещи. Уберменш встал перед всеми на колени и сделал предложение Шади, и с тех пор здесь все веселятся и танцуют.

Все выглядели счастливыми, даже Таня, хотя некоторое сомнение на ее лице все-таки осталось. Фарманара попрощался и ушел. Леночка проводила его до пропускного пункта. Мы остались и начали танцевать. Уберменш играл старые персидские танцевальные песни. Песни, которые я любил с детства. Русские и грузины тоже наслаждались необычными иранскими танцами. Когда Леночка вернулась, мы станцевали вместе. Я и русская святая танцевали под мою любимую старую песню. Я не знал, вправду ли она святая, но мне хотелось верить, что так оно и было.

Я попрощался с Фарзамом и Таней, а потом и с русской святой, и собрался идти домой в одиночестве. Я решил не вызывать такси прямо к церкви, а немного пройтись.

Я хотел дойти до офиса такси на улице Бахар, где, как мне было известно, находилась одна такая контора. Это были улицы, на которых я вырос. Здесь прошли мои детские и подростковые годы. На этих улицах я влюблялся. Живя по одному адресу, любил местных девчонок, а переезжая по другому адресу, менял и любовь.

Я прошел мимо дома Алины. Помню, я купил «Золотые баллады» Скорпионс на черном рынке и принес ей. Я не мог подняться к ней наверх: они были армянами. Армяне в Иране вели себя очень рьяно и фанатично, когда это касалось их отношений с нехристианами. Не лучше фанатичных мусульман. Если бы я поднялся наверх, а они узнали об этом, то для меня это было бы чревато последствиями. Безусловно, жизнь была для меня дороже любви к Алине, так что я просто забросил кассету на второй этаж, где стояла девочка. Это все, что мне запомнилось о ней: как она стояла на балконе второго этажа. Ее глаза светятся от счастья, но на лице страх. Почему так выходит, что целые куски жизни сжимаются в нашем сознании до небольших картинок?..

Я прошел мимо дома Мариам. Она мне нравилась. Почему я никогда не говорил ей об этом? Я добрался до площади Хафте-тир, где стоит мечеть Аль-Джавад. Большое уродливое подобие архитектуры. Строение без лица и души. Мечеть была построена во времена шаха, в семидесятых. Почему они не строят мечети в волшебном, красивом ирано-исламском стиле? Когда я был ребенком, то боялся этих зданий, и позднее, когда подрос, понял причину этого страха: все дело в уродливости и полной архитектурной никчемности. Стоит ли удивляться, что с тех пор я не мог испытывать к мечети никаких других чувств?

Я включил телефон, чтобы проверить время. Было 3:30 утра. Буквально пять минут назад Фарзам оставил мне голосовое сообщение: «Она дешевка и фальшивка. Я подумал, что если она зайдет ко мне, то вначале будет трепаться битый час, чего я не вынесу. Так что я решил выкинуть это из головы и отправил ее одну, а сам пошел домой прочить. А ты, осел, опять выключил свой гребанный телефон. Я решил: если ты еще где-то здесь, то подброшу тебя до дома».

Я позвонил ему и заставил вернуться. Он почти уже успел доехать до дома, но вынужден был вернуться за мной. Он разворчался, но все-таки приехал. Мы даже забыли послушать музыку в его машине. Он подвез меня до дома и уехал.

Я зашел домой, снял брюки и просто сел на диван. Я разбирал события этой ночи. Может, если бы я не пил, мне было бы труднее все это принять. Спать не хотелось. Я сделал себе чай и сел за компьютер. Проклятый иранский Интернет – в Иране мы называем его «филтрнет»*. Мне постоянно приходится пользоваться антифилтром, из-за чего все ужасно тормозит. Обычно я не трогал Ахмадинежада в 4:30 утра, довольно ранняя пора для «минутки оскорблений».

* Так как в Иране многие веб-сайты фильтруются, люди иронично называют Интернет филтрнетом.

О Свято-Николаевском соборе в Тегеране было не так много доступной информации. Все, что я узнал о церкви, я уже слышал от друзей-грузин. Я нашел блог в ЖЖ, принадлежавший иранскому послу в Москве Резе Саджади. Посол действительно работал, что было необычно для иранцев. Он периодически обновлял свой блог на разные темы и пытался общаться в современной и цивилизованной манере с населением страны, в которую был отправлен послом. Я нашел его статью о Свято-Николаевском соборе в Тегеране. Было в этом тексте что-то странное, что насторожило меня. Я взял телефон и позвонил Фарзаму:

– Здорово, приятель, все в порядке?

– Что? Что случилось? Ты, придурок, звонишь мне в... э-э... шесть утра, чтобы спросить, как у меня дела?

– Заткнись, Фарзам, послушай, я нашел тут кое-что о русской православной церкви, что меня охеренно удивило.

– Что именно?

– Афанасьев – ну, тот парень – действительно был полковником воздушных сил.

– Ну да. Именно это он и сказал.

– Да, но Афанасьев и шесть других членов экипажа военно-транспортного самолета погибли в аварии при посадке в аэропорту «Мехрабад» в Тегеране в 1944 году.

– Что ты имеешь в виду? Что мы видели не самого Афанасьева, а его призрак?

– Здесь написано, что он похоронен в той церкви.

– Так, хорошо, сейчас я иду спать, и мы поговорим о бродячем призраке Афанасьева позже, хорошо?

Я положил трубку, не попрощавшись. В Интернете не было фотографии Афанасьева. Я пристально взгляделся в снимок Свято-Николаевского собора, который открыл при помощи анти-фильтра. Мне нравилось это место. Я и раньше часто бывал там, чтобы повидаться с моими дорогими грузинскими друзьями. В следующий раз, отправившись туда, я бы повидался и с Афанасьевым. С человеком, чьей основной работой было вспоминать, а в свободное время – учить языки, читать книги, играть музыку и рисовать.

Я вышел из иранской интернет-тюрьмы и выключил компьютер. Лег на кровать. Я думал о русской православной церкви. Вспомнил, что забыл попрощаться с Тамилой. Я подумал о русской святой. Вспомнил великого Фарманару, который надел свою элегантную шляпу и – вышел из кадра.

Как бы мне хотелось увидеть во сне церковь...

Зима 2014

Вячеслав ЛОПАТИН

ДВЕ ВЫСТАВКИ
(Ю. Лаврентьев, Н. М. Гуцин)

В книгу отзывов выставки Ю. ЛАВРЕНТЬЕВА (11 июня – 23 августа 2015 года, Саратовский государственный художественный музей имени А. Н. Радищева):

Среди художников, чутких к организации красочного слоя – Лаврентьев. Его яркие работы привлекают внимание, картины – предлог бесхитростного разгадывания этикетки. – *«Три женщины»? – Нет, их тут больше! – Может, этикетки перепутаны?*

Лаврентьев и его сторонники уделяют такое внимание технике живописи, что спрашивается, чем они помимо сюжета озабочены? За неимением других обозначений, можно сказать, озабочены *игрой материальных сущностей* (термин Гуцина Н. М., 1963 года).

Сегодня саратовские художники – их картины у всех на виду – оригинально возрождают традицию, недостаточно также ее осмысления. Картину Гуцина под названием «Игра материальных сущностей», исполненную в 1963 году, разрешили показать в 1987 году, спустя 22 года после смерти художника. Теперь не запрещено смотреть «такое», и можно сказать о прошлой практике.

Узнали саратовцы от московских искусствоведов на боголюбовских чтениях 2004 года, что наши земляки, художники «мусатовской» школы, *заставив заговорить собственным языком грунт, мазок, краску, освободив живопись психологически и в большей мере пластически от задач изобразительности, открыли путь, по которому вслед за тем пошло развитие русского авангарда.*

...открыли путь...

На этом пути сторонники «революции искусства» в 1919 году хотели организовать в Саратове музей «Нового искусства» имени художника В. Э. Борисова-Мусатова. *Лирическая ветвь русского модерна* (Тугендхольд) – Мусатов, работы Павла Кузнецова, Уткина, Петрова-Водкина, Александра Матвеева – они не отражают, а конструируют действительность. Авангардная программа саратовского музея «Нового искусства» – ориентир иной практики, другого значения, поиск смысла не изобразительности, проблема осознания родства цвета и звука – *«Ведь я же хочу звучать!»* (Борисов-Мусатов).

Прервалась преемственность, и Советский отдел Радищевского музея стал отсчитывать рождение современного искусства датой Великой Октябрьской социалистической революции. С позиции XXI века хронологические рамки современного искусства укладываются между выставкой «Алой розы» 1904 года, когда вслед за Мусатовым его последователи разуверились *сделать Саратов плацдармом боёв за новое искусство*, и аналогичным явлением «Жёлтой горы» конца XX века. Осталось ли «современное искусство» в прошлом XX века? Не пришло разве ему на смену искусство XXI века – «новейшее искусство»?

Подходит ли к работам Лаврентьева определение Гуцина – *Игра материальных сущностей может быть содержанием произведения искусства. Игру материальных сущностей организует ритмика – линейная, цветовая, фактурная. Объёмная не обязательно.*

Другие мнения будут? Какие? Нужна ли нам осведомлённость на уровне красочного слоя? Что такое внесюжетное содержание произведения искусства?

На выставке Н. М. ГУЩИНА (20 августа – 6 сентября 2015 года, Дом-музей Павла Кузнецова):

Долгожданного Гущина – выставка: не просто повесили, а потом картины сняли! – с концепцией показать французский период художника. С необычным участием частного собственника, энтузиаста: разыскал за рубежом, приобрёл шесть картин Гущина, некоторых из сарая сам достал в ужасном состоянии, реставрировал за свой счёт и показал – издал каталог выставки – Малыгин Николай.

Благодаря Малыгину впервые видим зарубежные работы Гущина, исполненные масляными и водяными красками при дневном свете – «обыкновенная живопись», «как у людей». Быть профессионалом: рисование источник средств существования – в Саратове Гущин не мог. Чтобы картина продавалась в Художественном салоне Союза художников, на ней с оборота должна быть печать «К распространению допускается» с подписью ответственного лица и датой (такая печать стоит на мне принадлежащей работе Юстицкого 1948 года).

На западе Гущин участвовал в групповых выставках вместе с Пикассо, Матиссом, Руо, в сборных выставках с участием мастеров прошлого, а в Саратове Союз художников не пускал его на выставки – конкуренция между художниками принимала и злодейское обличье (Союз художников в 1960 году подал в ОБКОМ КПСС донос – *Гущин идеологический диверсант*).

Но было в советском образе жизни и содержательное начало, выразимое стихотворением 1963 года Валентина Ярыгина «Гущину» – *...Вы все палитры перебрали/ А мы в удушливой пыли/ Вне Ваших шёлковых спиралей/ Окровавлённые цвели./ И потому немного тужим/ Что, столь приятны для очей,/ Вы ни людским сердцам, ни душам/ Не приготовили речей.* При всей искренности заблуждения Ярыгина, добровольца двух войн, политкомиссара кавалерийского батальона, приложившего односторонность своей правоты к характеристике Гущина, надо добавить информацию, полученную не от самого Николая Михайловича, а из сообщения ТАСС – в годы войны им в Монако создана организация «Союз советских патриотов», близко примыкавшая к французскому Сопротивлению (Гущин получил правительственную награду Франции – медаль).

Сам Гущин категорически отказывался считать себя эмигрантом: оказавшись в Перми автором взорванного колчаковцами памятника борцам революции, бежал не от советской власти, а от репрессий белогвардейцев – начались скитания по миру. О содержании внутреннего мира Гущина, жившего в Монако, дают представление стихотворные строки его дальнего родственника, поклонника Хлебникова Александра Бржевского – *Свет зари багрово-алый/ Красит крыши Монте-Карла./ Краски радужные галла/ Тень разлуки умыкала./ Вишь, опять циклопом взгляда/ Вечеру блазнилась Вятка./ О, бездомного уклада/ Одинокая повадка.*

Отвлечись от сиюминутной однозначности середины XX века, в 1987 году, по поводу впервые разрешённой в СССР выставки, о Гущине Борисом Казимировым сказано жизнеутверждающее – *...Средь раскалённых прутьями сплетёнными стволов змеистых,/ в прекрасных снах затерянно паря/ от мира,/ и Перун из лунных бликов льдистых,/ художник-дух, цветов кипят моря,/ и Вечность сна цветного и ночного./ ночь вечная и снежная в горах.../ И ничего не повторится снова./ И кроме мрака есть не только тлен и прах.*

Кроме власти, науськиваемой конкурентами-художниками, отторжен ли Гущин советским обществом? Необходимость себя Гущин пояснял примером продуктового магазина, где не только чёрный хлеб, но и белый, и другие, не столь необходимые, но востребованные населением продукты, – с сарказмом приводил пример – *французские*

булочки (были такие в то время). Искусство так же разнообразно, но потакать вкусам не должно.

В Саратове Гушин принуждён быть художником в свободное от работы реставратора время. При электрической лампочке в 300 свечей сделаны его основные работы. Однажды рассказывал – писал всю ночь, утром увидел, вместо белил использовал стронциановую жёлтую. Лампы накаливания отсекают часть оптического спектра – «лезут» тёплые краски, их Гушин поневоле «нейтрализует» холодными. От этого «особенность» живописи Гушина – много холодного, голубого цвета – ещё и собственная склонность, подобная Борисову-Мусатову.

...Характер Николая Михайловича вспыльчивый был, доверчивый, улыбка очень приятная, очаровательная. Гушин был отдалённым. Но очень внимателен... Гушин зажегся и сам вдохновлял (Чудин: записала Ирина Пятницына).

...Гушин зажегся и сам вдохновлял...

Кто кого вдохновлял? – обоюдно! Вот смотрим – небольшой этюд Гушина «Осенний лес» 1962 или 1963 года – да это же письмо Миши Аржанова!

Вот «Этюд леса. Казачий остров» 1957 года – не подпись на обороте, так не скажешь, кто писал – Солянов или Гушин. – *В начале 1960-х годов они много писали вместе, и подчас можно ошибиться, определяя авторство того или иного этюда.* (Пятницына И. Н. Художники круга Н. М. Гушина // СГХМР. Материалы и сообщения. Выпуск 7. Саратов. 1995. С. 148.)

Он же на этюды выезжал, писал с нами... Он на меня как обрушится: «Что Вы наделали!»... А мне уж и работать неохота. «А Вы знаете – оставьте». Усомнился. Потом он на этой работе мне где-то пятнышко поставил. И ещё на одной работе – точку красненькую поставил. Я почувствовал – она конструкцию даёт. У меня там чего-то рушилось – рушилось, а тут – раз! – Он рассказывал, как жил на Западе, работал? – Он жил там заказным портретом. Одно время дворником работал... Здесь он всё-таки раскрепостился больше, чем там. (С Виктором Чудиным беседует Сергей Рыженков. 1993 г.)

О «чудинском периоде» в живописи Гушина свидетельствует натюрморт «Полевые цветы. Репейник» 1959 года, исполненный в характерной Чудину цветовой гамме: оранжевое на зелёном также выделяется среди гушинских работ, как рыжеволосый Чудин среди толпы. Вот бы рядом посмотреть натюрморты Гушина и Чудина, работа которого 1959 года послужила «образцом» Гушину: впоследствии поступила в собрание Радищевского музея – много стеклянных банок с полевыми цветами на деревянном полу в полуподвальчике, только жить туда переехали – Чудин с женой Ирой и я с женой Люсей. Помню, как Чудин понёс в музей свои этюды – знакомиться с Гушиным.

...Он часто брал у меня работы: «Можно она у меня повисит?» Ну, повисела. «Возьми-те, я исчерпал её». Часть он раздарил моих работ. Но, наверное, не предупредил, что ли. И вот одна попала на его выставку. Она так до конца и висела. (С Виктором Чудиным беседует Сергей Рыженков. 1993 г.)

Чудин говорит о выставке Гушина 1987 года. Перед открытием той выставки идём мы с Чудиным по экспозиции. Картины уже висят. Чудин – *Кажется, это моя работа! – Молчи – говорю, – и рядом ещё твоя. Ты их писал в 1960 году с Аржановым на Марфутке. Пусть висят, хотя бы до открытия, а то я твой «Стожок» опознал заранее* (принадлежит Сапожниковой из Омска) *и его на выставку Гушина не поместили.*

После открытия выставки Чудин признаётся – *не Гушина, мои работы!* – а ему уже и не верят. Так этюд и вошёл в каталог как работа Гушина («Проток». Неопознан хронологически. К. М. 39х51. Собств. Микояна С. А. Москва. № 254). Второй этюд, аналогичный № 254, в каталог не вошёл, но висеть в экспозиции остался.

Влияние на Чудина Николая Михайловича Гущина, с его особым отношением к цвету в живописи, а впоследствии Николая Андреевича Григорьева – автора идеи «Формулы цвета», способствовали Чудину в 1965 году создать геометрию абстрактного понятия «цвет». «Формула цвета Чудина» – нескольких слов формулировка долговечного манифеста с перспективными возможностями...

Я тоже слышал от Гущина, что несчастье художников Запада «маршаны» – засилье посредников между художником и зрителем. В качестве «вознесённых» рынком – Модильяни.

Однажды даже неловко было, до того Гушин взбеленился – иначе не скажешь! Играя в шахматы с Подъяпольским, Гушин задумался – выиграть ему хочется, огорчается как ребёнок, но поддавки не терпит – пауза. Владимиру Александровичу на глаза попадает газета – разоблачающий текст и наглядный пример – изображение женщины кубистического периода: Пикассо. С доброжелательной интонацией Подъяпольский удивляется безобразной картинке, на возражение аргумент – *Сами-то вы людей красиво рисуете! – Да в угоду таким, как Вы...* Гушин даже детей называл на «Вы» – не терпел фамильярности. Болезненно воспринимал упрёки в «салонной красивости». Сокрушался, что ему на Западе приходилось, в угоду заказчикам, снижать уровень своего искусства до предмета роскоши.

Декабрь 1962 года: «Хрущёв посетил Манеж». Искренность ли, наивность! – никак не притворство: Гушин играет в шахматы с Эмилем Арбитманом, тогда ещё не замдиректора по науке, а научным сотрудником. Николай Михайлович переполнен летними впечатлениями, рассказывает о посещении Саратова студий Белютина, арендовавшей теплоход по маршруту Москва – Астрахань и обратно. Гушин студийцами приглашён посмотреть их работы, оказавшиеся «абстрактными». Гушин говорит, что на Западе художники предоставлены сами себе, общественное внимание к проблемам искусства на уровне Советского правительства – это хорошо, выступление Хрущёва – это только начало. Арбитман откликается – *А по-моему, конец будет самый неинтересный!* Проницательность Арбитмана меня поразила позже, а тогда просто удивила – потому и запомнилась: сам я в числе гостей Гущина побывал на Белютинском теплоходе – никакого сомнения в светлом будущем, а между тем Хрущёв уже сказал «при посещении Манежа» – *В чём-чём, а в отношении искусства и культуры Сталин был абсолютно прав! Слышите? Прав безо всяких оговорок!* (Нина Молева. Эта долгая дорога через век. С. 201).

Гушин любит показывать свою живопись в процессе исполнения – много раз переписывает картины – обязательно при ярком свете, под стеклом, по углам гвоздики набиты, чтобы свежая краска не прилипала.

«Берёзаныку» я видел в нескольких вариантах. Сначала человеческой фигуры не было – Гушин писал букет цветов: в комнате на время ремонта сняты картины, кровать, полки книжные и шкафчик прикрыты. В то время я помогал Игнатову Николаю Сергеевичу, размывали старую побелку потолка и стен, купоросили, белили. Мы с Игнатовым «благоевеем», пока идёт ремонт, видим три варианта – каждый раз новая живопись, на одном и том же холсте. Перед Гушиным мы робели, но тем случаем настолько убавилась дистанция, что без предупреждения заявили к нему утром я и Саня Саников – показать Гушину «голубое видение» – Зиночку, девушку Сани, ей все уши прожужжали про Гущина, захотела его увидеть. Люся, моя жена, тогда первый раз ушла от меня – два обязательных года отработала после окончания художественного училища цеховым художником п/я 105 и завербовалась – я не пускал! – на сезон рабочим сейсмологической экспедиции – увлечена подругой, радистом экспедиции Нонной Айзенштейн, известной самиздатовской поэтессой: «держала» литературный салон – посетителем в свои школьные годы был там будущий советский «сиделец» Саша Романов. Зиночка, племянница Эмилия Арбитмана, в то время бросила школу, работала санитаркой, была в

поре, когда сексуальность ещё не находит выхода – подросток провоцирует вокруг себя явления «полтергейста». Гушин будто «включатель» повернул: он такой молодой, мы с Саней «на периферии». Вечером пришёл я с Игнатовым продолжать ремонт комнаты – у Гущина на том же холсте с цветами Зиночка нарисована. Она тоже среагировала на Гущина, на её расспросы Арбитман выразился – *Старческое сладострастие!* – Гушин её больше не видел.

Мне больше нравился первоначальный вариант – цветы, о чём и сказал. Тут же спохватился – как смею делать замечания, вот достанется! Гушин помолчал. Объяснял: у художника должна быть цель, достигая её, приходится отказываться от попутных, даже удачных, вариантов. Можно работу испортить, но нельзя отклониться от цели – *на пути созидания небывалых ценностей, на пути восхождения к сверхмирной полноте* (эти выражения Гущина вспомнились позже – читая его тексты).

Люся заходит к Гушину с Суминой – наш курс, но она скульптор. Просит Люсю остаться – Гущина интересуется мнение по поводу «Берёзаньки». Люся увлечена астрологией – *...в основе «Берёзаньки» три треугольника, соприкасаясь углами, образуют две диагонали – судьбоносная линия. Внизу треугольник белый. Если бы наложение треугольников – была бы звезда – это лучше. Вы родились под знаком Огня – Вода и Огонь свойственны вам, а белое опасно. – Ну, Вы Фемиды! Это у китайцев белый цвет – траурный, не у нас. Белый цвет у нас – необъятная тишина, ожидающая...* – Записал по свежим следам рассказ Люси, а никаких треугольников на «Берёзаньке» не увидел – видно, и такой был вариант. А всего, сказал Гушин, «Берёзанька» переписывалась семнадцать раз.

«Берёзанька» – светлая сторона образа Зиночки, которую Гушин видел один раз. Полученное впечатление позволило ему завершить «Чайку», давно начатую работу: бушующее море, над ним другая ипостась Зиночки – «демоническая», говоря изысканным искусствоведческим сленгом.

Об отношении к женщинам: Гушин – сколок Серебряного века, а там Соловьёв, а там «София», а там Блок. И, превыше, Иннокентий Анненский – *Люби раздельность и лучи/ В рождённом ими аромате./ Ты чаши яркие точки/ Для целокупных восприятий.* – И грустно – *А вот Иннокентий Анненский никогда не получит широкую известность.*

Зрелые женщины настороженно и неоднозначно относятся к Гушину.

Был (у Гущина на Западе) и такой эпизод. Писал он портрет одной кинозвезды. Пришёл за гонораром, она его встречает в обнажённом виде, он страшно рассердился и убежал, так и не получив денег. Он был нравственно чистым (Воспоминание Милицы Фёдоровны Гликман-Смиренской о Н. М. Гущине. Без даты. Архив СГХРМ).

Детей у него нет, покидает его жена Наташа. Нина Константиновна Шилова, секретарь Куприна, вместе с ним вернувшаяся в СССР после 1945 года, если б не дочь Танечка, вспоминать о Гущине не хотела (на стенах её портрет работы Гущина и другие его картины, весь «иноземный имидж» Гущина после возвращения её рук дело).

...Дамский угодник – вспоминая Гущина 1948 года в 1995 году, Серебровская Любовь Александровна, тогда солистка балета, затем балетмейстер Саратовского театра оперы и балета (имени Н. Г. Чернышевского – если кто не помнит). Она же на обсуждении совместной выставки 2000 года «Гушин – Аржанов» – ...Такие люди были всегда, есть сейчас и будут. Мы должны быть счастливы, что нам на пути встретился... ...я знала хорошо Гущина. И сейчас на выставке прошлое вернулось – жизнь прекрасна!

Гушин: – *Личность женщины постоянно подвержена опасности... жертвенного заклания себя... С этим связано и всё высокое в женщине и низкое в ней, жуткая чуждость ей природе мужской. ...Женщина... во временное состояние вкладывает всю полноту своей природы. ...высший мистический смысл любви в приобщении к женственности. ...Мы все охвачены стремлением к вечной женственности, это источник нашего рабства и любви... Женственность я утверждаю в аспекте девственности, а не материнства* (Из писем

Альдоне Ненашевой: Волга. 2015. № 1-2 (454). «Творчество – есть свобода». Письма Н. М. Гущина.)

У Гущина «дача» – сарай на Сазанке, напротив Саратова. Надпись на сарае «Вилла Марфутка. Приют моих голубых видений». Молодые девушки льнут к Гущину – они и есть его «голубые видения». Повзрослев, «голубые видения» переписки с Гущиным стеснялись, его письма не сохраняли.

Завершает «женскую тему» не чернящее Гущина соответствие его программе *о постижении действительности на шести уровнях тремя состояниями* – на уровне кича озорство Ярыгина – *Двойка женская натура./ Когда своё изволит брать,/ Перед глазами тает дура/ И раздвигает ноги б....!*

Требуется пояснение? Ярыгин, юрист по образованию – *Констатация безотрадного факта не есть апология безотрадного факта!* – Разве соитие, спросите, безотрадный факт? Ярыгин послал бы читать Цветаеву, *единственная из женщин, не поэтесса – поэт!*

О сюжетном содержании

Эмилий Арбитман считал наиболее ценным в наследстве Гущина его портреты, в первую очередь автопортреты – созвучие эпохи.

Гущин называл свои картины как? – Видениями! – Из культуры импульса! Так Шуман в цикле «Любовь и жизнь Женщины» на стихи Шамиссо превращает тексты в сонаты. И Гущин свои образы переводил в пейзаж, не в качестве мотива, как понимают сегодня художники... Что-то превратит в пейзаж, а что-то в портрет или автопортрет (Людмила Перерезова).

На выставке мы не увидели – только фото – «Музыку Баха»: портрет Маргариты Богдельщицкой. «Летящая» – Лариса Сулковская. «Лунная соната» – Наташа Свищёва. «Моя симфония» – автопортрет Гущина. «Возвращение блудного сына» – Михаил Аржанов. «Берёзанька» – Зиновья светлая-светлая, а вот «Чайку» «демоническую» на выставку не взяли.

Гущин и музыка

– Гущин был виолончелистом, играл в оркестре в парижском театре после Харбина, сначала в Париже художником не мог прокормиться. Виолончель и в Саратов с собой привез. Редкий инструмент настолько, что не может потеряться, – продал в Театр оперы и балета. Смычок остался висеть в комнате, где жил. ...живопись – та же музыка, те же ритмы, пассажи, лессировки. Двойника музыки живописью не сделаешь, а можно сделать только эквивалент, а не подобие (Виталий Фёдорович Козача, староста Саратовского художественного училища времени преподавания Гущиным технологии материалов, 1948 год).

Гущин готовится к приёму гостей, которым собирается показать свои работы. Специально освещает свою картину, звучит музыка (проигрыватель «Рекорд», набор долгоиграющих пластинок), к которой относиться избирательно: «Грустный вальс» Сибелиуса – гостям, пришедшим первый раз, знакомым – Шопен; почитает Баха, с пиететом – к Скрябину, в родстве с Шуманом.

– Николай Михайлович, – спрашивает Людмила, – почему у вас нет Бетховена? – Бетховена у меня не может быть! –

...Интонация Гущина обращена к каждому конкретно, не ко всем сразу (Людмила Перерезова).

– И Бетховен был субъективен, но субъектом Бетховена было всё человечество, а субъектом Шумана – он сам (А. Г. Рубинштейн. Лекции по истории фортепианной литературы).

Гущин любит Шумана, особенно поздние произведения: «Концерт для виолончели с оркестром», «Фортепианные фантазии до мажор, опус 17», имеющие соотносимое Гущину программное посвящение из Фридриха Шлегеля – *Во сне земного бытия/ Звучит, скрываясь в каждом шуме,/ Таинственный и тихий звук,/ Лишь чуткому доступный слуху.*

...Шуман ведет нас в такие места, которые без него мы никогда бы не отыскивали. Порой его музыка бывает настолько спокойной и мягкой, что мы словно чувствуем себя на небесах. Но иногда она становится до того яростной и пугающей, что мы как будто попадаем в ад. Все зависит от того, о чем грезит сам Шуман... все, что Шуман сочинил, прелестно, странно, индивидуально... – есть люди, которые заявляют, что поздняя музыка Шумана – слабая, лишенная вдохновения. По-моему, таких людей надо закидать гнилыми помидорами и тухлыми яйцами. Его поздняя музыка не слабая. Шуман просто блуждает по неизведанным тропам, и это наше дело – последовать за ним или нет. Если да – перед нами откроются восхитительные пейзажи, только совсем иные. Музыка всегда стоит тех дополнительных усилий, которых она требует от слушателя... вы познакомитесь с музыкой Шумана и полюбите ее. Через нее вы проникнете в его душу – а это прекрасная душа. Музыка Шумана рассказывает нам о том, каким был Роберт Шуман. Но при этом она обращена ко всем нам... Все, что он испытал в своей жизни, изливается в его музыке. Ни одного другого композитора мы не можем узнать так близко. Шуман делится с нами своими самыми сокровенными тайнами, рассказывает свои самые заветные мечты – он говорит со слушателями так, словно они его любимые друзья (Стивен Иссерлис. Всякие дикины про Баха и Бетховена, а также про Моцарта, Шумана, Брамса, Стравинского. Санкт-Петербург: Азбука-классика. 2007. С. 129–132.)

...цветовые пятна Гущин стремится связать, как звуки мелодии (Раиса Резник. Заметки о творчестве Н. М. Гущина. СГХРМ. Материалы и сообщения. Саратов. 1966).

Внесюжетное содержание

*...Гущин **забирал** великолепно. Без света он ничто – ради чего делал, все исчезло!.. Его не увидели, хотя и показали, хоть и выставка была. Работы его надо осветить... все они делались при электрическом свете, при лампе... Им надо свет большой, они очень так сказать, наполнены тоном. Темные... но они **цветные** темные. Дать им свет хороший, он должен быть повыше картин... музей у нас несветлое помещение, кроме того, оно же зашторенное постоянно... (С Виктором Чудиным беседует Сергей Рыженков. 1993 г.)*

Выставка показывает отличие «саратовской» живописи Гущина от «западного» периода усилившимся вниманием – цветом конструировать «ритмическое звучание», «шум фактуры» (выражения Гущина) – нарастает толщина красочного слоя. Если в тонкослойном исполнении «Портрет жены» 1920 года и «Дама в красном» 1930 года, можно предположить, что «Баллада» большей фактурной нагруженности, датируемая 1930 годом, дописывалась позже. С такой позиции интересно рассмотреть датировку работ Гущина, уточнить их написание.

При ярком свете на уровне красочного слоя увидим многослойную живопись. Знание технологии позволяет Гущину избежать почернения красок при многократном переписывании картины, сохранять без изменения достигнутое качество цвета.

Увлечения Гущина – *...ради чего делал...*

Увлечён Монтичелли – свидетельством «Увядающий букет» 1957 года. Впервые, в 1959 году, назначив нам встречу в зарубежном отделе Радищевского музея у картины Монтичелли «Окрестности Парижа», обратил внимание – *неизученный период художника.* Николая Михайловича удивляет интерес к Адольфу Монтичелли в Советском Союзе. При отъезде из Монте-Карло он был вынужден продать пять поздних работ художника из своей коллекции, теперь об этом жалеет, так как очень его любит. Одно присутствие

в экспозиции картины Монтичелли «Окрестности Парижа» ставит Радищевский музей в ряд крупнейших музеев мира. Монтичелли, опередив время, нашёл свой путь в изобразительном искусстве – одновременно и предтеча импрессионизма, и представитель постимпрессионизма – открытие Монтичелли ещё впереди. «Открытия» постепенно происходят – много лет спустя в левом нижнем углу картины «Окрестности Парижа» при боковом свете увидим подпись художника – «А М 53» (Адольф Монтичелли, 1853 год) – подпись авторская, процарапана черенком кисти по сырой краске.

Что означают слова Гущина – картина Монтичелли – это даже не живопись! – Живопись ошибочно считают изобразительным искусством!

Подобное в 1922-23 годах говорил Леонид Александрович Никитин – Живопись не является искусством только изобразительным – это искусство создания художественной формы путём приложения художественно-обработанного материала на плоскости. У Никитина была конспект-заявка книги по истории искусства, но что он хотел сказать? – умер в 1942 году в лагерном лазарете (Конспект беседы тов. Никитина при осмотре Щукинского музея. Наиболее вероятная дата – 1922-1923 гг. Панорама искусств. 12. Изд. «Сов. Художник». 1989. Андрей Никитин. Леонид Александрович Никитин (1896–1942). С. 259).

Знакомы ли были Николай Михайлович Гущин и Леонид Александрович Никитин, или нет, случайно ли совпадение сути их высказываний, но уместно вспомнить Гофман И. М. От неё слышим мы на Боголюбовских чтениях 2004 года – Явление, зародившееся на рубеже XIX-XX веков в Саратове... явилось первым шагом русского искусства за пределы XIX века... ...освободив живопись... от задач изобразительности.

Мои краски – напевы! (Борисов-Мусатов)

30-е годы XX века – Гущин живёт в Монако, по соседству Италия пересматривает отношение к собственному наследию – Возрождению. Определилось решение о потере цветом самостоятельного значения (с Позднего Возрождения в изобразительном искусстве цвет стал пониматься натуральной окраской предмета в иллюзии трёхмерности картины). При личностном отношении к цвету в живописи, неудивительна причастность Гущина к тем событиям в Италии и спустя четверть века: – ...Тайна Возрождения в том – что оно не удалось, хотя и было в нем великое напряжение творческой энергии... ...Так трагизм творчества, его неудача является последним поучением Великой Эпохи Возрождения (Из письма Гущина Альдоне Ненашевой от 3 мая 1955 года: Волга. 2015. № 1-2 (454)).

Значение выставки Гущина в утверждении общественным мнением востребованности цветовой грамоты (осмысливание абстракции «цвет»): глобальная культурная парадигма сегодня сопоставима с переходом человечества от звукового общения к литературному (освоена абстракция «буква, иероглиф») и музыкальному письму (освоена абстракция «звук»).

Игорь ДРЕМОВ

ДВЕ РАЗГАДКИ САРАТОВА

В истории Саратова есть вопросы, обсуждение которых время от времени возобновляется: где и когда он был основан и что означает название города? Проблема возникла из-за отсутствия документов, сгоревших в 1701 г. при пожаре Казанского дворца в Москве с архивом приказа, ведавшего делами Поволжья. Есть, правда, несколько источников, которые содержат некоторую информацию по ранней истории Саратова. На один вопрос они дают вполне определённый ответ – о дате основания города.

В государственном архиве Саратовской области (ГАСО) имеются сведения от 1891 г. о письме библиофила Н. П. Никифорова, мещанина г. Горбатов Нижегородской губернии, что в его собрании старинных книг находится Библия с записью попа Дениса Иванова: «Лета 7098 (1590) года месяца июля во 2 день на память положения пояса Пречистыя Богородицы (12 июля) приехал князь Григорий Осипович Засекин да Фёдор Михайлович Туров на заклад города Саратова ставити». Эта библия экспонировалась на выставке Саратовской учёной архивной комиссии (СУАК). Владелец книги предлагал её купить, но на тот момент у комиссии не было денег и имелись сомнения в подлинности записи. Члены СУАК сняли с неё копию на кальке, которая находится в спецхране ГАСО в архиве СУАК (фонд 407). В дальнейшем книга бесследно исчезла, но этой дате нашлись другие подтверждения: запись в разрядной книге о назначении головой на Саратове острове Фёдора Турова в 1590 г. и строка в летописи: «а в 98 году (1590 г.) поставлен город Саратов». Поэтому подлинность записи на Евангелии и дата основания Саратова не вызывают сомнений, тем более что дополнительной информации практически нет. Как, например, понимать слово «приехал»: на пустое место или в этом районе уже был посёлок, где князя с боярином ждали для закладки города и констатировали их прибытие?

О месте основания Саратова существует несколько версий, которые имеют своих сторонников. Приверженцы «правобережной» гипотезы помещали первый Саратов на Увеке, в районе Пристанного или несколько южнее, в устье р. Гусёлка. Подтверждает правобережное расположение первого Саратова и карта Г. Герритса (1614 г.), на которой город нанесён на правом берегу. В то же время сторонники левобережного основания города, основываясь на описаниях в «Книге Большому Чертежу»¹ (КБЧ), размещали его в устье р. Саратовка, в районе с. Шумейка или напротив Увека в Анисовке.

Ещё бытовало мнение, что первый Саратов находился на острове. Основанием для этого служили словосочетания в ранних документах: «на Саратове острове».

Чтобы не гадать, необходимо проанализировать имеющиеся сведения. На левом берегу в устье р. Саратовка сохранялись следы левобережного «старого» Саратова до XX в. Потом часть его территории была смыта Волгой, часть застроена дачами, но само местоположение известно. Однако на Саратовке город был построен только после пожара 1613 г., о чем свидетельствуют документы. До этого он находился в 10 верстах, что следует из «Памяти стрелецким головам» 1614 г., в которой стрельцы упрекаются, что, проехав от Самары до Саратова на лёгких стругах за 4 дня, они «заезжали есте на Саратовское городище, и копали ямы и искали поклажеев, а от городища заезжали к Саратову близко десять вёрст, и прислали колокола...». Ещё А. А. Гераклитов в 1910 г. отмечал, что стрельцы не возвращались на городище, а заезжали по ходу движения². Значит, о локализации первого Саратова в районе Увека, например, речи идти не может: от Увека стрельцам пришлось бы возвращаться к Саратовке за 20 км. Такой маневр отнял бы у них ещё полдня, что они

не могли себе позволить, т.к. Заруцкий мог уйти. Разбойники были окружены астраханскими стрельцами, и требовалась срочная подмога для ликвидации банды. Письмо было послано с территории Саратова, где было назначено место сбора основных сил. Это место в другом документе названо Саратовским пепелищем, следовательно, в данном случае это синонимы, т.к. бывшее поселение со следами укреплений и есть городище. Ранее считалось, что левобережный Саратов появился лишь в 1617 г. С. А. Браташова усилила эту аргументацию, тем, что в 1614 и 1615 гг. налоги с рыбных промыслов близ Саратова принимали не в Саратове, а в Самаре³. Однако в Саратове не собирали налоги и в другие годы, т.к. это не входило в его функцию. Я. Н. Рабинович отметил в документах упоминание города Саратова в мае 1616 г.⁴ Протоиерей М. П. Беликов сделал справедливый вывод, что Саратов был построен уже в 1615 г., так как в мае мог только идти сплав заготовленных конструкций, а требовалось ещё время на сборку строений⁵. М.П. Беликов подсказал мне ещё один документ, свидетельствующий, что в 1614 г. Саратов, как административная единица с воеводой во главе, не прекращал существовать. Зимой 1613 г. к ногайскому князю Иштереку было направлено посольство Кондырева. Он искал ногаев на Волге, но в 1614 г. узнал от воевод Царицына и **Саратова**, что ногайские князья ушли на Каму⁶. В 1614 году было выбрано место нового расположения города в устье Саратовки и проведены подготовительные работы. Города рубились выше по Волге, где имелось достаточно строительного леса и было налажено производство заготовок. На это уходил год подготовительных работ. Затем в половодье заготовки спускались по реке и после этого в течение нескольких месяцев собирались на месте. Следовательно, левобережный Саратов был построен в 1615 году, а в 1616 году уже функционировал как крепость. Остается выяснить два вопроса: где он находился до этого и что означает название города.

При определении места расположения первоначального Саратова заведомо отпадает территория Увека на правом берегу Волги, так как, по свидетельству многочисленных источников, этот район исторически сохраняет своё название до настоящего времени. Незадолго до строительства Саратова в 1586 г. ногайский князь Урус упрекал Фёдора Иоанновича: «Ты на четырех местах хочешь города ставить: на Уфе, да на Увеке, да на Самаре, да на Белой Воложке».

Также Увек упоминается у Христофора Бэрроу, который проезжал мимо него в 1579 г., и у Томаса Дженкинсона, который видел его в 1552 г. Уже из названия нашего города следует, что для строительства Саратова был выбран не Увек! При этом несостоятельны доводы, что другое имя было дано городу, чтобы избежать татарского наследия: ведь основа названия «Саратов» тоже нерусская.

У «левобережников» единственным аргументом является «Книга Большому Чертежу», в которой, в отличие от карты Г. Герритса, Саратов упоминается дважды на левом берегу, причём один раз напротив Увека. Для некоторых исследователей этот документ является решающим, т.к. здесь содержится наиболее подробная и официальная информация. Однако всё не так просто. Европейские карты, на которых Саратов обозначен на правом берегу, датированы непосредственно временем существования первого Саратова и созданы на основе русских карт. Карта Герритса имеет указание, что она заимствована из «собственноручного чертежа, который старательно выполнен Фёдором, сыном царя Бориса». Фёдор же имел для этого и Большой Чертеж, и другие карты отдельных территорий до 1600 г., и дорожные росписи. В отличие от них, «Книга Большому Чертежу» была составлена в 1627 г., когда Саратов стоял на левом берегу. Как следует из предисловия к КБЧ, автору было поручено, во-первых, перерисовать обветшавший «старый чертёж», во-вторых, сделать «новый чертёж полю до Перекопу» и, в-третьих, составить на основе этих чертежей описание – «Книгу Большому Чертежу». Составленное автором КБЧ описание имеет форму типичных для того времени «дорожников» или путевых «росписей». Это наводит на мысль, что при составлении «Книги» он пользовался не только «старым большим» и «новым чертежом поля», но также и письменными источниками, хранивши-

мися в том разрядном приказе, где он работал. Хотя в основном излагаются сведения, которые можно получить с карты, местами текст содержит такую подробную информацию, которая не могла быть получена непосредственно из неё. Например, описывается застава из Можайска «на Протве в острожку», на которой досматривали товары у купцов и проверяли «проезжих грамот и воеводских печатей»⁷. В другом месте: «а в тот брод лезли татаровя, как в 79 году (1571 г.) шел крымский царь под Москву», а в Москве тогда был большой пожар⁸. Приводит автор и новые сведения, отсутствующие в «старом Чертеже»: «А на тои дороги ныне деревни Рыльского Уезду»⁹; «...на реке Остря на устье был город Литовский Остр, а ныне снесён»¹⁰. Я привожу эти цитаты, чтобы наглядно показать, что автор «Книги Большому Чертежу» не буквально переносил сведения из старого чертежа, а подходил творчески. В одном случае инновация отмечена автором в тексте: «А на усть Вязовке, с Крымской стороны поставлен город новой Донков перенесён с старого места 20 вёрст»¹¹. Исследователи выделяли в этом сочинении и другие новые объекты, которых не могло быть на старом чертеже, хотя автор КБЧ не оговаривает этого обстоятельства. Описание составлялось им уже по новой вычерченной карте, и лишь в затруднительных случаях он обращался к старому чертежу. Это видно из таких замечаний, как: «от Конских вод до Перекопи, вёрст со 100 и больше по старому чертежу...»¹²; «... в старом чертеже испорчено и ветхо»¹³, поэтому надпись не читается.

Описание левобережного Саратова в «Книге Большому Чертежу» говорит лишь о том, что при её составлении автор нанёс его на карту на левом берегу, где он и действительно в это время находился. По описанию – это устье Саратовки, а на основании каких источников – неизвестно.

О Саратове говорится в двух местах: в описании Дона и его бассейна и в описании Волги. В первом случае сказано: «А Увеша пала в Волгу против города Саратова, выше городища Увешина»¹⁴. Эти слова надо понимать не буквально, а в значении противоположного берега, т.к. во втором случае – в описании Волги – автор даёт детали, соответствующие левобережному Саратову. Второе описание более подробно, указываются расстояния: «А ниже Карамана реки 40 вёрст на Волге город Саратов; под Саратовом пала речка из озера, а другая пала из поля. А с нагорной стороны выше Саратова пала река Таибалык, а на Волге реке против Саратова остров. А ниже того острова с нагорной стороны пала в Волгу река Увеша; а ниже её городище Увешинское»¹⁵.

Эти данные «Книги Большому Чертежу», по мнению архитектора и краеведа Б. Н. Донецкого, указывают на расположение первого Саратова напротив Увека в Анисовке и в устье Глебучева оврага в современном Саратовe¹⁶. В Анисовке впадает в Волгу подтопленный Волгой овраг Вихляный 6–8 км длиной. Эту территорию неоднократно обследовали, так как некоторые археологи жили или живут недалеко. Например, археолог А. А. Хреков и его коллега И. А. Украинский на нем ни русских, ни золотоордынских артефактов не находили. Также проживающая в Анисовке археолог О. В. Сергеева и археолог Д. Г. Бариннов не обнаружили здесь соответствующих находок. Я осматривал здесь береговые обнажения и котлован строящегося дома на самом мысу Волги и подтопленного устья оврага. Кроме поверхностного современного бытового и строительного мусора, нет даже намёка на культурный слой. На удобном для поселения мысу старого города нет, а пойма низкая, заболоченная, изрезанная бесчисленными протоками, без высоких островов, на которых можно было разместить город. Утверждения Б. Н. Донецкого, что впадающий здесь овраг Вихляный ранее назывался рекой Саратовка, беспочвенны.

Не подтверждается и мнение Б. Н. Донецкого, что Саратов мог находиться на Глебучевом (в прошлом Воровском) овраге, который, якобы, ранее был рекой Таибалык. Ведь эта река, показанная, по сведениям КБЧ, выше Саратова на правом берегу, соответствует либо нынешней р. Чардым, либо р. Терешка. При описании донской системы говорится, что р. Медведица «вытекла двумя протоки от Таибалык реки». В этом описании можно отождествить Таибалык с р. Чардым, т.к. истоки Медведицы и Чардыма начинаются на

одном водоразделе. Но вероятна и трактовка С. А. Браташовой, что Таибалык – это Терешка, т.к. при описании истоков некоторых притоков Суры и Хопра в КБЧ говорится, что отсюда «потекла река Табалык прямо в Волгу»¹⁷. Правда, в действительности Терешка течёт параллельно Волге, а Чардым – по направлению к Волге. Но Чардым и Терешка тоже не Таибалык, так как они имели свои названия ещё до составления КБЧ. Воеводы Григорий Засекин и Иван Нашёкин сообщали, что в 1589 г. (за год до основания Саратова) из Змеевых гор (в районе Вольска) стрельцы ходили для поимки «воровских казаков по речкам, в Чардым, и в Курдюм, и Керешку (Терешку)»¹⁸. На роль р. Таибалык остаётся р. Карабулак, которая начинается в 5 км от истоков р. Медведица и впадает в Терешку близ её устья, а Табалык – это Избалык, который впадает в Терешку в её верховьях. Истоки Избалыка находятся рядом с верховьями других рек Донского бассейна, указанных в КБЧ. Между истоками Елань-Кадады (Ланкадада в КБЧ) и Избалыком (Табалык в КБЧ) 6 км. Очевидно искажение первоначального звучания. Из этого мы видим, что части карты между Самарой и Саратовом настолько «испортились и ветхи», что автор КБЧ не смог правильно прочитать надписи. От Терешки, Чардыма и Карамана остались лишь участки их западных притоков с плохо читаемыми надписями, из которых автор КБЧ создал одну несуществующую реку Таибалык, впадающую в Волгу. Она впоследствии кочевала по европейским картам и оказывалась то выше, то ниже Саратова вместо реальных правых притоков Волги. Не просматривался на этом участке и правобережный Саратов. Поэтому, за неимением точки отсчета, автор КБЧ вёл счёт ниже Саратова не от города, а от Увека. На исходном Большом Чертеже более-менее сохранился участок Волго-Донского междуречья, а на правом берегу Волги между Самарой и Саратовом надписи лишь слабо угадывались, и автор КБЧ отметил лишь череду гор. Вместо известных к тому времени рек Терешка, Чардым и Курдюм появилась несуществующая река Таибалык или Табалык. Поэтому и расстояния ошибочны, и Саратов назван то напротив Увека, то выше него. Здесь свою роль сыграла плохая сохранность карты и человеческий фактор.

Сопоставляя расстояния, указанные в «Книге Большому Чертежу», можно убедиться, что разницей в них составляет до 20% от километровой версты: от Казани до Камы 60 вёрст, в реальности около 50 км; р. Сок от Самары в 20 верстах – 25 км.; от Самары до р. Сызрань 100 вёрст – фактически 111 км; от р. Сызрань до р. Иргиз 120 вёрст – реально 150 км; от Иргиза до Карамана 30 вёрст – 75 км; от Самары до Саратова 200 вёрст – 350 км; от Карамана до Саратова 40 вёрст – в реальности до левобережного Саратова 36 км, до Анисовки – 48 км, до Квасниковки – 55 км. Мы видим, что использовалась километровая верста, но между Самарой и Саратовом ошибка в расстоянии почти в 2 раза. В дальнейшем переписчики заметили этот сбой, и в Тобольской редакции значится уже 300 вёрст¹⁹. В сумме расстояние между Самарой и Саратовом составляет 290 вёрст – фактически 375 км. Следовательно, автор КБЧ ошибся почти на 90 вёрст.

Объясним и другой сбой – возможная путаница с Малым и Большим Иргизами. От Самары указано расстояние до Малого Иргиза, но далее – от Большого Иргиза до Карамана 30 вёрст – 75 км. Между Иргизами 50 км, которые и составили неувязку в недостающие 50 вёрст. Её невозможно объяснить только длиной версты, так как ошибка в 2,5 раза.

Иногда видно, что автор КБЧ сопоставляет разные источники и приходит в смущение, какому верить: «А от Курска положено до Кром 120 вёрст, а по иным верстам гадая, ино вёрст со 100 от Курска до Кром»²⁰. Расстояние между Курском и Кромами напрямую – 109 км. Разброс в 20% соответствует среднестатистической погрешности, в целом же все измерения в КБЧ близки 1 км. Такая же верста использовалась и другими авторами того времени. У Федота Котова (1623 г.) и Адама Олеария (1636 г.) расстояние между Самарой и Саратовом 350–360 вёрст, фактически 350 км. Тем не менее, автор «анисовской» версии вычислил местоположение первого Саратова, исходя из убеждения, что в то время использовалась межевая верста более 2 км. Это было ему необходимо, чтобы обосновать 7 вёрст от Курдюма и 10 вёрст от Саратовки. Но привести «анисовскую» версию в соответ-

ствие с документом о персидском посольстве можно только с помощью трёхкилометровой версты, каких никогда не существовало. Поэтому и пришлось помещать второй одновременный Саратов на Глебучевом овраге, а дату появления левобережного Саратова переносить на 1630 год. Иначе бы сосуществовали не два, а три Саратова одновременно. Впрочем, даже при версте в 2,16 км, принятой при измерениях Б. Н. Донецкого, противоречия не снимаются. Кроме левобережного, автор «установил» ещё два первых Саратова: в Анисовке (1590–1630 гг.) и на левом берегу Глебучева оврага, который он принял за Тайбалык (1590–1613 гг.). Я уже рассматривал его аргументацию, а здесь можно добавить, что в первом случае не учтено важное обстоятельство: в КБЧ при описании Волги указано, что Увек ниже Саратова, а не напротив него, и река Тайбалык выше крепости. Тем самым невероятным становится её размещение в устье Глебучева оврага, введенное исключительно для того, чтобы снять несоответствия с расстояниями.

Кроме того, очевидно, что два близко расположенных города (то есть укрепленных военных административных центра) на единой территории – это нонсенс. К чему распылять и без того небольшой гарнизон. Если и возможно было бы такое исключение, эти города носили бы разные названия, т.к. основная функция топонимов не в том, чтобы сбивать с толку, а в том, чтобы помогать идентифицировать географические объекты. Возле города могли быть заставы, промысловые поселения, но город только один. При этом, произвольно размещая города в местах, не имеющих подтверждений ни в археологических, ни в письменных источниках, у автора необъяснимым образом не нашлось места для единственных двух пунктов, согласующихся и с документальными источниками, и с археологическими находками – для устья Гусёлки и для Шумейского поселения...

За этим последовали «открытия» нового древнего Саратова. Кандидат географических наук С.А. Браташова в 2015 г. верно разобралась в известных исторических документах и сделала вывод, что Саратов, основанный Туровым и Засекиным, находился в районе Курдюмского займища близ Пристанного. Первые три главы её книги, написанные на документальной основе, согласуются с данными исторической науки, но далее следует утверждение, что до Саратова уже существовал город Саратау или Сарата напротив Увека на известном со времён СУАК (конец XIX – начало XX вв.) золотоордынском Квасниковском городище.

Здесь в основе – та же ошибка, что у Н. Н. Студенцова²¹, определявшем место первого Саратова на левобережном Саратове, и Б. Н. Донецкого – в Анисовке. Вслед за ними С. А. Браташова считает²², что в XVI – первой половине XVII века использовалась двухкилометровая верста, которая указывает на местоположение Саратова напротив Увека. Так как при этом возникали неразрешимые неувязки в измерении расстояний, понадобился дополнительный Саратов, за который она признала город Турова и Засекина в 7 верстах от острова Курдюм. Но он, по её мнению, является лишь производным от древнего Саратау в районе Увека.

Решающим «документом» в её конструкции является упоминание Саратау в «Истории Казани» («Казан Тарихы») Мухаммедьяра Бу-Юргана. Это известная историкам фальшивка, разоблачённая ещё до её публикации. Труд приписывается средневековому поэту Мухаммедьяру (1502–1552), жившему в Казани. Якобы, кроме двух известных поэм и сочинения назидательного характера, он написал вышеупомянутый капитальный исторический трактат, о котором, однако, не упоминает ни один источник. Труд был создан студентом Казанского университета, пытавшимся на его основе защитить дипломную работу, но затея провалилась. Об этой фальшивке много написано и распространяться нет смысла. Сама рукопись «сгинула в застенках КГБ», родственник автора фальшивки выучил её перед этим наизусть, но восстановил почему-то не на старом тюркском, который якобы знал в совершенстве, а на русском языке, который знал недостаточно хорошо. Поэтому в тексте много не соответствующей эпохе лексики, типа «джигиты» и т. д. Рукопись родственника сгорела вместе с дачей, но автор публикации якобы успел перед этим напе-

чатать её на машинке и в 2007 г. опубликовать. В публикации для доверчивых краеведов предусмотрительно указано, что это перевод с болгарского тюрки.

Отметим сразу, что фальшивка полностью противоречит подлинным документам эпохи. «Саратау» не отмечен ни на одной карте XV-XVI вв., начиная от карты Фра-Мауро и Пицигани XV в. и заканчивая картой Герритса начала XVII в. Поэтому в качестве подтверждения приводятся домыслы, что Саратау – это неопределённый Яйлак с карты Фра Мауро, нанесённый выше Увека, у автора – напротив Увека, и т.д. Игнорируется, что путешественники XVI в. отмечали отсутствие какого-либо постоянного жилья между Казанью и Астраханью. Томас Дженкинсон, проплывавший по Волге в 1552 г., писал, что по правому берегу Волги кочуют крымские татары, а по левому – кочевники ногайцы, но после страшного голода эти земли обезлюдели. «Земля, изобилующая пастбищами, остаётся теперь не населённой, к великому удовольствию русских». Кроме гор и рек, единственный географический объект, который он отметил, – это Увек: «28 июня мы проехали высокий холм, на котором некогда крымцы построили крепость, теперь уже разрушившуюся. Этот холм находится на половине пути от Казани до Астрахани». Дженкинсон приводит его координаты. У того же английского автора в списке местностей на Волге с этими координатами значится «Oweke» или «Oweake»²³. Также и Христофор Бэрроу, проплывая по Волге в 1569 г., не заметил на Волге ни одного населённого пункта между Казанью и Астраханью, отметил только развалины Увека: «Эта местность считается за половину пути между Казанью и Астраханью. На этом месте стоял прекрасный каменный замок по имени Увек, а к нему прилегал город Садом, который, по словам русских, по причине развращённости обитателей вследствие праведного суда Божьего был поглощён землею с частью цитадели»²⁴.

Эти прямые указания современников на отсутствие стационарного жилья между Астраханью и Казанью С. А. Браташова не учитывает. Для подкрепления новой «концепции» о Саратау она приводит транскрипцию написания «Саратов» у немца Г. Тактендера (1603 г.) – «Saratha», на более поздней карте А. Олеария (1636 г.) – «Sarato» и на русской карте 1698 г. С. Ремезова, где Саратов написан «Сарато» со знаком титло над словом, обозначающим недостающую букву «в». По мнению автора, это означает, что до Саратова был город Сарату. Кроме того, на анонимной карте 1750 г. на месте Увека показан населённый пункт и имеется надпись «Ovesenska», на карте Н. Витсена 1687 г. надпись «Ovesenskaja»; следовательно, по мнению С. А. Браташовой, на Увеке до возникновения Саратова была казачья станица «Увешенская».

Мы не знаем, что послужило появлению этих надписей на иностранных картах. Известно, что на р. Увешенке близ золотоордынского города Увек на Ивановском Увеке существовала монастырская слобода. Вероятно, приведённые данные карт лишь подтверждают общеизвестный факт, но, очевидно, что эти поздние источники к самому раннему этапу истории города отношения не имеют.

Особенно важным аргументом автор «квасниковской» теории считает «Книгу Большого Чертежу», т.к., по её мнению, там использовались двухкилометровые вёрсты (хотя даже это ничего не доказывает); чертёж Трумпичковых 1736 г., на котором напротив Увека показана «Застенная Волошка» и рассказ начала XVIII в. географа голландца Н. Витсена, который ошибочно назвал Саратовом развалины средневекового Сарая близ Астрахани. Зная средневековые источники и труды географов – своих предшественников, Н. Витсен дал точное и подробное описание Сарая, указал, что его кирпичи использовались при строительстве Астрахани, привёл распространённое средневековое предание, что Сарай был основан Александром Македонским. О традиции приписывать Александру все впечатляющие творения знает и С. А. Браташова, приводя слова арабского учёного XII в. ал-Идриси о нелокализованном городе Кукийана, и ал-Хорезми (IX в.) – о Зу-л-Карнайя, «созданных» Александром Великим. На основании сложных вычислений эти города тоже оказываются Увеком и Сарытау! Так шаг за шагом идёт современное мифотворчество, в

результате которого Саратау и Увека становятся если не античными, то, как минимум, византийскими городами.

Подобные рассуждения позволили автору дать интерпретацию археологических находок с Квасниковского городища и с Увека. Первое якобы превращается к XVI в. из античного города в «скромный Саратау, а второй в крупную казачью станицу»²⁵. Подтверждение значительности Увека в конце XVI в. она находит в словах атамана Мещеряка, который послал весть «на Волгу, и на Увека, и на Яик»²⁶. Следовательно, р. Увека поставлена вровень с Яиком и Волгой. Но Саратов и Царицын в 1588 г. ещё не построены, местность Увека с Увешенским городищем оставалась лучшим ориентиром для места сбора казаков перед походом на только что возведенную крепость Самару.

Подтверждением значительной величины казачьей станицы для автора служат многочисленные безынвентарные средневековые погребения в разных частях Увека, где, наряду с типичными мусульманскими, встречаются захоронения с отклонениями от мусульманского обряда. Подобное известно на всех без исключения крупных могильниках Золотой Орды, захоронения не по мусульманскому канону составляют порою значительный процент, т.к. население было смешанным в этническом, культурном и религиозном отношении. Но вывод автора парадоксален: эти погребения «казачьи», так как они оставлены разноэтничным населением! В подтверждение приведен документ 1538 г., в котором мирза приволжской ногайской орды сетует, что на Поле приходят разные казаки, и казанские, и азовские, и крымские, и иные казаки-разбойники, и украинские казаки с ними смешиваются и тоже приходят для грабежей, а сделав лихо, разъезжаются по своим землям. Вместо того, чтобы сделать вывод о временности таких ватаг, которые приходили на Волгу не для строительства городов, автор «квасниковской» версии считает эти сведения подтверждением существования большой казачьей станицы на Увеке. Автор цитирует множество известных документов, но не задаётся вопросом: почему, при их обилии, никогда и нигде не упоминалась станица Увешинская и город Саратау? Не решают вопрос и находки несколько русских монет XIV-XV и XVI-XVII вв. с Увека. Нет сомнения, что Увека посещался во все времена, мог служить для временных становищ. При этом она отмечает, что Христофор Бэрроу в 1579 г. останавливался на Увеке на 12 часов и задаётся вопросом: «Зачем?», если там не было города. На Квасниковском городище находили только золотоордынские монеты, а рассказы крестьян о кладе русских пятаков с ранним Саратовом не связаны, т.к. медные пятак появились только при Петре I с 1723 года. Если бы на Квасниковском городище был процветающий город, были бы монеты чекана Саратау.

Далее перечислять всё нагромождение «фактов» и их интерпретаций так же бессмысленно, как доказывать, что Саратов не был основан Александром Македонским или что на Увеке не находилась Атлантида. Даже если найдутся убедительные подтверждения, что казаки останавливались на Увеке и организовывали здесь временные полевые станы, как это докажет наличие города Саратау в Квасниковке и связи Увека с Саратовом?

Также без большого успеха автор «квасниковской» теории проявляет эрудицию в области топонимических исследований. Такие топонимы, как овраг Мечетка, Застенная Волошка и Саратау тоже являются подтверждениями новой «теории». «Мечетка» – потому, что в Саратау была мечеть, «Застенная Волошка» – потому, что у города были стены, «Сарытау» – потому, что здесь процветала торговля. Мечеть на Квасниковском городище была выявлена СУАКовцами, однако название «Мечетка» имеет широкое распространение как обозначение оврагов и обычно его невозможно связать с мечетями. В топонимике установлено, что эта трактовка относится к народной этимологии, так как названия Мечетка, Меча, Меша обычно обозначают овраги, иногда маленькие речки. Исключения единичны. «Застенная Волошка» скорее могла быть связана с левобережным Саратовом, а не с Квасниковским городищем. Несмотря на то, что Ф. В. Духовников, А. А. Кротков и П. Н. Шишкин называли этот объект городищем, фортификационных сооружений они не описывали, упоминали только холмы от золотоордынских кирпичных зданий. Это свя-

зано с тем, что в период расцвета Золотой Орды ханы запрещали строить крепостные сооружения, чтобы легче было контролировать подданных. Следовательно, Застенная Волочка была так названа либо по стенам левобережного Саратова, либо по отделяющим волошку от основного русла реки заросшим островам²⁷. В любом случае, это не аргумент для обоснования неизвестного города. Для Сарытау автор выдвигает новую версию значения этого слова «от санскритского *sartha*, что значит торговец», ссылаясь на авторитет Г. Рубрука²⁸. Но Г.Рубрук, вслед за П. Карпини в XIII в., применял это объяснение по отношению к хорезмийцам сартагулам, где было сильно влияние ираноязычных купцов и многовековое иранское прошлое. По отношению же к Мечетному городищу, где находки античного времени, а тем более ираноязычных скифов или сарматов не известны, такое утверждение более чем натяжка.

Но даже среди далёких от науки построений встречается и отражение реальных исторических проблем. Историки давно отмечали упоминания славян в средневековых источниках. Подтверждением присутствия ранних славян на Волге в Ульяновской и Самарской областях является именниковская археологическая культура, в Саратовской области – инясевская культура. Раннеславянская инясевская керамика была найдена на Алексеевском городище, на Увеке она не известна. Кроме того, на Алексеевском городище были встречены отдельные предметы, датируемые типологически XI–XIII вв. – предмонгольским и раннемонгольским временем. Отсутствие монет на памятнике также характерно для домонгольского времени. Алексеевское городище находится на одной территории (географической области) между Курдюмом и Увек, имя которой могло быть связано с происхождением названия Саратов. Это верно, но каким образом это доказывает связь Саратова с Увек, непонятно.

Есть ещё один тезис в книге С. А. Браташовой, который обоснован реальными документами и согласуется с источниками. Это упоминание «Саратов – остров», отмеченное первыми исследователями наиболее ранних документов по истории города. Первый вывод, который отсюда напрашивается, – что изначально Саратов находился на острове. Эта полузабытая ныне версия стоит особняком. Самый ранний документ 1590 г., содержащий название города, гласит: «В новом городе на Саратове острове голова Фёдор Туров». Высказывались предположения, что островом могли называть обособленную местность, в том числе и сам город, отделённый от внешнего мира стеной.

Возможно, когда Ф. М. Турова назначили в 1590 г. в Саратов, здесь или поблизости на острове уже была застава, в которую они с князем Г. О. Засекиным приехали на заклад города, но крепость заложили на близлежащем берегу. Заставы на островах предшествовали, например, основанию Царицына и Самары.

В середине 1980-х гг. я опубликовал в областной газете «Коммунист» статью с обоснованием, что первый Саратов находился близ с. Шумейка на территории большого золотоордынского поселения. Эта версия сейчас известна краеведам только из книги Д. С. Худякова²⁹. Шумейское поселение, действительно, в географическом отношении находится на острове, так как место его расположения отделено протокой от коренного берега. Моя версия согласовывалась с письменными источниками и подтверждалась несколькими находками. Здесь на берегу был найден русский горшок и несколько десятков обломков русской керамики, не связанной с деревней XVIII–XIX вв. Кроме множества золотоордынских и одной римской монеты, имелись несколько монет интересующего нас периода. Все они происходят с мысовой части памятника, примыкающей к Волге, к месту брода или переправы. Найдки эти хранятся в музее, их список опубликован археологом и нумизматом Д. Г. Бариновым³⁰:

- серебряная «чешуйка» Ивана Грозного;
- серебряный полугрош Сигизмунда I Старого (1509 г.);
- полугрош неопределяемый плохой сохранности;
- две «чешуйки» Михаила Фёдоровича.

В дальнейшем на Шумейском поселении были проведены масштабные археологические раскопки, но следы русского города не выявлены. На окраине золотоордынского поселения имеется гигантское средневековое кладбище площадью более 5 га. Его площадь установлена благодаря раскопкам на отдельных участках и сделанным вокруг шурфам. По предварительным расчётам, этот могильник может содержать несколько сотен захоронений. Здесь встречались могилы, обложенные золотоордынским кирпичом-плинфой, и в них – погребённые в парчовых одеяниях. Величина кладбища, наличие в культурном слое серебряных монет и клада, плинфа, обломки водопроводных труб и стеклянных дисков – вставок в оконные решетки могут указывать, что здесь было очень крупное поселение. Безусловно, его береговая часть сейчас в значительной мере смыта Волгой. Как далеко в сторону правого берега уходил данный остров и что было на нём, мы уже никогда не узнаем. Возможно, здесь или рядом была русская застава, существовавшая до строительства Саратова на противоположном берегу.

Возникает вопрос, почему Саратов дважды менял своё местоположение на берегах. Бродов через Волгу было немного, и они имели стратегическое значение. Город контролировал переправы и места промыслов. Но наличие бродов, то есть мелей, создавало и дополнительные проблемы. Волга имела на этом участке два основных рукава – вдоль правого и левого берега. Один из них время от времени оказывался несудоходным, а город становился отрезанным от основной транспортной артерии. С этой проблемой сталкивались и в XIX, и в XX веках до строительства Волгоградской плотины. Перед Саратовом приходилось перегружать баржи, углублять русло реки, строить дамбы, так называемые «тюфяки», вдоль левого берега выше Энгельса, чтобы перенаправить водный поток. Рыбаки и сейчас знают место «Тюфяки». Отец рассказывал мне, что в начале 1950-х гг. он переходил по тюфякам и отмелям между островами почти до правого берега, а оставшийся участок Волги легко пересекал вплавь.

Если брод и был в средние века в районе Увека (о чём источники умалчивают), то во время существования первого Саратова он находился в районе Пристанного – Шумейка, что будет документально подтверждено ниже. Возможно, этим и определялось место расположения Саратова, а не дурными наклонностями Г. О. Засекина, его ссорой с казаками, контролировавшими лучшие на Волге места, и необходимостью прятать город на островах, как это считает С. А. Браташова.

Итак, мы выяснили, что места расположения первого Саратова на Увеке, в Анисовке и на Глебучевом овраге противоречат всем письменным источникам, как это обосновал ещё А. А. Герасимов в 1914 г., и не подтверждаются археологически. Левобережный Саратов как место расположения первого Саратова тоже вступает в неустраиваемые противоречия с такими документами, как «Память стрелецким головам», где между ним и сгоревшим городом указано расстояние в 10 вёрст; документами о персидском посольстве», где между Курдюмом и Саратовом 7 вёрст.

Таким образом, остаются участки ниже Курдюма, но выше современного Саратова. Местность у Шумейки согласуется со всеми документами, отвечая в том числе определению Саратов – остров, но не подтверждается археологическими раскопками. Имеющиеся находки показывают лишь, что здесь, на острове, начинался брод, была переправа и где-то рядом находилась застава или первый Саратов.

На правом берегу Волги также имелись золотоордынское и русское поселение предположительно конца XVI века. В 1960-х гг. здесь, недалеко от устья Гусёлки, экспедицией СГУ под руководством И. В. Синицына велись раскопки Танавского городища. При этом на распаханном поле в месте впадения Гусёлки в Волгу было собрано 2 ящика керамики. По словам археолога Е. К. Максимова и Д. С. Худякова, здесь встречалась красноглиняная посуда, которая могла быть золотоордынской. Была и отличающаяся от неё, но также и от деревенской XVIII–XX вв. керамика с красным обжигом и, кроме того, была сероглиняная керамика. Основная заслуга в привлечении внимания археологов и общественности

к этому памятнику принадлежит Д. С. Худякову, который участвовал в его обследовании, сделал планы местности, снял четыре фильма с названием «Ищем Саратов» для передачи «Не за тридевять земель» и опубликовал имеющиеся у него схемы и фотографии в книге³¹.

В студенческие годы я видел в областном музее ящики с керамикой с устья Гусёлки, но они были депаспортизированы и, насколько мне известно, впоследствии ликвидированы. Поблизости от места сбора подъемного материала были обнаружены христианские погребения с нательными крестиками. В. А. Осипов писал, что, по словам И. В. Синицына, один медный крестик был сдан на радиоуглеродный анализ, и его датировали концом XVI – началом XVII вв.³² Поэтому для И. В. Синицына и В. А. Осипова вопрос о месте основания Саратова в устье Гусёлки казался решённым. Но радиоуглеродный метод не применим к металлу, поэтому возникли сомнения в достоверности этой информации. Однако известно, что до XVIII века в быту чаще использовались кипарисовые нательные крестики, но в захоронениях они, как правило, не сохраняются, поэтому в ранних погребениях крестики встречаются в небольшом процентном отношении. В. А. Осипов не был археологом и мог неправильно понять, какой крестик был сдан на анализ, но, так как И. В. Синицын не опубликовал данные материалы, вопрос остаётся открытым. Для проверки и уточнения нужны новые находки с этой территории, но она застроена обкомовскими дачами и, по иронии судьбы, дачами СГУ. Оба пункта, как на Шумейке, так и на Гусёлке, полностью соответствуют письменным источникам. Оба они находятся в 5–7 км (около 7 вёрст) ниже острова Курдюм, что согласуется с сообщением о персидском посольстве, возвращавшемся из Москвы в 1600 г., но потерпевшем кораблекрушение «против острова Курдюм... не дошед до Саратова за семь вёрст».

Оба пункта расположены в 8–10 километрах (около 10 вёрст) от левобережного Саратова, куда стрельцы привезли колокола из сгоревшего города. Если измерения велись в вёрстах длиной примерно в 1 км, это соответствует расстоянию по прямой, если использовалась верста около 1,8 км – это ближе к пути по извилистым протокам. При этом расстояние в 7 вёрст от острова Курдюм до Саратова, где произошло упомянутое кораблекрушение, более соответствует месту на Гусёлке. Сочетание Саратов-остров более подходит к Шумейскому поселению, но не исключается и правый берег. На острове могла находиться застава, предшествовавшая городу, в таком случае, выражение «Саратов-остров» первое время могло использоваться по инерции. Могли и местность в устье Гусёлки по какой-то причине называть островом.

Решающим документом, указывающим со всей определённой, что место расположения первого Саратова связано с Курдюмским займищем близ Пристанного, дают материалы, опубликованные А. А. Гераклитовым в 1914 г. Это документы на право владения горожанином Поповым сенокосными угодьями в Курдюмском займище близ старого Саратова. Приведён весь список документов, показывающих правопреемственность бывших владельцев пожни, показывающий, что эта земля находилась именно в Курдюмском займище. В первом документе 1681 г. автор челобитной просит выделить ему половину пожни, принадлежавшей Любимову Фуфаю, который умер, а наследнику Петру Фуфаю она слишком велика. Это угодье находилось **«выше старого города Саратова у брода»**. Привязка дана, в первую очередь, к старому, т.е. изначальному Саратову, а брод идёт как уточнение. Но главное, что в этом документе далее имеется определяющее дополнение. Ниже перечисляются свидетели – саратовские стрельцы, которые сказали, поклявшись перед иконой: «В прошлых де годах **на старом городе Саратове** пожнею (владел) Любимов Фуфай, в прошлом де во 188 году он Любимов умре, а ныне владеет той пожнёй сын его Любимов Пётр». «На старом городе» означает, что в его ближайших окрестностях, **«выше старого города Саратова у брода»** уточняет местоположение пожни. В документе имеются сведения о пограничных с этим участком пожнях: с одной стороны за сухим ериком – Спасские старцы, с другой стороны «по низам» – Фуфай, а с горной стороны

по степи за ериком с водой находилась пожня иноземца Ивана Корсака. Левобережный Саратов не может быть никак связан с упомянутым местом старого Саратова, так как принадлежавшие горожанам участки находились на правом берегу³³. При этом пожня Фуфая находилась под краем коренной террасы несколько выше Саратова в начале брода. Остров полностью не исключается, но если даже первый Саратов был на острове, то есть на участке займища, отделённом от суши ериками, он мог находиться только в непосредственной близости, в Курдюмском займище в правобережье Волги. Поэтому продолжать поиски где-то в стороне, тем более в 20–30 км в Квасниковке, в Анисовке, на Увеке, на месте нынешнего Саратова или даже в устье Саратовки – дело безнадёжное.

Курдюмские заливные луга до строительства Волгоградской плотины занимали широкую пойму правого берега Волги, как минимум, до Пристанного. Археолог Е. К. Максимов рассказывал мне, что во время археологических раскопок И. В. Синицына в устье Гусёлки в 1960-х гг. под берегом в затопленной пойме местами ещё стоял в воде лес.

Примем также во внимание, что устье Саратовки и левобережный Саратов располагаются мало того, что на противоположном берегу, но и более чем в 10 км по прямой от Пристанного и вероятного места брода, а последнее заведомо находилось выше Саратова, как нового, на нынешнем месте с 1674 г., так и левобережного. По берегу и бездорожью такой ориентир без указания расстояния не уточняет расположение участка в рамках данного займища и потому не имеет смысла.

Название города, даже если он находился в Курдюмском займище на острове, могло происходить от названия местности на правом берегу Волги, как, например, остров Курдюмский – от р. Курдюм. Единственной неувязкой остаётся этимология названия Саратова, если исходить из буквального перевода тюркского топонима Сары-тау в значении Жёлтая или Красивая гора. Так как до настоящего времени была путаница с определением местоположения первого Саратова, неизбежна была и неразбериха с этимологией этого названия. Приведу весь список существовавших вариантов, любезно предоставленный мне для этой публикации известным краеведом В. И. Давыдовым, за что выражаю ему искреннюю благодарность.

1776 год – «Московский любопытный месяцеслов» объясняет происхождение названия от золотоордынской столицы *Сарая*.

1848 год – опубликована версия А. Ф. Леопольдова о происхождении названия от татарских слов *сары* + *тау* (желтая гора).

1887 год – М. В. Готовицкий предположил, что в основе – слово *сарт* – оседлый, оседлость или удобное к оседлому населению место. Мухамеданский ахун Баяз(д)итов (в одном из докладов СУАК) добавил, что от *сарт* могло быть произведено *сартламак* – вести оседлую жизнь (*сартламак-сартлау-саратау*). М. А. Гамазов, директор Института восточных языков, допустил, что *Саратау* – это сочетание персидского и татарского существительных и означает «дворец хана» (*сара* – от *сарай* «дворец»).

1891 год – Н. Ф. Хованский поддержал версию Леопольдова. К ней же склонялись тюрколог В. В. Радлов, этимолог М. Фасмер (M. Vasmer). Но профессор А. А. Герасимов критически отнесся к этой версии.

1891 год – А. И. Шахматов дает свою расшифровку: *сара* – «хорошее качество, удобство предмета или местности» и *атой* или *атёль* «низкая местность».

1928 год – языковед А. С. Мадиев производит название от имени левобережной речки Саратовки как имеющего индоиранскую основу гидронима – *Sarat (a), Sarat (i), Sarat (u)* «двигаться, течь».

1934 год – Г. Рамстедт (Ramstedt) – от калмыцкого *сарту балгасан* – «желтый город».

1935 год – академик Н. Я. Марр объединил в одну группу города Кострому, Казань, Саратов, Харьков по названию племен *косов* или *хазов*, *хазар*, *саров* (*gaz – gar – har – sar*) и соответственно (*sar + a + tov*).

1985 год – кандидат географических наук В. И. Горцев вывел наименование от мордовского *сара* «осока, болото».

1987 год – писатель А. И. Баженова выдвинула наивную теорию, сближающую *Саратов* и *соратники* (*соратаи*) на основании звукового сходства слов. Добавлю, что её подерживал архитектор и краевед А. С. Папшев.

1988 год – Н. Н. Студенцов производит название от *сары-атау* (*атав*) «низменный остров» (в ранних документах наш город именовался как Саратов-остров).

1990 год – доценты СГУ Е. К. Максимов и Л. Г. Хижняк на III краеведческих чтениях стремятся доказать, что название *Сары-тау* являлось именем этнической группы – сарты, ирано-тюркоязычной по своему происхождению. Ногайцы, унаследовавшие название урочища (юрта) от золотоордынцев, передали его русским как *Сары-тав*.

1990 год – краевед В. Малкин выводит наименование от финноязычного *sara* «растительность осокового болота» (например, г. Сарапул – *Осоковая трясина*, г. Саранск – *город Болотной Осоки*).

1990 год – опять же В. Малкин – от финских слов *salo* «густой лес» и *va* «вода, река», т.е. *лесная река. Салова – Шалово – Саратовка*.

1991 год – Л. Г. Хижняк и З. Л. Новоженнова вновь изложили версию, положенную прежде Л. Г. Хижняк совместно с Е. К. Максимовым.

1993 год – В. А. Осипов в научном издании СГУ «Очерки истории Саратовского Поволжья», т. I, гл. 2, приводит все основные существующие версии.

1997 год – Сергей Алексеенко в статье «Индия... близ Плесецка» (журнал «Свет», №3) выводит наименование от санскритского слова *sara* – вода, наполненная силой.

1997 год – Владимир Шемшук в книге «Русско-борейский Пантеон» (изд. «Веды», Пермь) – от корня *sar* – самое высшее.

1998 год – В. Коваленко предположил происхождение названия Саратова от *sara* – ручей, *saras* – озеро, *sarit* – река и *tavant* – столь долгий.

2000 год – краевед В. Малкин дал новую, отличающуюся от 1990 года, версию: название нашего города – протомадьярского (угроязычного) происхождения: *szara* (стебель) + *tava* (озеро) – *Куневатое (ветвистое) озеро*.

Добавлю к этому:

2013 год – Мухаммет-Халел Сулейманов, казахский физик-ядерщик, который после производственной аварии занялся историей, без использования каких-либо источников опубликовал версию, что Саратов назван в честь предводителя сартов «Сары-ата», откочевавшего на Волгу и похороненного на горе Сары-ата тау в книге: Учение «Жасау-ізі» и истоки чингизизма. История народов Турана в преданиях казахских биев. Алматы, 2013. С.184, 189.

2015 год – С. А. Браташова в книге «Ранний Саратов: на перекрёстках путей и эпох» утверждает, что название Сарытау происходит «от санскритского *sartha*, что значит торговец», ссылаясь на авторитет Г.Рубрука, относившего это слово к хорезмийцам сартагулам (сартам).

При определении семантики топонимов в первую очередь напрашиваются варианты буквального, дословного перевода или этнической основы. Для тюркских названий этот метод часто оказывается тупиковым. Особенно это относится к названиям, содержащим основу «сары», так как «жёлтый» обычно не соответствует местности. Иногда предлагается значение «красивый»: «Сары-тау» – «Красивая гора». Вероятно, изначальная семантика названия Саратова должна быть иной. В связи с многолетним доминированием «левобережной» теории версия происхождения названия города от «Желтой горы» считается устаревшей. Но, так как Саратов был изначально основан в правобережье Волги, можно вернуться и к этимологии названия Сары-тау.

В 2013 г. опубликован исключительно интересный труд известного культуролога и топонимиста М. К. Семби, посвящённый географическим названиям Казахстана, буквальный перевод которых недопустим как искажающий семантику топонима³⁴. Одним из ярких примеров такого несоответствия является основа «сары». По мнению автора,

одной из главных составляющих смысловых нагрузок топонимических названий является указание на место расположения объекта. В связи с этим Марат Семби предлагает переосмыслить название одного из важнейших географических объектов Казахстана Сарыарка (Казахский Мелкосопочник) от, казалось бы, очевидного «жёлтый хребет» (или, буквально, «спина») на «северная местность». Действительно, определение «жёлтый» не подходит для столь огромной территории, раскинувшейся почти от Северного Приаралья до Иртыша. Сомнителен также для топонимики эпитет «красивый», которым можно заменить значение «жёлтый», т.к. это субъективное понятие можно применить к любой местности: оно не несёт смысловой нагрузки.

Для географических представлений кочевников, которые населяли степные территории в течение тысячелетий, важнейшими являлись определения сторон света. Для тюркянцев монголов определяющей точкой отсчёта являлась южная сторона, для тюрков – восточная (солнечные стороны). Соответственно, противоположная сторона называлась «арка» – (обратная, противоположная), а боковые направления – левая и правая стороны. Для топонимики именно эти значения, указывающие на стороны света, были главными. Таким образом, определение «хребет/спина» в тюркских топонимах, которое во многих случаях не соответствует реалиям, может означать «северный». Слово «сары» часто означает в тюркских языках и, как правило, в топонимах не «жёлтый/красивый», а «сторона». Это проверено М. К. Семби в азербайджанском, алтайском, хакасском, узбекском и казахском языках, а также на примере многочисленных географических названий, для которых буквальный перевод неприемлем. Сары-арка – северная сторона/местность, по отношению к южным степям Казахстана³⁵. Автор приводит такое большое количество примеров, где «сары» может означать только направление, что его цветное значение воспринимается скорее как исключение. В итоге, «цветовая геосимволика у тюрков, выйдя из активного употребления, была заменена линейно-пространственной ориентацией»³⁶.

В связи с этим и семантика названия «Саратов» должна быть интерпретирована иначе. Если исходить не из привычной версии этимологии Саратова от исходного «Сары/Сара-тау» – «Жёлтая/Красивая гора», а от значения «Нагорная сторона» (Сары – сторона, Тау – гора), всё встаёт на свои места. Это тюркское название является «говорящим» и указывает на расположение местности на правом берегу Волги. И в дальнейшем берега Волги ещё долго различали как горный (правый) и луговой (левый). Не противоречит это и названию левобережной р. Саратовка, которое могло происходить от иранского «Сара» или тюркизированного «Сар-атав» – низменный топкий остров³⁷. Для территории на противоположном высокому берегу вполне уместно название «Сара-тау» – Нагорная Сара или Нагорная сторона. Это название применимо ко всему правобережью Волги и его этимология может вызывать сомнения, но в данном случае оно относится к конкретному участку правого берега. Участок этот расположен между р. Курдюм и Соколовой горой, которая является доминирующей возвышенностью на указанной территории.

Находится объяснение и этимологии названия Курдюм, которая, как выясняется, тоже связана с Сары-тау. М. Семби привёл ряд аналогичных гидронимов Центральной Азии – Курдым, Куртым, Куртум, Курдум. Присутствует этот гидроним в тюркских эпосах: в казахском – река Курдымсу, в киргизском – Курдум. В эпосах это название связано с понятием «нижнего – загробного» мира. В топонимах означает низовья реки³⁸.

Как отмечалось выше, Курдюмское займище (пойма в устье р. Курдюм) занимало большую территорию вплоть до устья Гусёлки и дало название всей реке. С этими заливыми лугами и мелями в устье связан и брод через Волгу. Таким образом, Сары-тау – «нагорная сторона/местность» является противопоставлением находящейся рядом пойме (Курдюмскому займищу), местности Курдюм – «Низовья».

В итоге можно сделать несколько выводов.

Во-первых, следует считать версию первоначального основания Саратова на левом берегу Волги ошибочной. В Анисовке, Квасниковке Саратов, Сарата или Саратау никогда

не был расположен, т.к. там нет соответствующих археологических находок и культурного слоя, а все письменные источники противоречат этому. Левобережный Саратов не мог быть местом основания первого города, т.к. тот находился на расстоянии от него в несколько километров. Раскопки на Шумейском городище не подтвердили наличие русского поселения на сохранившемся участке, а отдельные находки монет второй половины XVI – начала XVII в. могут свидетельствовать о присутствии рядом брода, переправы, промыслового стана или заставы на размытом участке или на смытом острове.

Во-вторых, первый Саратов находился выше современного города. Его размещение в районе Увека или в устье Глебучева оврага являются лишь плодом фантазии и противоречат всем источникам.

В-третьих, всесторонне обоснованным местом основания первого Саратова следует признать территорию Курдюмского займища. Его основание в устье Гусёлки согласуется со всеми письменными источниками, а также археологическими находками, датированными археологом И.В. Синицыным второй половиной XVI – началом XVII в. Версия его расположения на острове в Курдюмском займище не исключается, но не может быть проведена и подтверждена.

В-четвёртых, начальной датой левобережного Саратова следует считать не 1617 г., а 1614/15 год, если принять, что в 1614 г. было определено его будущее расположение и началось изготовление деревянных строений в верховьях Волги, в 1615 г. в половодье город был сплавлен вниз по реке и собран на новом месте, а в мае 1616 г. впервые упомянут в источниках.

В-пятых, Саратов получил название от наименования местности. С юга эта территория ограничивается Соколовой горой, с севера р. Курдюм и Курдюмским займищем. До возникновения Саратова-крепости недалеко на острове могла находиться застава, в связи с чем ещё некоторое время употреблялось словосочетание Саратов – остров.

В-шестых, название Саратов происходит от Сары-тау, что означает не Жёлтая/Красивая гора, а «Нагорная сторона» или местность. Это говорящее название является противопоставлением лежащей под ней местности Курдюм, что означает «Низовья/Низменность».

¹ Книга Большому Чертежу. К.Н. Сербина (редактор). М.–Л.: АН СССР, 1950.

² Гераклитов А. А. Где был построен Саратов // Труды СУАК. Вып. 31. Саратов, 1914.

³ Браташова С. А. Ранний Саратов: на перекрёстке путей и эпох. Саратов, 2015. С. 63.

⁴ Рабинович Я. Н. Воеводы левобережного Саратова (1617–1641). Саратов, 2013. С. 20-21.

⁵ Беликов М. П. Старый собор и Старый город: История Свято-Троицкого кафедрального собора и города Саратова в свете новых данных. Саратов, 2015. С. 35.

⁶ Кусаинова Е. В. Русско-ногайские отношения и казачество в конце XV – XVII вв. Волгоград, 2005. С. 149 (ссылка на: РГАДА, ф. 127, оп 1., 1613. № 5. Отправление в Орду посла Кондырева).

⁷ КБЧ. С. 121.

⁸ Там же. С. 115.

⁹ Там же. С. 114.

¹⁰ Там же. С. 108.

¹¹ Там же. С. 78.

¹² Там же. С. 64.

¹³ Там же. С. 113.

¹⁴ Там же. С. 85.

¹⁵ Там же. С. 143.

- ¹⁶ *Донецкий Б. Н.* Кочующая крепость // Памятники Отечества / Вольная губерния. – № 39 (1/2). М., 1998. С. 42–48.
- ¹⁷ *Браташова С. А.* Указ. соч. С. 93.
- ¹⁸ Акты исторические, собранные археографической комиссией. Т. 1. СПб, 1841. С. 445.
- ¹⁹ КБЧ. С.184.
- ²⁰ Там же. С. 114.
- ²¹ *Студенцов Н. Н.* Две загадки Саратова. Саратов, 1988.
- ²² *Браташова С. А.* Указ. соч. С. 76, 77.
- ²³ Известия англичан о России XVI в. Чтения в императорском обществе истории и древностей Российских. № 4. М., 1884. С. 39–41.
- ²⁴ Английские путешественники в Московском государстве в XVI веке. Пер. Ю. Готье. М., 1937. С. 266.
- ²⁵ *Браташова С. А.* Указ. соч. С. 80.
- ²⁶ Возможно, здесь вкралась ошибка: Увек вместо стандартного – Терек. В другом документе читаем: «...и на Волгу, и на Яик, и на **Терек**, к атаманам и к казакам смутные слова пишет...» (1614 г. Соборная грамота Российского духовенства Донскому казачьему войску о взятии мер против Заруцкого и Марины... Акты, собранные в библиотеках и архивах Российской империи. Т.3: 1613–1645. СПб, 1836. С. 36). Позже Степан Разин писал подмётные письма «**На Волгу, на Яик, на Терек** и в Запороги – во все казацкие земли» и т.д.
- ²⁷ Как выяснил М.П. Беликов, Застенные воложки известны на Волге от Казани до Царицына ещё, как минимум, в трёх местах. Они никогда не связаны с городскими стенами. Эти названия принадлежат рыболовцам угодьям на участках Волги, «застенённым» от основного русла островами.
- ²⁸ *Браташова С. А.* Указ. соч. С. 91.
- ²⁹ *Худяков Д. С.* Земля Саратовская. Несколько портретов на фоне истории Поволжья. Саратов, 1998. С. 24.
- ³⁰ *Баринев Д. Г.* Золотоордынское поселение около посёлка Шумейка // Археологическое наследие Саратовского края. Охрана и исследования в 1996 году. Вып. 2. Саратов, 1997. С. 241–252.
- ³¹ *Худяков Д. С.* Земля Саратовская. Несколько «портретов» на фоне истории Поволжья. Саратов, 1998. С. 33–35.
- ³² *Осинов В. А.* Очерк истории Саратовского Поволжья. Саратов: СГУ, 1993.
- ³³ *Герасимов.* Указ. соч. С. 34–36.
- ³⁴ *Семби М.* Память земли тюрко-монгольской: истоки и символика топонимов. Алматы, 2013.
- ³⁵ Там же. С. 42–44.
- ³⁶ Там же. С. 44.
- ³⁷ *Мадугев А.С.* Из области топографической ономастики Поволжья // Сборник статей в честь академика А.И. Соболевского. Л., 1928. С. 402; Студенцов Н.Н. Указ. соч. С. 64–70.
- ³⁸ *Семби.* Указ. соч. С. 51.

Сергей ТРУНЕВ

КОНФОРМИЗМ И НОНСЕЛЕКЦИЯ

Нижний Новгород: литературно-художественный журнал. 2014. № 1, 2, 3.

№ 1

«Рождение нового литературно-художественного журнала – показатель того, что в нашем регионе сложилось писательское сообщество, которое обладает общим пониманием писательских задач и уверено, что имеет своего читателя», – пишет в предисловии к первому номеру главный редактор журнала, Олег Рябов. Я не знаю, что такое «писательские задачи», но постараюсь выявить их, исходя из имеющегося в моем распоряжении материала. Все-таки три номера – это не один, по ним уже можно определить основные тенденции развития периодического издания.

Открывает номер Глеб Горбовский с патриотически-пафосным циклом стихов «Поклон Волге»: «Что есть Россия? Мудрая река...// Всех наших сил и разумений русло...// И мы – ее крутые берега// В сугробах городов и нивах русских» (8). Навскидку рифмуется с хрестоматийным «поэт в России – больше, чем поэт»... Может, писать, ориентируясь на явно или не явно артикулированный соцзаказ, – и есть писательская задача?

Далее идет малая проза Александра Ломтева, побывавшего по долгу журналистской службы в ряде «горячих точек» и вынесшего оттуда свои образы и сюжеты. Например, в поучительном рассказе «Мальчик» юного героя, пытавшегося подорвать колонну российских БМП, не только ослепило, но также по воле автора ему оторвало руки и ноги. В следующем тексте – Влада Горбунова, «Почему ты ненавидишь мою Родину?» – пьющий отец, у которого в доме стоит дух «неумело приготовленной пищи» (любопытно, как она пахнет?), упрекает своего сына, женившегося на американке, в ненависти к России. Сам же он, разумеется, патриот, для кото-

рого все американцы – «пиндосы»: «Пусть пиндоска огурцов соленых принесет, – по звякивая по краям стаканов, он разливал водку» (23). Но как жить патриоту в стране, где обладающие властью страшно далеки от идеала? Стать на их сторону и умереть или уйти в лес и тоже умереть – эта жизнеутверждающая альтернатива рассматривается в рассказах Дмитрия Ермакова, где главные злодеи уже не внешние мифологические «пиндосы», а внутренние, столь же мифологические «москвичи»: «... Думалось, что вырвался ты из той адской машины, перестал винтиком быть. Но нет, достали – иди-ка ты, винтик, на свое место...» (49). Все то же «общее понимание писательских задач» обретает у Владимира Седова форму признания в нелюбви к Швейцарии: «Эта нелюбовь была не от зависти. А от страха, что и мы когда-то доживем до этой пугающей стерильности и правильности. А для настоящего русского это – смерть» (52). Наконец, завершает первый прозаический блок проза Виталия Сероклинова о жизни грузчиков оптовой базы. База сплоченная, интернациональная, но и здесь не обходится без острого политического сюжета, в котором «гыкающий малоросским акцентом мужик» называет дагестанцев «черными». В ответ хорошие дагестанцы обиделись и... накормили всех мясом.

Поэзия как бы продолжает уже наметившуюся линию «православие – самодержавие – Россия (Русь)». Более о ней сказать почти нечего, разве что привести по несколько наименее совершенных рифм из творений каждого автора (некоторые из рифм представляют как бы отдельное «микростихотворение»). Диана Кан: «наявузову», «края-рая», «не раз-у нас»; Евгений Эрастов: «кони-ладони», «наследил-приходил», «сосен-осень»; Кирилл Анкудинов: «года-колода», «растенья-запустень», «тряпье-твое». Евгений Эрастов, правда, порадовал, отыскав очередных врагов в рядах «депутатов»: «Россия! Огромный цветной лохотрон!// Бесстыдный фантом, депутатская случка» (80).

И снова проза. Рассказы Олега Макоши, для которого литература является своеобразной сублимацией алкогольного опьянения: «Пишешь рассказы, иначе придется пить с коллегами дрянную водку на пьяном камне возле забора или дорогую водку со старыми друзьями в офисах и ночных клубах» (93). Михаил Чижов бессознательно исполняет хоровую партию с Владимиром Седовым: «То, что американцу смерть, русскому благо» (104). Владимир Румянцев, на протяжении тридцати лет работавший в органах безопасности, описывает сложную жизнь молодого прокурора. Роман Сенчин хвастается перед девушкой (в поезде) тем, что он писатель. Правда, в завершении его рассказа, как свет в конце тоннеля, возникает надежда на лучшее будущее, которое нам принесут представители нового поколения: «Наступили новые времена, пришли новые киношные герои. Но что-то более настоящих, чем Бодров, я не увидел. Зато в жизни стал встречать парней, напоминающих его. (...) Но не похожи они на пацанов из девяностых, безбашенных и звероватых, а, скорее, смахивают на ребят-комсомольцев из ранних советских лет, хотя их я знаю по книгам да фильмам...» (114). А в рассказе «На блесну» Валерий Бочков возвращает нас к «американской» теме, повествуя о неудачном романе русской студентки и американского профессора. В сущности, текст неплохой, но также идеологизированный. «Ты думаешь, я не знаю вашу славянскую породу? Вашу зависть, вашу азиатскую хитрость?» (124) – кричит профессор своей юной любовнице по ходу итоговой ссоры. Тему мертвых (обманутых, униженных) детей продолжает Зарина Карлович, повествующая о жизни (смерти) мальчиков-«защеперов». Текст изобилует молодежным сленгом, постраничные пояснения которого мешают читать, а окончание грубо, как жизнь судмедэксперта: «Натянул плотные перчатки, он сгреб стовревшее бесформенное мясо в испачканный чем-то коричнево-бурым мешок, отодрал часть прилипшей кожицы бывшего когда-то молодого лица, что не смог отодрать – оставил на память поезду» (133). Проза Олега Веденеева, закрывающая второй прозаический блок, в

целом вполне удобоварима, но автору никак не дает покоя паховая область. Он то представит работающий «титан» пузатым монстром, «у которого в чугунном паху горит голубой огонек» (135), то ужасается размерам собственного мужского достоинства: «Весь мир вдруг заслонила собой громада (! – С.Т.), оттопырившая край тренировочных штанов под глумливый смешок моего дружка» (140).

О стихах, вошедших во второй блок поэзии, также сказать почти нечего, в силу чего снова привожу рифмы. Марина Савинных: «извращенца-младенца», «тебе-борьбе», «руки-муки»; Андрей Дмитриев: «свет-лет», «песке-вдалеке», «калитки-в избытке».

Рубрика «Театр» содержит пьесу «Хроники забытого острова: Исторические арабески в двух частях» Егора Черлака, где главное действующее лицо – капитан Бонапартов – является какой-то неловкой пародией на Наполеона, в то время как сюжет слегка напоминает «Ревизора», правда, без чудесного гоголевского языка.

Публицистика в первом номере (как и в двух других) представлена текстом Николая Бенедиктова, проводящего смелые параллели между прошлым России и ее настоящим, и смело указывающего, куда ей идти: «Православие и коммунизм явно выглядят сторонами одной медали и, слава богу, эта медаль русская. В идейной сфере маятник двинулся в обратную сторону от либерализма давно, патриотизм стал опять не просто приличным, но и едва ли не обязательным словом в государстве, народе и среди живых людей. (...) И Крым показал наглядно: в России всегда найдутся умные и смелые лидеры, умеющие в сложный момент взять на себя ответственность и способные к решительным действиям» (190).

О «Литпроцессе» повествуют Андрей Рудалев и Елена Крюкова. В тексте Рудалева меня впечатлило самое начало, где автор вспоминает о том, что сборники художественных текстов и научных статей часто называют «братскими могилами». Эта характеристика по ходу чтения «Нижнего Новгорода» к моменту прочтения статьи уже неоднократно всплывала в моем со-

знании, поскольку его авторы (особенно в разделе «Поэзия») оказались, как неизвестные солдаты, практически на одно лицо. В статье Крюковой интересным показалось сравнение литератора со спортсменом. Здесь, с одной стороны, вспомнился горделивый ужас Олега Веденеева и, с другой, что в России традиционно проводятся две олимпиады: олимпийская и параолимпийская.

Отнести «спортсменов» к какой-либо из групп можно без каких-либо затруднений. Елена Пиетиляйнен: «костры-остры», «песок-лесок», «вязь-связь». По поводу последней укажу, что в будущем поэтесса может воспользоваться также рифмами «ботинок-полуботинок» и «брат-двоюродный брат», которые я где-то подслушал. Дарю! А вот фрагмент стихотворения Петра Епифанова:

сияет кокарда, и дышит теплом
кобуры свино-кожаный глянec,
и щек пламенеет румянец
инспектора-крепыша,
довольного службой, собою,
цепочкой своей золотою,
что девушки любят, и жизнь хороша (212)

Далее идет рубрика «Non fiction» с рассказами Александра Гуляева об Африке. По сути, перед нами литературные зарисовки врача тропической медицины, написанные живо, легко и с какой-то нежностью по отношению к животным и насекомым. Что-то подкупающее в стилистике Гуляева, что-то от Джеральда Даррелла...

В рубрике «Критический подход» Александр Котюсов повествует о романе Сергея Шаргунова «1993» и одновременно о том, как сам болел гайморитом (зачем?); Светлана Голикова анализирует джойсовский «Улисс». Обе статьи по отдельности хороши, но никакая логика не позволит понять, отчего редакция поставила их рядом.

Далее следует рубрика «Ретроскоп», содержащая тексты Николая Павлова «Госкино. Город Горький» и Николая Новикова «Годы и вещи». Обе работы также показались любопытными, но больше текст Новикова, который можно назвать полноценным исследованием некоторых аспек-

тов культуры повседневности (спичечные этикетки, Сормовский рынок, музыка «на костях»), имеющим литературную форму.

Очередной поэтический блок открывается двумя стихами Захара Прилепина, первое из которых стилистически напоминает Бориса Рыжего, а второе... никакое. Понравились первые две вещи Натальи Даминовой, но третья на их фоне выглядит блекло. И снова серая графоманская неразличимость. Вячеслав Карташов: «простор-ша-тер», «небес-лес», «шутя-дитя»; Игорь Левин: «замерзает-сползает», «снов-любовь», «волос-утес»; Ярослав Кауров: «стеной-пеленой», «тюрьма-кутерьма», «жиже-жижа» (привет Елене Пиетиляйнен!); Кселена Литвинова: «бес-небес»; «окошку-ладошку»; Ольга Косова: «муки-руки», «образа-глаза», «эпикриз-криз» (привет туда же); Дмитрий Ларионов: «волосы-полосы», «точкой-отсрочка»; Светлана Леонтьева: «рот-не в счет», «показалось-осталось»; Марина Маренина: «слова-не нова», «на него-у кого», «дороги-боги»; Евгения Мильченко: «прянула-канула», «вдох-лепестков», «предчувствий-идуших» (полная языковая глухота); Наталья Мухина: «грусть-Русь», «безупречна-вечно», «блескуч-могуч»; Юрий Придилов: «жнивье-мое», «трудно-подспудно», «бой-вразнойбой»; Владимир Решетников: «ночь-прочь», «нежна-она», «автомобиле-недоплатили» (привет Евгении Мильченко!); Владимир Савинов: «хороша-душа», «вид-обид», «дня-меня»; Галина Таланова: «любви-крови», «лицо-пальтецо», «пороге-дороги»; Сергей Сутулов-Катеринич: просто какой-то бред, я ничего не понял (как будто ребенок радовался, что умеет рифмовать, и лепил все, что в голову взбредет).

Насилу добравшись до рубрики «Вехи памяти», обнаруживаю два неплохих эссе. Первое принадлежит школьнику одиннадцатого класса Александру Базурину и посвящено обороне Осовца; второе – Наталья Зайцевой – о нижегородском эшафоте.

Затем «Эпистолярный», т.е. «Письма А.Д. Улыбышева князю В.Ф. Одоевскому» (перевод Натальи Тепловой, вступительная статья Валерии Белоноговой). Затем «Реплика» – «Пять страниц из дневников. Вла-

димир Седов (2014) – Иван Бунин (1919). И чувство стыда за то, что Бунина я знаю, а вот Седова – нет. Забил в интернет: «Википедия» выдала на гора казахстанского тяжелоатлета...

После текстов Владимира Петрова о книгах Сергея Чуюнова идет подборка детских произведений, объединенных страшным названием «Детская комната» (авторы Любовь Сидорова, Анна Перевезенцева, Юрий Немцов). Странное впечатление произвели стихи последнего, особенно строчки из текста «Колесо»: «И бензин не грозит колесу рублем, // И гаишник не оштрафует» (314). Напомню, это стихи для детей.

Завершает первый номер рубрика с на этот раз странным названием «Русский смех». Ничего смешного в ней я не обнаружил, за исключением названия первого в ряду произведения «Волшебная палка» (автор Николай Денисов). Далее идут стих и пародии Татьяны Уткиной (прямолинейные и разухабистые), а также стих Анастасии Устиновой, от которого стало как-то грустно.

Итак, первый номер вышел комом. Патриотизм помог кое-как скрепить прозаические блоки, но от остального содержания нестерпимо веет отсутствием у редакции всякой логики и литературного вкуса. Сложилось устойчивое впечатление, что формирование подборок происходило по принципу «хватай всех» (или всех «своих»?) а рубрики выстраивались на основании постмодернистского приема нонселекции.

№ 2.

Не имея возможности охватить все содержание двух последующих журналов, ограничусь фиксацией произведений, показавшихся либо вполне достойными упоминания, либо откровенно бездарными (достойными «Русского смеха»).

Первый блок прозы. Анна Андропова «Детская площадка»: «Оксана задумалась над чайником» (4). «Оксана взяла лейку из-под раковины и на всякий случай занялась цветами, к двери спиной» (19). Без комментариев.

Первый блок поэзии. Андрей Коровин: «цветущее черное море // призывно махало

нам вслед// и чаек бросало» (60). Тут два момента: зацветшее как пруд море и бросание чайками.

Второй блок прозы. Елена Крюкова, рассказ «Матросы»: «Ее кудлатые мощные волосы были неряшливо заплетены в две толстых черных косы» (110). Без комментариев.

Во втором блоке поэзии олимпийцем среди других спортсменов выглядит Игорь Караулов:

Газель ноль пятый регион
плетется по грязи.
Здорово, дедушка Харон,
меня перевези. (120)

Мимо кинотеатра «Харьков»,
мимо прачечной, тоже «Харьков»,
и все вокруг пело, кричало «Харьков»:
коты, кикиморы, игуаны. (121)

Третий блок прозы. Алексей Колобродов с рассказом «Антошка, учитель истории». Написано сочно, приправлено воспоминаниями и небезынтересными авторскими размышлениями.

«Публицистика». Николай Бенедиктов «Игумен земли русской»: «Именно жертвенная позиция России вынуждала ее воевать за свободу украинцев, молдаван, южных славян. Те же отвечали соответственно своей “реальной” политике. Сегодня даже Черногория и та поддерживает ограничительные санкции против России!» (183). Создается впечатление, что Россия испокон не имела никаких собственных политических интересов.

«Non fiction». Хороший текст Николая Фортунатова о П.И. Мельникове-Печерском, но... перепечатка из книги. Интересный текст Валентины Чириковой о ее отце, писателе Е.Н. Чирикове. Информативный, но никак не гармонирующий с предыдущими, текст Сергея Чуюнова о М. Плисецкой.

«Литпроцесс». Кирилл Анкудинов с эссе «Поэт и толпа»: «Вера Полозкова заставила лабораторный постмодернизм служить читательским массам, “национализировав” его» (271). «Служить массам», тем более «читательским», представляется миссией, постепенно возвращающейся в реальность

из светлого советского прошлого. Андрей Рудалев, эссе «Ахматова: явление чуда»: «Пушкин – безусловный гений» (273). Спасибо, Кэп! Пушкин ждал Вашего вердикта.

«Вехи памяти». Два хороших текста: Виктора Листова о начале Первой Мировой войны и Елены Веселовой о русском антарктическом проекте.

В целом второй номер представляется более ровным и имеет более четкую структуру (сократился и объем). Однако качество основного текстуального массива осталось прежним.

№ 3

Первый блок прозы. Владислав Отрошенко с произведением «Новочеркасск. Повесть в рассказах». В действительности перед нами серия довольно «крепких» рассказов, объединенных сквозными персонажами. Читать приятно, ничего другого не могу сказать. Последнее касается и прозы Натальи Рубановой «Восьмая нота». Рассказ «Поговорить» Марии Ануфриевой также не вызвал никаких негативных эмоций.

Первый блок поэзии. Понравилось, как пишет Игорь Чурдалев:

Падают яблоки в небо,
где напрямик,
сизую стужу взрезая, не глядя вниз,
тоненький след волочит истребитель МиГ,
точно паук из себя извергает нить. (85)

То же могу сказать о стихах Алексея Остудина:

Пока крутая лесенка не спета,
перечитаешь надпись на роду,
чтоб снять с предохранителя планету,
как маузер в семнадцатом году. (91)

Второй блок прозы. Александр Лушин (полковник МВД в отставке): «Эти строки я пишу в полном здравии ума, искренне полагаясь на то, что тот, кому они попадут в руки, поверит мне и передаст мои записи по назначению» (131). Во-первых, не понятно, что означает «по назначению». Во-вторых, в рассказах Лушина столько потусторон-

ней реальности, что когда они попали мне в руки, я искренне не поверил. Владимир Новиков, лауреат международного литературного конкурса «Лохматый друг» (что само по себе сильно) с нравоучительным рассказом «Неисправимый». Сюжет прост и делится на три части: молодой человек крадет медали у ветерана, ветеран спасает его от расправы нескольких молодых подонков, ведет его к себе домой, после чего молодой человек крадет последнюю медаль у ветерана. Вообще, рассказы этого блока просто изобилуют кражами, и убийствами, и похоронами, на фоне чего пафосно-победные интонации первого номера кажутся несколько наигранными. Неплохо смотрится рассказ Сергея Белозерова «Переломные моменты», хотя и здесь главного героя слегка ударили мотоциклом.

Второй блок поэзии. Поэзия Семена Пегова несколько неровна и сильно политизирована, но умение рифмовать, равно как стихотворение «Рыболов», выделяют его из общего ряда:

Правишь на юг, за ухабом жуешь ухаб.
Как всегда оскорбляешь каждый
встреченный джип.
Думаешь, почему настолько
родился храбр,
Что не хочется жить. (175)

Хороши своей звукописью также стихи Михаила Тарковского:

То не хиус ушами стрижет марал,
И не ирбис когтем скребет
Это Батька-Камень, седой Урал
Ощетинил тайгой хребет,
Чтоб громадой плеч на полнеба лечь,
Иноземному ветру встречь. (177)

«Публицистика». Все тот же Николай Бенедиктов, на этот раз о М. Лермонтове: «Лермонтов был из русских. Запад, император – были из другой партии. Мартынов был их орудием» (183). Сильно сказано. Без комментариев.

Третий блок поэзии. Здесь своими сонетами из общей массы выделяется Владимир Безденежных:

И мальчик, словно кисти Караваджо,
Тебя на улице снимает на I-Phone
И с тегом #синь# сливает в Instagram. (197)

«Критический подход». Олег Захаров «Как не надо писать пародии. Попытка исследования». На мой взгляд, пародии вообще не надо писать.

«Переводы». Весна Капор (Сербия) с рассказами «Как в кинотеатре» и «Боже, благослови город, в котором мы» (переводчик Оливер Жеренич). Слог обоих рассказов ровный, индивидуальный, насыщенный интересными сравнениями. Российские бы прозаики, публикующиеся в «Нижнем Новгороде», так писали.

«Вехи памяти». Здесь безусловно хороши тексты Розалии Кузнецовой «Заветы Павла Филонова», Павла Крусанова «Дайте ему кусок камня» о Н.С. Гумилеве и необходимости поставить ему памятник в Петербурге, Валерии Белоноговой о Мавре Егоровне Быховец и, наконец, Эдуарда Кузнецова «“Обладая страшным басом...” Федор Шаляпин в эпиграммах и шаржах». Лично для меня наиболее интересным оказался текст о Шаляпине, но это чисто субъективное мнение.

Также впечатлила ранее не встреченная редакторская рубрика «Вкус классики», составленная из фрагментов произведений русских классиков, посвященных еде. Ну, что тут сказать? Что испокон умели делать на Руси, так это есть. И я люблю, и поэтому взгляд мой донельзя пристрастен: очень качественная и по-настоящему вкусная подборка.

Из сказанного следует, что «Нижний Новгород», взятый в целом, проваливается как раз в тех рубриках, которые определяют его специфику как литературного журнала (значительная часть прозы и практически вся поэзия). Несколько лучше обстоят дела с историческими материалами, однако лишь малая их часть отражает художественную направленность журнала. Остается добавить, что если редакторы избавятся от конформизма, станут разборчивее и логичнее при селекции публикуемых произведений, данное издание станет вполне читабельным.

Борис КУТЕНКОВ

«ВЫНИМАТЬ ИЗ ДУШИ ПЕЧАЛЬ...»

Алексей Кубрик. Внимательный лес.
– М.: Воймега, 2015. – 80 с.

В стихах Алексея Кубрика прежде всего обращает на себя внимание пейзаж – самостоятельный герой, которому доверяешь с первых страниц книги.

Дачный мир. Окрестности леса. И человек, бредущий на реку или обратно – к дому, произнося внутренний монолог («проборматывание» – слово из лексикона Кубрика). Голос глуховат, фразы отрывисты. Коллаж отрывков разговорной речи – такова речь этого человека, и то, что слова, «украденные» у языка, становятся стихами – счастливая случайность, но здесь же – сила поэзии, где сведён к минимуму элемент сделанности. Даже отдалённая аллюзия – «Февраль. Достать чернил и плакать» – может не просматриваться сквозь слой фраз, бывших знакомыми, кажется, всегда, и с предельной естественностью выговариваемых наедине с собой:

Июль. Жара. Песок и камни.
Прозрачный шустрый пещарёк.
Ну да, хотел поймать руками
и шлёпал всем, чем только мог.

Было бы соблазнительно сопоставить ненавязчивую дистанцированность этих стихов с местом автора в современной литературной разногласии: редко публикуемые подборки, ещё реже – высказывания о поэзии (но те определения, что есть, попадают в самую точку, в самое естество «сущности, которую лучше не определять», по Анненскому. «Возвращённое обратно в человека дыхание небес»*, которое «можно услышать только в тишине, а “великая тишина” (...) ушла... Если все что угодно можно включить или выключить, то это не

* Недооценённые и забытые. // Воздух, 2011, № 4 (<http://www.litkarta.ru/projects/vozdukh/issues/2011-4/underrated-n-forgotten/>)

музыка, а фон, шум»^{*}). При этом общеизвестна его кропотливая работа с молодыми авторами и репутация если не эксперта (куда так громко...), то теневого мастера. Из отдаления становятся виднее важные вещи, не замечаемые теми, кто вовлечён в суету быта. Вот и название книги «Внимательный лес», по определению самого автора, связано с всматриванием человека в пространство: «Название <...> не столько олицетворяет мистический лес, который способен что-то видеть в нас, сколько наоборот: настоящего леса все меньше вокруг нас, т.к. мы все реже его внимаем в полной мере. “Внимательный” – это втянутый во внимание, пригодный или даже заставляющий нас быть внутри внимания»^{**}. Другие смыслы, выводимые из биографии, точно подмечены Даниилом Файзовым на презентации книги: «...с одной стороны, лес – это каким-то безусловным образом связано с поэтом Алексеем Кубриком (живущим в подмосковной Балашихе. – Б.К.), а “внимательный” – тоже, ибо вспомним его многократную семинарскую работу со многими молодыми поэтами, и даже я, не будучи ни разу ни на каких семинарах Алексея Кубрика, однажды услышал его замечания по поводу своих стихов. Он отозвал меня в сторону и сказал, что нужно сделать с ними то-то и то-то... Внимательность его была – к человеку, пробегающему мимо. Поэтому можно сказать так: лес внимательный, Кубрик – внимательный, Кубрик – лесной».

В каком-то смысле все осязаемые герои книги – от любовно описываемых насельников фауны: «жеманные мыши», «восхитительно рыжий кот» – до столь же живых олицетворений – «сквозных теней», которые «не любят случайного приближения», – действительно ученики автора, его внимательный копошащийся семинар. «Всё слегка заползло друг-в-друг». Показатель-

но умение этого автора навязать пространству собственную перспективу движения, – заставив поверить, что и душа его, пространства, собственная: «В моих стихах твоей души / Намного больше, чем моей». Это признание из тех, что хочется назвать программными, дорогого стоит, характерное редким для поэзии самоустранением не автора, но собственной позиции, и уравновешенное последующим осторожным «как будто»: «В коробках спят карандаши, / Как будто так они точней». Чувство зыбкости, с которым распределены предметы, передаётся им самим, – и это тонкий нюанс, настаивающий на неиллюзорности порядка (карандаши распределены человеком, но «спят» – примета собственной жизни, и баланс между самостоятельностью пространства и сторонним в нём присутствием задаёт особый тон отношениям «говорящего» и мира). Или – осторожное вырисовывание утешительной перспективы – полуулыбчивое, колеблемое между априорной будущностью и настойчивой волей, придающее соразмерность диалогу между человеком и пространством:

Вырастешь, станешь птицей
и прилетишь ко мне.

Как ни странно, это *настаивание не на себе* (именно так – в противоположность *ненастаиванию* на собственном присутствии, вынесению авторской фигуры за скобки, не столь редкому в поэзии, часто декларируемому и порой оправдываемому обычной робостью), подчёркивание значимости чужого (чужого ли – как «не своего»? Скорее – бережно присваиваемого и надеваемого родством), – больше говорит нам о герое стихов, нежели о его отсутствии. Вещь, бывшая принадлежностью внимательного леса и ставшая родственной внимательному (и взыскательному) взгляду, свободно кружит, по Мандельштаму, «как душа вокруг брошенного, но незабытого тела», – порой отправляемая в свободное парение, порой – контролируемая авторитарным, но заботливым жестом:

В чтение книги, подаренной летом,
я добавляю иные сюжеты,
в странствие долгое – нет, не пушу.

^{*} Алексей Кубрик. Сказать этому миру «да», может быть, труднее всего для поэта... Интервью Захару Прилепину. // Агентство политических новостей, 31 августа 2015 (<http://www.apn-nn.ru/538338.html>)

^{**} Гусева С. К разговору о приличных вещах. Презентация книги Алексея Кубрика «Внимательный лес». // Сайт «Культурная инициатива», 07. 07. 2015 (<http://kultinfo.ru/novosti/1934/>)

Было бы странно назвать эти стихи «буколической поэзией» или «пейзажной лирикой» (хотя Алексей Кубрик признавался, например, в любви к Есенину, – поэту, вряд ли являющемуся ориентиром вне паралитературной области и важному не только открытостью и внятностью, но и «силой любви» и атмосферой внецивилизационного отдаления: «Есенин услышал ровно там, где не было ни импрессионистически-пианистичного Пастернака, ни хорошо темпированной архитектуры Мандельштама, как бы в стокилометровой округе сгоревшей усадьбы Блока. (...) А у Есенина такая сила любви, что даже “чернь”, а не только “толпа”, его любит. (...) Можно и несколько иначе: у Есенина самая (после Пушкина) светлая, природная просодия»)*. Ложной сентиментальности и слащавому умилению последователей Есенина поэт противопоставляет невеселое осознание: «Сделал флюгер, а жизнь не в силах», словно замечая это неумение – характерное вообще для поэта – присутствием ремесла, терпеливым залатыванием дыр в бытии. Ремесло – труд обыденный, представимый – в поэзии Алексея Кубрика равно труду душевному: «Хоть потрескалась печка из кирпича, / но ничто ещё не скрипит» (ср. у Гандлевского: «Скрипит? А ты лоскут газеты / Сложи в старательный квадрат»). И снова удивляешься силе поэзии, в которой обыденная дачная картинка: «На соседней с нами даче / соль попросишь в жёлтый борщ. / Укус кончился, и красный / не получится уже» внезапно распространяется на метафизику человеческой жизни с её ощущением «дорогой ранней седины» и тихой, почти молчаливой печали. Вряд ли научный анализ способен объяснить, почему столь ощутимого эффекта достигает сближение слова чужого, материнского, бережно-настойчивого, и собственного – покорного, но и мягко настаивающего на своём: «Одевайся и сходи за хлебом... / Одеваюсь, даже ухажу. / Море улыбается, как небо. / Я его на ниточке держу». Да и объяснение, почему «ухажу» в сочетании с «даже» ведёт за собой семантику внезапного отдаления, поэтапного исчезновения из пейзажа, – ле-

жит в области непроизвольного сердечного жеста, становящегося уже *читательским* событием, и вряд ли поддаётся филологическому препарированию.

Читателю остаётся работа интуиции. Действие в поэзии Алексея Кубрика метафизично. Распорядок этих действий редко оттеняется осмыслением их внутренней сути, но когда это происходит, речь достигает особой интонационной силы: будто привыкаешь к негромкому, мерному, порой бормочущему течению голоса, который произносит внезапное откровение: «Поля в дыму. Леса в огне. / И пепел кружится, как снег. / И с сердцем трудно в тишине, / Как будто это человек». Рефлексируя, записывая, подмечая, словно взяв за основу, что присутствие «твоей» (пространства) души первостепенно, а «моей» (говорящего) вроде бы не обязательно или оставляемо напоследок, – можно внезапно замедлить шаг, чтобы проговорить личное. Эти моменты у Кубрика часто декларативны, нередко просятся в афоризм, перерастая плоскость житейской истины: «Только умеющий прятать дыханье / знает, когда ему жить». «Привычная» же речь спонтанна, тороплива в опасении спугнуть впечатление; иногда пластинка действия чуть ускоряется – но не самопроизвольно, а по воле автора, стремящегося сблизить написанное – и произнесённое; спонтанное – и медленно декларируемое. Такое ускорение хорошо заметно на примере двучастного цикла «Quantum satis», где само название предполагает выбор не только читателя, но и автора «по вкусу»: первая часть цикла звучит как черновик («проборматывание», говоря, опять же, словами Кубрика); вторая – как внятное фиксирование действий внутри монолога, когда монтаж кадров происходит в присутствии аналогичного стихотворного размера – будто верчение того же флюгера, но в ином ритме. При этом обнажается игровая природа эксперимента, что подчёркнуто и сменой пунктуации:

I

*шуршат крылатые муравьи
ёжик в блюде зашёл
допил молоко допыхтел свои
тысячи игл в пол
(...)*

* Алексей Кубрик. Указ. соч.

II

Шуршат крылатые муравьи.

Ёжик в блюде зашёл.

*«Сколько крови, столько любви», –
сказал и упал под стол*

(...)

Природа этих стихов сама действенна, ремесленна – но в смысле не версификации, а медленного, реставраторского умения «вынимать из души печаль» («грусть мира поручена стихам», цитирует он в интервью высказывание Г. Адамовича). Фрагментарность, в целом характерная для современной поэзии, всё чаще похожей на обрывки сна (см., например, недавнюю рецензию Елены Генерозовой о стихах Владимира Беляева: «...в них (стихах) мы имеем дело как бы с “логикой сна”, а сон, как известно, не подлежит объяснению, его можно лишь воспринять как данность (...). О чем тут говорить, когда во сне ты пассивен и способен лишь наблюдать за происходящим?»)*, у Кубрика имеет особое значение – с привычным для него смирением и терпеливой необходимостью обживать пространство, исходя из данности времени и обстоятельств. Сон, предлагаемый Алексеем Кубриком, – это не «человечества сон золотой», навеваемый письмом сентименталистски-благодушным или абстрактно-незаземлённым, и не копирование пейзажа «реалистами» от поэзии, но – тонкий, точный поиск соотношения между *своим* и *чужим*, при котором *своё* постоянно сдвигается, отводится на последний план; поиск баланса между тем, что «из области снов», и фрагментом живой, осязаемой действительности. Человеческое сочувствие к субстанции *неназываемой*, облекаемой в плоть – музыке, которая привычно воспринимается поэтами как бестелесный дух, а зачастую и как расходный материал для сочинительства – такой труд души не может не быть уникальным:

...потому что музыка есть число,
а числа никому не жаль.

* Генерозова Е. А может, и не нас вовсе. Рец. на кн.: Владимир Беляев. Вроде сторожившего нас. – New York, Ailluros Publishing, 2014. // Литература, № 41 (<http://literatura.org/criticism/1112-elena-generozova-a-mozhet-i-ne-nas-vovse.html>)

Андрей ПЕРМЯКОВ

МАРАФОН НАЧИНАЕТСЯ ПОСЛЕ ТРИДЦАТОГО КИЛОМЕТРА

**Таризл Цхварадзе. «Когда молчать
нельзя уже». – Тбилиси: «ДАНИ», 2014.
– 136 с.**

**Александр Самарцев. «Конца и
края». – М.: «Русский Гулливер, 2014. –
100 с.**

Окололитературное сообщество, в последние годы обычно именуемое «литтусовкой», существует, наверное, столько же времени, сколько существует литература. Отмечу: ничего обидного ни в термине «окололитературное», ни в слове «тусовка» нет. Собственно, эту милую компанию можно назвать длинно и точно: «люди, не только интересующиеся творчеством любимых поэтов и прозаиков, но также их частной жизнью и, как правило, входящие в круг общения этих литераторов». Но «тусовка» всё ж привычнее и понятно интуитивно. Кстати, в наше время, когда литература стала делом по-настоящему частным, тусовка за редчайшим исключением из литераторов и состоит. Естественно, в периоды, когда их Аполлон к священной жертве не требует.

Так вот: основной функцией этой милой компании всегда было производство, распространение и обсуждение слухов. Как правило, слухи эти имеют под собой реальную основу и часто бывают небезынтересными. А потом выясняется правда и, в свою очередь, часто оказывается интереснее слухов. Вот некоторое время назад возникла сплетня такого рода (передаю в кратком и наиболее конвенциональном виде): «Алексей Цветков и Бахыт Кенжеев приехали на фестиваль в Батуми. Подходит к ним пожилой грузин, приглашает к себе в гости. Они думали, как обычно – графоман какой-нибудь, но вино пить поехали. Далеко так в горы уехали. А человек, оказывается, очень хорошие стихи пишет. Недавно совсем, а хорошие вообще. И не учился, никого не знает. Так-то!»

Несколькими годами ранее сходную байку – правда, с упоминанием совершенно

иных мэтров, другого возраста главного героя истории и весьма отличающегося антуража – рассказывали про Амарсану Улзытуева. Но там ситуация проявилась довольно быстро. Всё-таки его многие знали, скажем, по Литературному институту.

Впрочем, и миф про этакого грузинского Анри Руссо продержался недолго. Тариэл Цхварадзе (а сказку московские любители поэзии сочинили именно о нём) оказался очень неслучайным человеком в поэзии и вообще в искусстве. Окончил художественное училище, а что почти четверть века прожил за границей, занимаясь бизнесом – так кого этим в наше время удивить? Возраст оказался хоть и не юным, но далёким от пожилого. И ещё один момент: его брат, Владимир Цхварадзе, хоть и был младшим по возрасту, в поэзию пришёл раньше. Увы, и ушёл тоже. Тариэл посвящает ему стихи с, например, такими строчками: *«Он был поэт, я – лишь добытчик денег...»*.

Хотя всё это обстоятельства внешние, так или иначе. Куда важнее был приход текстов Цхварадзе в обиход литературно-критического сообщества, а в общем-то – и в ту самую тусовку. Тексты эти произвели впечатление. Причём впечатление довольно сложное: одновременно стали видны и безусловная их поэтическая состоятельность, и яркая очень индивидуальность (хотя это общее место – вне индивидуальности поэта нет) и в то же время свидетельства того, что автор пишет более или менее недавно. Вернее, ровно один такой признак: некоторая избыточность текстов. Точно поэт не уверен: примет сказанное им читатель с полуслова, или требуются подробные разъяснения.

Так или иначе, но стихи эти заинтересовали многих. И вот четвёртая книга Тариэла Цхварадзе: «Когда молчать нельзя уже». Скажу сразу, чтоб уже не возвращаться к этому моменту: некоторое многословие в стихах осталось. Теперь, когда поэта уже никто не отнесёт к начинающим, сойдёмся на том, что имеет место не болезнь роста, но особенность. Может быть, велеречивость свойственна грузинской поэзии, тут уж я совсем не знаток. Кроме того, автор никогда не использует избыток слов для

создания красотостей или хуже того – чтобы заполнить пустые места. Это исключительно средства создания деталей, важного такого орнамента.

В свою очередь, орнамент не скрывает собственно картин, возникающих из стихотворения. А картины эти при видимом спокойствии воздействуют порой очень сильно. Если проводить художественные аналогии, то это не Эдвард Мунк, а, скорее, Эдвард Бёрн-Джонс. Только Бёрн-Джонс, доживший до англо-бурской, например, войны и пишущий сюжеты о ней:

Ну, здравствуй, мама! Этим летом
я первый раз увидел море.
Мой БТР перед рассветом
на берег вполз, ревя мотором.
<...>
Нас не встречали тут цветами,
а командир внушал, что встретят...
Стянуло небо облаками
Недалеко от Кобулет.

Но это, пожалуй, самое прямолинейное высказывание о чём-то, имеющем отношение к политике. Да-да, вот так деликатно и едва ли не единожды за всю книгу. Она, книга, о другом. Даже и прощание, возможно, окончательное, с Москвой обусловлено отнюдь не социальными причинами:

Кубики гранитные, временем потёртые,
каждый камень площади –
чей-то яркий след,
рядом с нами многие, ну, а кто-то –
с мёртвыми,
и на Лобном месте – россыпи монет
<...>
Молча постою ещё – ну, прощай,
красавица,
вряд ли я когда-нибудь вновь
вернусь сюда.
Мне немного грустно от того,
что, кажется,
не увижу Красную больше никогда...

Никаких, кажется, личных обид. Просто закончился некий этап в жизни. А их много было, этапов этих. И вот такой поздно обрётённый дар именно по причине свежести своей и неусталости позволяет

глядеть сразу и в дальнее уже прошлое, и вперёд. Собственно, о чём-то таком писал в кратком послесловии Алексей Цветков: «Тариэлу Цхварадзе удалось, казалось бы, невозможное – обрести поэтический голос в возрасте, когда некоторые подбивают неутешительные итоги. И боль, и любовь в этом голосе подкупают искренностью, хотя временами прямо́та высказывания и может показаться чрезмерной... Сегодня это один из самых различных для русского слуха голосов Грузии».

Может, кстати, голос оттого так и различим со всеми его обертонами, что за редчайшими исключениями Тариэл описывает не экзотику какую-то, а сущности, очень легко представимые для отечественного читателя с хотя бы минимальным опытом жизни в минувшей стране:

Асфальт кипит, жара, ни облачка,
пивка б сейчас с ростовской воблочкой.
За разливным толпится очередь,
как в храм по праздникам на проповедь.
Займу свою, с трудом, но выстою,
рвану в район с большой канистрою,
где кореша в беседке с тарою –
опохмелись, «хрущёвка» старая!

Подобных стихов пишут теперь много. Но именно подобных. В этом же совершенно необычным кажется место пребывания автора. Он где? В каком времени? Вроде бы вот он переносится в то, минувшее, где разливное Жигулёвское берут непременно канистрами, а кореша сидят в беседке с пол-литровыми банками. Но «с трудом, но выстою» всё-таки указывает на человека не слишком молодого. Получается такое положение между временами, как в финале кино «Покровские ворота», когда герои попадают из 1956 года в 1982-й. Теперь, получается, тоже в 82-й, только вот из десятих годов нового века. Казался этот год недостижимым когда-то, и теперь кажется недостижимым. Забавно, да?

Такая беседа на уровне общих культурных кодов и делает стихи Тариэла Цхварадзе интересными для нашей читающей публики. Причём речь идёт об отсылках более глубоких, нежели любовь к одним и тем же фильмам. Прежде всего, тип иронии бли-

зок. В книге три части: «Не весёлая», «Веселее, чем первая» и «Весёлая». Вот фрагмент текста из части весёлой:

Итак, она звалась Татьяной... –

В отличие от той, она
была алкоголичкой рьяной,
но в этом не её вина.

Соседка Ольга, что постарше,
систематически пила,
и как-то раз, рукой дрожащей,
Татьяне стопку налила

<...>

«Судьба, судьба, судьба-злодейка
жизнь исковеркала мою.

Соседка, Оленька, налей-ка» –
«Конечно, Танечка, налью!»

Помимо очевидных отсылок первого плана, то есть к Энциклопедии русской жизни, тут ведь ещё и Блок со страшными детьми России присутствует в ритме и строе стихотворения. А так – мажорный вполне лад, уместный в «весёлой» части сборника. Редко кто сейчас так вот иронизирует без тяжеловесного и нарочитого стёба.

Вот так же, вроде бы совсем легко пишется Тариэл Цхварадзе и о самом жутком для поэта. О возможной утрате дара.

Приласкал однажды Бог,
одарив талантом.

Пробежалась между строк
муза на пуантах...

Перевернут небосвод –
звёзды в нём повисли.

День, неделя, месяц, год –
ни стиха, ни мысли.

Значит, кончился поэт,
искорка угасла.

Так в лампаде меркнет свет –
если нет в ней масла...

К счастью, в случае Цхварадзе страх этот совершенно напрасен. Человек внятно осознаёт, что он делает, зачем делает. Что за путь пройден и какой ещё предстоит пройти. Именно вот, наверное, благодаря тому и осознаёт, что находится в этом упомянутом междумирье: минувшая эпоха, может, и не вызывает у него восторгов, но память о ней впиталась навеки. В первую очередь – память стихотворная, опять-таки использо-

емая в качестве отправной линии для собственных текстов: очень часто заметно, чья именно линия продолжается в стихотворении и как продолжение этой линии становится абсолютно индивидуальным под уверенной рукой поэта.

В отличие от Тариэла Цхварадзе, московский поэт Александр Самарцев, переменивший, впрочем, не так давно в очередной раз страну обитания, в литературных кругах известен давно. Первая его книга вышла в 1991 году. А могла б и намного раньше, но тому мешали обстоятельства не поэтические, а политические. При этом нынешняя книга у автора тоже всего лишь четвертая. Отчего так? Думаю, очень важная роль тут принадлежит едва ли не единственной особенности, сближающей таких разных поэтов, как Цхварадзе и Самарцев. А именно: в стихах Самарцева тоже весьма легко определить их непосредственных предшественников.

Только вот метод работы с этими самыми предшественниками у него противоположен: не продолжение и развитие, но отрицание и преодоление. Будто автор долго-долго накапливает критическую массу чужих текстов, а затем являет миру поэтическое высказывание. В очень краткой, но ёмкой рецензии Дмитрий Кузьмин перечислил довольно нетривиальный список имён, так или иначе причастных авторской поэтике: Парщиков, Ерёмченко, Иртеньев, Пастернак, Вознесенский, Самойлов, Винокуров, Тавров. Плюс были упомянуты шестидесятники (оптом) и «безудержное нагнетание тропов». Насчёт очень многого в этом высказывании я согласен, а вот относительно шестидесятников поспорю.

Всё-таки с той генерацией поэтов Самарцев разобрался в предыдущем сборнике. Довольно лапидарно и однозначно:

Не сдавайте квартиру друзьям
Не звоните в ближние страны
Сами свою близость привезут-отнимут
Бросят-поцелуют

Заметим: использован абсолютно постмодернистский приём смешения стилей и внутреннего пародирования. То есть Самар-

цев оказывается на территории постоянно отрицаемого им метода: его высказывания о постмодернистах и постмодернизме куда жёстче, нежели о политических, например, оппонентах. Впрочем, и на территории постмодерна он гость недолгий. Надо двигаться дальше, вызывая недоумение такого искушённого критика, как Илья Кукулин: «Литературно – вроде бы понятно, откуда это происходит и с кем может быть родственно. Мандельштам, Тарковский, «Московское время», может быть, Парщиков. Трудно понять другое – то человеческое содержание, которое за этим стоит. Воля к сложности, желчная ирония, странные смены стилистик...». А ведь пишет эту рецензию человек, мягко скажем, неплохо разбирающийся в постмодернистской эстетике.

И вот новая книга. Начнём, пожалуй, с критики в её исходном смысле. С негатива то есть. Вне зависимости от используемых поэтик, давняя слабость (в обоих значениях термина) Александра Самарцева – страсти к использованию жаргонизмов:

До базы не дотянет Азраил
обманный профиль небо раздвоил
на рай живым и яму для копытных
его молитвам узелок морской
победами нащупанный отстой
ерошит буйный рост попыток

Почти у любого современного автора слова «отстой» и тем более «ерошит» смотрелись бы уместно, фактически – нейтрально. А вот у Самарцева нет. Отчего так? Не знаю. Может, говорит он о вещах слишком важных, дабы их нарочито снижать? Хотя это не оправдание, конечно. Но правда: не получается это у него на мой вкус. А вот архаизмы и диалектные слова в поэтику вписываются очень удачно. Как в строке «Чуден голос кругами свербя а неведомо чей».

Впрочем, это, конечно, частности. Интереснее общий ход поэзии Александра Самарцева. Очень во многих текстах он вновь начинает от стилистики ранних метаметафористов, а далее эту поэтику деконструирует. Заметим: опять-таки приходится употреблять сугубо постмодернистский термин! Тут можно было б привести много примеров из рецензируемого сборника, но

мы ограничимся одним, хотя и довольно крупным текстом. Очень уж он показателен. Как показательны и годы его создания: 1991–2013. Целая короткая жизнь. Троп «Персидский – зарница – зегзица» стал известен с тех самых времён в качестве почти что визитной карточки автора, и вот Самарцев приступает к своеобразной автодеконструкции:

Мать-мачеха бдит безнадёжна грибница
контроля
родная усмешка прощаний хватает родное
высокий этаж в колесе – намотайте же падлые
любви не поделим а петли подыдем
парадным
и солнце для верности припорошим
тополями
на том и отдышимся свете который ломали
где сварки дугой автогенеры очи смежили
по собственным трупам плывут
поезда окружные
Плывут поезда по карманам крапивам
окопам
На сердце душа не надейся в разделе глубоком
Суставная башня блинами указов кривится
Нефть льется в Персидский – зарница –
зегзица –
вот мщенье – как помнишь связав подпалила
княгиня хвосты голубям – и тебе половина
и краска плывет воздавая приему и лому
во зло выжигателю моря не выжить
мне злему
Зарницу в руке удержать а не руку длиннее
Под голодом плазма до вечных мерзлот
лубенеет
Бетон беззаветный смолола обдирная кожа
Ты выход пинал и прозрел и продлил
уничтожа
а пепел от выхода ту же мембрану грудную
скребёт с двух сторон и разбеги концов
я раздую
Натянута ленточкой бездна из влажного
слова

но проще обсохнуть А может и проще
простого

февраль 1991 – 2 января 2013

Старт явно от Арабова («Покуда Москвы полуримский стоит Капитолий...») и в системе образов – от Ерёменко («Корабельные сосны привинчены снизу болтами...»). Но вот куда поэтика сознательного

ускользания от предшественников приводит в итоге? Риску предположить: к Виталию Кальпиди. Вернее – в сторону Кальпиди. Это абсолютно независимые пути двух поэтов, две непараллельные и не прямые, но близко идущие линии. Впрочем, сблизись пути эти недавно, и с очень большой вероятностью вот-вот разойдутся.

Вообще, поэтика преломления, ускользания, применяемая Самарцевым, крайне интересна. Ибо, повторю: объектами, от коих надлежит ускользнуть, становятся поэты крайне интересные. Опасность, в сущности, одна, но серьёзная – узнаем ли мы подлинного Самарцева? Расположенного инсоотносительно коллег-соперников, говорящих то, что важно сказать именно ему?

К счастью, мы его уже знаем. Многие и лучшие стихи сборника напоминают не борьбу с предшественниками и не уход от этой борьбы, а такую игру в мяч, где на другой стороне сетки, ну, скажем, Пастернак. Хорошая такая игра, преодолевающая время:

Мы ничего не знали ничего
о будущем – оно себя не знало
финал двоится он же и начало
рассветно серо и черно
...Скамейка шаткий стол для домино
Черёмушки – а тихо как в ауле
и это всё мной станет заодно
мною

будто нам же нас вернули

Вот это вот мерцающее возвращение нам-в-мире нас-подлинных очень дорогого стоит. Подчеркну: возвращение это в рамках поэтики Самарцева возможно именно через соприсутствие мира. И не только для лирического героя, а и для тех (или той), к кому стихи, собственно, и обращены. Получается, что, казалось бы, герметичная поэтика, восходящая к иным герметичным поэтикам, оказывается весьма открытой. Так редко кто сейчас говорит. А станет ли подобный тип высказывания ещё более внятным, доминирующим у автора – ну, время покажет:

Облака тягучие над Вяткой
пёрышки – приветом от фламинго
Ты забыла – можно быть наглядной

возвращаясь ко всему что мимо
 Можно – стойкий фокус перевёрнут
 и земля небесного разлива
 гасит удивленье удивлённых
 жжётся обоюдно терпеливо

Итак, два совершенно разных автора. Дело, конечно, не в физическом их возрасте: из каких-то относительно давних времён они будут как раз представителями одного поколения. Поэтики, казалось бы, противоположные – упомянутые выше отсылки к предшественникам не в счёт: методы-то обращения с этими самыми предшественниками разнятся кардинально, да и у кого нет этих отсылок? Тогда что общего между двумя рецензируемыми книгами? Ответ будет довольно тривиальным: внятные направления развития. Пусть резко различные, но очевидные. То есть авторы, добившиеся определённой известности, авторы, давно покинувшие категорию молодых литераторов, продолжающие целенаправленное движение.

И этот момент представляется очень важным. Хотя бы в силу своей нынешней всеобщности. В ситуации, когда главным читателем поэта становится другой поэт, то есть человек по определению ревнивый и пристрастный к чужому творчеству, автор попадает в сказку об Алисе, где, чтоб остаться на месте, надо бежать изо всех сил, а чтобы двигаться вперёд, надо бежать вдвое быстрее. Парадокс, но такое положение дел может оказаться очень продуктивным. Некачественный читатель, читатель-потребитель переключил своё внимание на авторов иных кругов: из сообществ Вконтакте, из новозэстрадно-телевизионной компании, из многолетних завсегдатаев Стихиры... Таким образом, человек, пришедший в поэзию и в поэзии принятый, обречён работе и развитию. И вот здесь перед литераторами, вошедшими в некоторый возраст, открываются интересные возможности. Не зря ведь говорят: «Марафон начинается после тридцатого километра». Там видно, кто есть кто и на какую дистанцию рассчитан. Не получится уже изображать из себя непризнанного гения, но и на мэтров в наши дни особого спросу нет. Но это ж хорошо. И для авторов, и, ну да: для самой поэзии.

Андрей ФАМИЦКИЙ

И УЖАСНОЕ БУДЕТ ПРЕКРАСНО

Феликс Чечик. ПМЖ. (<http://www.ozon.ru/context/detail/id/33660306/>)

В поэтической книге всегда важно, какое стихотворение стоит первым, а какое последним. Они образуют как бы полюса, между которыми и разворачивается авторское высказывание.

Тем более важны эти два стихотворения в книге избранного, наподобие той, что только что вышла у Феликса Чечика и называется «ПМЖ».

Поэзия – не что иное,
 как мрачной бездны на краю
 божественная паранойя
 и разговорчики в строю.

Это первое стихотворение из новой книги Чечика. Не больше, не меньше, а ровно четыре строки. Присмотримся же к этому «строевому», прислушаемся к его разговорчикам и попробуем разобраться, на краю какой бездны он стоит.

Как известно, ПМЖ означает постоянное место жительства. Первая мысль, которая закрадется в сознание давнего читателя Чечика, – под ПМЖ подразумевается Израиль, где ФЧ живет с девяностых годов. Да, с фактами биографии не поспоришь. Но называть книгу так, имея в виду лишь ЭТО, было бы слишком просто для поэта. И действительно, все совсем не просто.

Ведь если читатель, взявший в руки «ПМЖ», никогда ранее Чечика не читал, он не сразу и поймет, что поэт живет в Израиле, а не в Пинске или в Полесье. Но если о Полесье он что-то краем уха слышал, то о Пинске... Где это – Пинск?

И только интернет подскажет, что правильно говорить не «в Полесье», а «на Полесье», и что Пинск – чудесный, со старинной архитектурой и широкой рекой, городок на юго-западе Республики Беларусь, откуда Феликс Чечик родом.

В Израиль Феликс Чечик перебрался в 1997-м, Советский Союз, в состав которого входила и Беларусь, распался в 91-м. До

97 года прошло шесть лет, но в те годы Беларусь менялась медленно и больше напоминала саму себя советскую, чем современную. А потом Чечик уехал. По ощущениям, он уехал именно из СССР.

Где я? Об этом едва ли кто знает, – в первую очередь сам.

И это поэт говорит о себе современном, сегодняшнем. А у читателя «ПМЖ» не остается сомнений, что ФЧ живет именно в Пинске, на Полесье. Прямо город Пинск назван в книге семь раз (город Нетания, где в настоящее время проживает поэт, – ни разу), но еще больше в ней стихов о детстве, учителях, родных.

Чужой – но только не деревьям,
всё понимающим без слов,
не пуху тополей, не перьям
порозовевших облаков,
не бронекатеру у Пины,
не танцплощадке на замке,
не выпитой до половины
бутылке вермута в руке...
Иду неузнанный, вдыхая
неповторимый аромат
давно потерянного рая,
напоминающего ад.

А вот из другого стихотворения:

...список кораблей сгорел, но половину
я помню наизусть.

Мне хватит за глаза и половины списка,
я четверть века с ним
стою, как идиот, на набережной Пинска,
глота горький дым.

Он в сердце у меня, как если бы скрижали,
зарубки, узелки...

С другой стороны, не единожды критики обращали внимание на слова Феликса Чечика из стихотворения, в котором он говорит о темах своих стихов. Стихотворение заканчивается так:

И позабыты все другие
вперёд на много-много лет,
за исключением ностальгии,
которой не было и нет.

Другое стихотворение из «ПМЖ» ФЧ начинается словами «ностальгию не жалую...».

Так все же – есть ностальгия или нет ее? И почему поэт сначала утверждает, что все темы забыты, «за исключением ностальгии», а затем словно бьет себя по руке и пишет: «которой не было и нет»?

Что такое ностальгия? Это горестное сожаление о том, что прошло, боль о пережитом, хорошем или плохом, но теперь, за давностью лет, представляющемся вполне хорошим, о том, что уже не вернется. Это такое сильное и личное чувство, что Чечик-поэту оно кажется и немного стыдным, и немного пошлым (потому что расхожим) и, наверное, даже непозволительным для серьезного поэта.

А читатель, когда открывает чью-то книгу стихов и видит в ней стихи о детстве, сразу наполняет их эмоциями, которые в регистре эмоций чаще всего связаны со стихами о прошедшем детстве, – то есть грустью, ностальгией и так далее.

«Тень мотылька легла на стрекозу», как пишет Феликс Чечик в своей новой книге.

Иными словами, ФЧ много пишет о детстве и постоянно возвращается в него мысленно, живет в памяти о нем и как поэт, и как человек, но взгляды его в прошлое не окрашены в ностальгические тона. Внимательному читателю станет ясно, что поэт смотрит на прошлое пристально и внимательно, но в то же время – насколько это возможно в поэзии – объективно, как врач – немного отстраненно, и даже умудряется ставить себе диагнозы:

Дым отчества. Смех и слёзы.
Малой родины мумиё.
Сын плёт на мои невроты
и тем более – на неё.

«Невроты» – так можно сказать, если смотреть на себя со стороны, строго оценивать то, что в тебе происходит.

Но «ПМЖ» – книга не о прошлом. Она В ТОМ ЧИСЛЕ о прошлом, о том, как выглядит прошлое, если смотреть на него из настоящего.

Советская Белоруссия перестала существовать, и даже приехав в Республику Бе-

ларусь, не удастся вернуться в прошлое.
И поэт пишет:

Я на отечество забил,
которое меня забыло.
По вечерам смотрю в окно
на сумрачную Палестину;
и сказки русские давно
я не рассказываю сыну.

Сказки сыну поэт не рассказывает не белорусские, а именно русские. То есть ФЧ ощущает себя непременно русским поэтом (каким, бесспорно, он и является), но это добавляет сложности в положение автора, живущего в Израиле, где, как сказано в одном стихотворении, но по другому поводу, повсюду «идиш, идиш, идиш».

Читаем «ПМЖ» и пытаемся всмотреться в лицо автора. О роде его занятий нам ничего не известно, и намеков в книге мы не находим. Это, конечно, не столь важно. Но очень интересно. Ведь когда Феликс Чечик пишет о жизни в СССР, мы наблюдаем за его поступками. Скажем иначе – не за его поступками, а за поступками его лирического героя. Тогда как героя в настоящем времени автор нам почти не показывает. Но зато мы можем слушать, что он говорит об окружающем мире, и из этого делать выводы, пытаясь проникнуть внутрь поэтического «я» автора.

Вот он с мудрым вниманием смотрит на себя школьника, вот он наблюдает за собой приехавшим на похороны отца, а вот он сбежал от людей, говорящих на другом языке, на природу, чтобы подумать, напроимер, о поэзии.

Не дышать – затаиться –
не обидой в душе, –
как подранок, как птица
у реки в камыше.

Из-под самого носа,
не жалея ничуть,
доведа до невроза,
от судьбы улизнуть.

И здесь кроется большая, и очень важная, часть поэтического мировоззрения

ФЧ. Читая «ПМЖ», чувствуешь, что автор ощущает себя неотрывной частью природы, не отделяет себя от нее. В стихотворении «Мастерская кузнечика...», уже цитированном критиками, поэт просит выковать ему новое сердце вместо старого и больного. Просит не кого-нибудь, а именно кузнечика. И именно на природе –

поджав колени к животу
укрывшись с головой
уподобляешься кусту
становишься травой
отечеством для муравьев
и родиной для птиц
пчелиной музыкой без слов
не знающей границ

В настоящем ФЧ приравняет себя к природе, а природу к музыке.

птица певчая слову
прилетела взамен.

Происходит подмена, взаимопроникновение.

Она существует сама по себе, –
я только её проводник,
негромкая музыка – медью в трубе,
на выходе – вопль и крик.

Вообще слово «музыка» одно из главных в этой книге. Оно встречается часто, и постоянно вбирает в себя новые смысловые оттенки:

За полётом шмеля, но под музыку Шнитке...

И шмелиная музыка белой метели...

и божественной музыки сфер...

музыкой светлой негромкой
ангел парит над тобой...

Поэзия же у Феликса Чечика очень часто отождествляется с птицей:

Хотелось бы без слов,
совсем, но как без них?
Так ловит птицелов
не птиц, а песни их.

Вообще следует отметить, что природа у автора «ПМЖ» практически никогда не является только природой. Она не написана в качестве задника, не выполняет функцию декораций, – напротив, она всегда наделяется некими чертами, подвижностью, духовностью. Она действует, мыслит. Феликс Чечик наделяет природный мир своими чертами.

Что и говорить, ФЧ большой мастер стихотворного слова, и книга «ПМЖ» это отлично демонстрирует. И содержание ее, конечно, не сводится к одной лишь географии или биологии, как может показаться из настоящей статьи. Просто любую деталь из поэтического мира нашего автора можно рассматривать долго.

«ПМЖ» можно читать и как книгу избранного, и как отдельный, очередной, сборник, веху на пути автора к совершенству. Все же надо понимать, что книга, о которой мы говорим, не ПСС, а всего лишь промежуточные итоги. Да, но какие итоги!

В книге содержится много стихотворений, достойных составить (уже составляя) классику современной русской поэзии. На мой взгляд, к ним относятся: «В мари-хуанном, и не только...», «Я выйду из леса. Я стану как вы...», «Виночерпий, – твоя оскудела рука?», «Что там колышется на ветру?...», «Мы не Георгия Иванова...», «Ну а если всерьез, не ломая...»

Говорят, что в итоге от поэта остается 4-5 стихотворений. Я назвал вам шесть. И поверьте, у Чечика их гораздо больше, убедиться в чем не составляет труда – достаточно почитать «ПМЖ».

Но есть в книге и стихи, которые (опять же – на мой взгляд) можно было не включать, и книга бы от этого не потеряла. Подозреваю, что эти стихи включены автором в книгу, потому что по каким-либо причинам, может, обстоятельствам написания, дороги ему самому. С другой стороны, они своим присутствием оттеняют истинные шедевры.

Есть и достойные стихотворения, которые по каким-то причинам в книгу не вошли. Например, очень бы хотелось видеть в «ПМЖ» «Как самому себе синоним...», но его там нет.

Есть стихотворение, которое в книгу не вошло, но чей первый катрен мне представляется программным для содержания всей книги:

Пока итоги не подведены
и не забыты мёртвые, как будто
ты спишь и видишь жизнь со стороны,
и весело тебе и беспробудно.

Также вызывает недоумение обилие ошибок на протяжении всей книги. Дефисы вместо тире, пропущенные запятые... И это при том, что многие стихи из книги – если не все – были когда-то опубликованы в толстых журналах и были внимательно прочитаны придирчивыми корректорами и редакторами.

Но это ложка дегтя, которая, несомненно, не может испортить такую бочку меда.

Хочется обратить внимание на вкусы Феликса Чечика как читателя. Из аллюзий в его стихах, названий стихотворений и эпиграфов делаю вывод, что поэтом прочитаны Пушкин, Блок, Мандельштам, Ходасевич, малоизвестный молодым поэтам Дмитрий Кедрин, Владимир Соколов, Денис Новиков, Межиров, Роберт Фрост, Томас Стернз Элиот, Батюшков, Слуцкий, Самойлов, Пастернак и множество других замечательных поэтов.

Со многими авторами Чечик вступает в литературный спор. Сравните, например, стихотворение ФЧ «Меня будильник не вернул с того на этот свет...» со стихотворением Сергея Гандлевского «Вчера мне снился скучный коридор...» и «...и дверь впотьмах привычную толкнул» Олега Чухонцева. Или сравните «Гэдээровской кукле не спится...» Чечика и «Чукоккалу» Дениса Новикова. «...но возделывать свой палисадник, колдовать над вареньем из роз...» – пишет наш автор; «Но сам стригу кусты сирени Вокруг террасы и в саду» – пишет Владислав Ходасевич.

Когда читаешь в «ПМЖ» стихи о детстве, вспоминается «Вечерний альбом» Марины Цветаевой.

Резюмируя, можно сказать, что поэзия Чечика наследует традициям великой русской поэзии и любовно следит за тем лучшим, что случается в русской поэзии современности.

менной. Представляется также, что Феликс Чечик является одним из немногих современных авторов, по достоинству ценящих то, что было сделано представителями официальной советской поэзии.

Критика уже намекала на то, что автор «ПМЖ» – классик. Хочется и мне скромно присоединиться к этому мнению.

Чечик – классик не только в смысле места на литературном олимпе, но и в смысле своего индивидуального стиля. ФЧ – поэт пушкинской тональности. Да, он неоднократно писал и продолжает писать об ужасной бездне, но делает это так, что стоишь на краю этой бездны, не боясь, и не особо даже об этом задумываясь. Потому что в стихах важную роль играет гармония, лаконизм, мастерство. Это во всех смыслах блестящие стихи, их музыка завораживает. И только после множества прочтений конкретного стихотворения осознаешь, какое непростое чувство в этом стихотворении зашифровано.

А бездна... – бездна как была под ногами, так там и осталась.

Автор книги «ПМЖ» тончайший лирик, но отнюдь не трагик. Читая «ПМЖ», все время хочется представить Феликса Чечика автором каких-нибудь писем к Луцилию, обернутым в белую тогу, с чашей вина в одной руке и стилосом (но никак не авторучкой или, что еще хуже, планшетом) в другой. А если вы видели фото поэта, то представить все это и того легче. Чечик – стоик от поэзии, и его стоическая позиция заражает читателя.

Но если Сенека то и дело поучает Луцилию тому-сему, то Феликс считает правильным

...никого не обижать
тем более учить

Этот зрелый римский муж трезво и не без юмора оценивает свою жизнь и признает, что

Жизнь дарованная идиоту –
пусть не князь – всё равно удалась.

Говорит, что его стихи

...конечно, про любовь
как таковую,
а не про то, как льется кровь
на мостовую.

И говорит о сорвавшемся листе:

А по мне – совершенно напрасно
он боится конца.
И ужасное будет прекрасно.
Как ты думаешь, а?

Да, нечасто Феликса Чечика можно увидеть на столичных поэтических вечерах, но всегда можно открыть его книги, приняться за чтение и увидеть внутренним зрением звезды, расположение в небе и сумма которых не меняются при переезде из одного места в другое, фигуру поэта, стоящего на берегу Средиземного моря и вдыхающего его запах, стоически переносящего чужеземную речь, обрывки которой доносятся из прибрежного ресторана, и представляющего возвращение домой, где он включит в комнате свет и прикоснется к корешкам книг, надписи на которых выполнены родной кириллицей.

Станислав СЕКРЕТОВ

«МЫ В ГОРОД ИЗУМРУДНЫЙ
ИДЕМ ДОРОГОЙ ТРУДНОЙ...»

Антон Ерхов. Горизонт // «Сюэз Писателей» (Харьков). 2015. № 16

«Широкому читателю» имя Антона Ерхова почти не знакомо. «Узкому», впрочем, тоже – на выход его дебютной книги «Дремлющие башни» (Харьков, Фолио, 2010), а также россыпи прозаических публикаций в литературных журналах и интернет-изданиях не отозвался пока ни один критик. Надо исправлять ситуацию, ведь поговорить есть о чем! Особенно в контексте нового романа «Горизонт» и нынешних непростых отношений между Россией и Украиной.

Ерхов – одновременно и русский, и украинец. Его биография тесно связана с двумя странами: родился в Норильске, в двенадцатилетнем возрасте вместе с семьей перебрался в Запорожье, годы молодости прошли в Харькове, и лишь последние шесть лет писатель живет в Москве. Отсюда – неоднозначные оценки понятия «родина», отразившиеся в романе. Какую страну считать родной? Когда-то вопрос казался абсурдным, а сейчас стал принципиальным, политическим. Путешествуя вместе с героями по настоящему, Ерхов постоянно обращается к прошлому. Как личному – воспоминаниям из девяностых, так и общественному: «Прошлое – миф, золотой век, “эх, были”, “ах, были”, “да, были”. Свершенное и совершенное – ни убрать, ни добавить (попробуй извлечь корень из минус одного – получишь «егот»)». Но история доказывает, что каждое новое поколение властителей «корень из минус одного» упорно пытается извлечь. Действие романа происходит в Запорожье, улицы которого не раз меняли имена. Архивы сообщают: первая волна переименований пришла с установлением советской власти, затем таблички на домах и надписи на картах на свой лад переделали гитлеровские оккупанты, после освобождения Запорожья от фашистов вновь случились перемены в названиях, далее ряд новых имен появился с развенчанием культа Сталина и, наконец, большая волна смысла советское наследие, когда Украина обрела независимость. Волна эта оказалась не последней – нынче в отдельных городах и всях незалежной продолжают стирать топонимы, хоть каким-то боком имеющие отношение к России. В одной из глав романа персонаж остановится у грандиозного памятника Ленину, вспомнит процесс его создания и шуточные народные байки о «Вовке Каменном», а потом, вернувшись на съемную квартиру, включая ток-шоу, гость которого – политик Менташко – расскажет «о концепции забывания, или даже шире – национальной программе забвения». В соответствии с ней граждане страны «смогли бы забывать определенные события, происшествия». В начале 2015 года данный монумент – к счастью, безрезультатно – пытались разрушить радикалы, а в официальных кругах Запорожской области продолжает обсуждаться вопрос о возможном демонтаже памятника как символа тоталитарного режима. К слову, харьковский памятник Ленину год назад был безжалостно уничтожен. Привлекает внимание также комментарий редактора Андрея Краснящих к эпизоду, где героиня произведения Аня вспоминает харьковский монумент в честь провозглашения Советской власти на Украине, метко прозванный жителями «Пятеро из ломбарда». В сноске Краснящих подчеркивает, что памятник, установленный в 1975 году и давно ставший народной достопримечательностью, был «снесен в 2011-м по решению кернесовского горсовета. На его месте поставили Памятник независимости Украины (“Девочку на шаре”)».

Стратегия Ерхова – показать все имеющиеся точки зрения на существующие проблемы. С целью глубинного осмысления истории в повествование вводится неразлучная тройца персонажей – Колодезный, Полевой и Межник. Характеры прорисованы резкими штрихами, без иносказаний и намеков. Трус – Балбес – Бывалый. Пешка – ферзь – король. Автор занимается универсализацией судеб: в мире много духовно слабых колодезных, ни на что не способных без сильных полевых, при этом им необходим умный и хитрый межник. Фамилии со значением: в колодце самое важное скрывается ниже уровня земли, поле – широкое надземное пространство, межник – полоса между. Граница, иными словами. С какой стороны Россия, с какой Украина – каждый решит сам. Очутившись на лекции под названием «Страна Оз и кризис современности», тройца услышит: «Железный Дровосек живёт прошлым, – голос лектора зазвучал вдруг громче, – Страшила – настоящим, Трусливый Лев мечтает о будущем. Элли же – будто связывает время в единое целое: у неё есть и прошлое – Канзас, по которому она скучает; и настоящее – новые друзья и дорога в Изумрудный город; и будущее – Гудвин и возвращение домой. Важно отметить, что Канзас для Элли – это не бегство в прошлое». Реминисценции не случайны. Шутка о том, что название страны из серии

книг Фрэнка Баума в русском переводе надо читать как «Страна ноль-три» – страна, которой срочно требуется скорая помощь, – придумана десятилетия назад. Однако нареканий двухмерен и касается не только отношений между Украиной и Россией, а также нынешних общественно-политических и социально-экономических положений двух стран, но и психологических портретов героев. Создавая личные истории персонажей, Ерхов исследует истоки страхов разных типов личности. Колодезный, как Трусливый Лев, смотрит только в будущее и стремится забыть о прошлом, поскольку в нем по-прежнему сидит тот самый мальчишка, не решившийся когда-то на смелый поступок. У Полевого – Железного Дровосека – напротив, сердечные краски судьбы с детскими приключениями и студенческой романтикой, оттенками и полутонами остались в прошлом, а в настоящем – ни дома, ни счастья. Для абсолютного прагматика Межника, живущего здесь и сейчас, «прошлое означало опыт. Из которого, в свою очередь, и складывался сам человек. Не зря говорят – повзрослел, стал опытной...». Для Межника взросление – это деньги, для Полевого – иное осознание возможной смерти, для Колодезного – секс. А кто же у Ерхова в роли Элли, если уж продолжать аналогии со страной Оз?

Главных героев в романе несколько. Трехглавый образ Колодезный – Полевой – Межник – не единственный на авансцене. В списке центральных персонажей выделяется Антон Полудницын. Молодой человек с прошлым – наиболее продолжительным в его жизни романом с Яной, настоящим – посиделками в кафе с Аней и ненавязчивыми разговорами об именах, религии, сказках и снах, а также будущим – романтическая линия имеет открытый финал. Плюс биографические черты: Антон Полудницын в некоей мере – автопортрет Антоны Ерхова. Нельзя не сказать о еще одном главном герое – странном типе по фамилии Горизонт – самом загадочном в романе. А что такое «горизонт»? Граница (опять граница!) между небом и землей, к которой невозможно приблизиться, как ни старайся. Тот самый Гудвин из страны Оз.

Конструкция романа сборная. Путешествием из пункта А в пункт Б с традиционным числом остановок тут и не пахнет. Изначально возникает подозрение, что автор собрал воедино три никак не связанные друг с другом повести и, точно карточную колоду, перетасовал их главы. Более того, каждая глава изобилует эклектикой – вставными элементами. Новости о найденном трупе девушки, фрагменты дневника деда Антона, отрывки школьных сочинений по цитате из Борхеса, урок геометрии Сан Саныча, тексты писем Яны, словесные обрывки, на первый взгляд кажущиеся совершенно не к месту – тем, что по случайности ворвалось в роман из других произведений других писателей. Будто бы зритель вместо готового фильма увидел перепутавшиеся рабочие версии сразу трех кинокартин.

Параллели с кино продиктованы самим автором – к нескольким главам прилагаются саундтреки из фильмов. Ерхов приводит названия альбомов, а затем между абзацами – конкретных композиций. Видимо, читатель должен поочередно включать их для соответствующего настроения. Неплохой синтез искусств – литература, музыка и кино. Вот только такая экспериментальная проза делает книгу или толстый журнал недостаточными – требуется еще планшет или смартфон. Какие же фильмы вспомнил автор? Линия Колодезного – Полевого – Межника восходит к американской кинодраме 2002 года «Солярис» (*Solaris*) Стивена Содерберга и его литературному первоисточнику. История Антона и Ани опирается на «Одержимость» (*Wicker Park*) 2004 года Пола МакГигана. В основе образов Горизонта, а также Сан Саныча и мертвой девушки из вставок лежит ужастик «Лунатики» (*Sleepwalkers*) 1992 года Мика Гарриса. Культурными кодами роман изобилует: русские пословицы, цитаты из украинских рокеiros и писателей-фантастов, европейские и американские психолого-философские идеи. Одни коды явно просматриваются, другие заложены в ткань «Горизонта». Под сюжетной оболочкой скрываются сказка, детектив, исповедь, городское фэнтези... И все это – при внешней событийной

скудности. Герои бродят по городу и сидят в кафе, будто бы пребывая в ожидании Годо. Он же – Гудвин, он же – Горизонт. Человек, ворвавшийся из какого-то мутного зазеркалья и нарушивший привычный бег времени. Неспроста Горизонт рисует бабочек на салфетках, после чего рвет и сминает свое искусство. Еще одна отсылка к классике – убийство бабочки в давнем прошлом способно поменять ход истории.

Авторская фантазия и личный опыт Ерхова настойчиво перекликаются. Реальные наблюдения получают неординарные продолжения. При этом для писателя важна каждая деталь наблюдаемого объекта. Александра Кабакова – любителя обстоятельных «вещных» описаний – прозвали «певцом пуговиц». Ерхов – певец интерьеров: каждое кафе, каждую квартиру, каж-

дый закоулок города, куда попадают его герои, прозаик оживляет, заботливо составляя мебель и уделяя внимание даже зубочисткам на барной стойке. В чувствах героев, напротив, сплошная энтропия – отсутствие упорядоченности. Возможно, именно эта особенность и мешает романам Ерхова пробиться к «широкому читателю» – хаотичность и многослойность воспринимаются непросто. Правда, в конце «Горизонта» звуки, казавшиеся разрозненными, сливаются в единую симфонию.

За горизонтом может прятаться как будущее, так и прошлое, а по дороге в Изумрудный город будут встречаться как добрые, так и злые волшебницы. Как говорится, смотри, не перепутай! Выбраться из королевства кривых зеркал куда сложнее, чем в него попасть.

Иван КОЗЛОВ

СЕКС, СМЕРТЬ И ПОЛИТИКА

«Пазолини» (реж. Абель Феррара)

Отвечая в 2012 году на вопрос журнала Sight & Sound о любимых фильмах, режиссер упомянул «Птицы большие и малые», не самую известную ленту своего итальянского коллеги. Тем более интересно смотреть, как американский режиссер, классик независимого кино, представляет зрителю последние дни, часы, минуты жизни Пьера Паоло Пазолини.

Язык не поворачивается назвать «Пазолини» байопиком, это, скорее, даже не вполне игровое кино, а попытка воссоздания облика режиссера, его идеологических рассуждений, планов, которым не суждено сбыться (и зритель об этом знает), и привычного окружения великого итальянца – как творческого, так и бытового.

Что касается облика – то здесь попадание в десятку. Уиллем Дефо настолько схож с Пазолини, что зрителя временами настигает ощущение, будто он смотрит документальный фильм.

Кому-то лента покажется недостаточно, что ли, радикальной, по сравнению со знаменитыми фильмами Феррары (вспомним хотя бы «Короля Нью-Йорка» или «Плохого лейтенанта»). Казалось бы, Феррара + Пазолини = гремучая смесь, адский коктейль, который разорвет сознание. Но нет, фильм неторопливо мозаичен, режиссер словно хочет показать своего героя во всех ипостасях, и мы слушаем монологи о несправедливом устройстве общества, обсуждаем проект будущего фильма (как бы вариацию на тему «Птиц больших и малых») – неспешно, как бы листая страницы, маркированные пометками «философия», «культура», «политика». Хотя, может быть, именно в этом обмане ожиданий и кроется в данном случае секрет этой картины.

Есть фильмы (книги, музыка, люди), которые при знакомстве разочаровывают, но позже вспоминают их с благодарностью. Лента Абеля Феррары – как раз из такого разряда.

«Добро пожаловать в Нью-Йорк» (реж. Абель Феррара)

Еще один фильм – чуть не написал биографический. Нет, это, скорее, «лента на тему известных событий» – сексуального скандала с директором-распорядителем Международного валютного фонда, обвиненного в изнасиловании горничной отеля. Несмотря на то, что присутствует оговорка о «полной вымысленности», аналогии более чем прозрачны. Сам Феррара перед съемками ленты заявил, что это будет картина о политике и сексе, и не скрывал фактической подоплеку сюжета.

На фоне камерного «Пазолини» этот фильм можно назвать буйно-помешанным – в первую очередь благодаря участию в нем Жерара Депардье, сыгравшего главную роль.

Режиссера, кажется, не интересуют ни перипетии событий, ни политический бэкграунд сами по себе. Все это дано через призму бешеного нрава Деверо, по фильму – будущего претендента на пост президента Франции. Тут Феррара, что называется, в

своей тарелке – разнузданные оргии, цельный, несмотря на свое хамство (или благодаря ему?) герой, противостояние одиночки, пусть даже такого пошиба, и огромной общественной машины, которая раздавит весельного негодяя. Причем ближе к концу фильма прессинг по отношению к финансисту и политику, в мгновение ока ставшего изгоем, достигает такой мощи, что поневоле начинаешь сочувствовать – если не самому персонажу, то его силе противостояния натиску.

Фильм нельзя назвать шедевром, но он несомненно удался, судя по резонансу, который он вызвал. Доминик Стросс-Кан всерьез собирался судиться с Феррарой за клевету, а французы не взяли фильм на Каннский фестиваль и не пустили в свой прокат.

«Медленный Запад» (реж. Джон Маклин)

При слове «вестерн» я хватаюсь за голову – что будет на этот раз? Стёб, трэш, эклектика, шоу со спецэффектами? Чего еще не было на этой истоптанной сапожищами площадке?

Великобританско-новозеландское зрелище Джона Маклина играет в артхаусные кубики, на поверхности которых отштампованы разные картинки – можно вертеть так и сяк, строить невысокие башенки, удивляясь неожиданно получившимся причудливым изображениям.

У Маклина за пазухой было всего две короткометражки, но «Медленный Запад» быстро выдвинул его на передовую артхауса, не в последнюю очередь благодаря участию в фильме Майкла Фассбендера и Бена Мендельсона. История путешествий и приключений наивного романтика и брутального бандюгана разворачивается на фоне неспешных красот дикой природы и пунктирных сюжетных линий, которые полностью так и не развиваются. Вкусные и стильные многонациональные бандиты так и просятся для рассказа своих историй, но взгляд скользит по ним так же, как по ночному небу или придорожным кустарникам; недаром вспоминаются «Мертвец» Джармуша и фильмы Тарантино (он ведь тоже снимал вестерны).

Фильм о путешествии за любовью, которое заканчивается смертью – что может быть ближе и понятнее современному зрителю? Разве что фильм на тему «оно не то, чем кажется». Но и эта тема с избытком присутствует в картине, после просмотра которой в голове вертятся мысли о невозможности счастья, которое находишь и которое тебя убивает.

Редколлегия журнала:

Анна Сафронова
Алексей Александров
Алексей Голицын
Алексей Слаповский
Олег Рогов

Подписано в печать 19 октября 2015 г.
Журнал отпечатан в типографии
ИП Сергеев

Цена свободная

Рукописи принимаются по адресу:
E-mail: safronova-volga21@yandex.ru

Электронная версия журнала:
<http://magazines.russ.ru/volga/>

При перепечатке ссылка на «Волгу» обязательна.